

755
P 34417

Б. ПРУС

Фортлост

**ГОСЛИТИЗАТ
ЛЕНИНГРАД**



Славянская Библиотека

Б. ПРУС

ФОРПОСТ

Перевод с польского
Е. Рифтиной



О Г И З

Государственное Издательство
Художественной Литературы
Ленинград
1945

П 85 + П О Н Ъ а н а љ

Bolesław Prus

PLACÓWKA

1886

Из-под маленького пригорка, чуть побольше хаты, бьёт родник — это исток реки Бялки. В скалистой почве он выдолбил выемку, и вода в ней кипит и бурлит, как рой пчёл, готовящихся к отлёту. Самые беспокойные частицы водяной массы отрываются от её поверхности; днём их не видно, но по ночам они встают над родником плотной пеленой.

Туман ползёт по полям, высматривая, куда бы удобнее направиться воде. Где увидишь — пелена стелется по воздуху, там и вода; то она дремлет в болотах, то скроется неглубоко под землёй, то, прорыв себе русло, течёт ручьём.

В этом виде вода перестаёт быть неодушевлённым предметом — это, скорее, живое существо: оно куда-то стремится, спешит, чего-то ищет. Если путь ручью преградит камень, вода обрушивается на него со всех сторон, забрасывает галькой, просачивается в каждую щёлку, пока, наконец, не сдвинет его в сторону или не разнимет на части. Если ей встретится холмик, она обойдёт его. Если наткнётся на возвышенность, то изменит своё направление, разобьётся на ручейки, притворяясь подчас, будто течёт вспять. Но она до тех пор сверлит и размывает землю, пока не вый-

дет, наконец, на правильный путь и не хлынет туда, куда хочет. Даже обрывы её не пугают. Не колеблясь, падает она всей своей массой, образуя мост, по которому перекатываются ближайшие волны, неутомимые в своём упорно-неудержимом беге. Между водой и небом существует какая-то таинственная связь. Ему любо смотреться в её поверхность, солнечные лучи серебрят и золотят её морщины, купаются в ней, играют на её дне. Должно быть, они хотят помочь ей поскорей убрать песок и камни, которые задерживают её стремленье. Когда же восточный ветер разгонит облака — этих весёлых жителей неба — и в вышине на долгое время останется лишь пышущая зноем лазурная пустыня, река хиреет, а порой и высыхает с тоски. Но стоит только облакам вернуться в свои владения, как легионы их тотчас спешат на помощь обессиленной подруге. Небесные ручьи насыщают высохший земной ручей; вода, пенясь, выходит из берегов, отмечая паводком своё пробуждение.

Однако вода скоро успокаивается. Вечные странники-облака опять пускаются в путь, а умиротворённая река снова несётся вперёд, через луга и леса, между холмами. Она бежит по острым камням, по чернозёму, протекает среди охваченных сном болот, и кажется, будто она то гоняется в поле за кúзнечиками, то убегает от горбатых ив, грустно глядящих ей вслед.

На протяжении мили Бялка течёт равниной. Сёла, леса, деревья в полях, кресты на распустьях — всё видно, как на ладони. Равнина — словно круглый стол, а стоящий на нём человек — ни дать ни взять муха, покрытая голубым колпаком.

По всего в одной миле к югу попадаешь точно в другую страну. Низкие берега Бялки расступаются, становятся выше, гладь полей взбухает

холмами, река то идёт вверх, то падает вниз, снова поднимается и снова падает, всё стремительнее и чаще.

Равнина исчезла, кругом овраги, и, вместо широких просторов, высокие, в несколько ярусов, холмы, то пологие, то крутые, то голые, то поросшие кустарником. Из одного оврага переходишь в другой, ещё более узкий и дикий, потом в третий, четвёртый. . . десятый. . . Холодно и сыро.

Взобравшись на холм, видишь огромную сеть оврагов, переплетения которых разбегаются в разные стороны. Все вместе похожи на город, засыпанный землёй и заросший зеленью. Вот площадь: посредине её, где некогда бил фонтан, цветёт шиповник; под тем широким холмом погребён, должно быть, театр, а под тем, крутым, — наверное скрыты развалины костёла. Тут проходит главная улица: два ряда высоких зданий кое-где перемежаются одноэтажными домиками; а вот следы моста — здесь он некогда был перекинут через реку. Дальше — лабиринт закоулков, по которым можно блуждать целый день: вероятно, старый город; вот клочок бульвара, а вон там — городские ворота, от них остались только две груды камней.

Еще несколько сот шагов по течению реки, и пейзаж снова меняется. Засыпанный город и фантастические улицы исчезли; холмы становятся всё ниже и стоят порознь, похожие на громадные муравейники. Полуденное солнце бьёт прямо в глаза; после страны оврагов снова простор — это долина Бялки.

Если земля — стол, на котором провидение уготовало трапезу для всех созданий божьих, то долина Бялки — это огромное овальное блюдо с высокими краями. Блюдо это только зимой бывает белым, в остальные времена года оно по-

хоже на майолику, покрытую яркими красками и множеством узоров, причудливых, по прекрасных.

На дне этого блюда божественный гончар поместил луга и во всю длину с севера на юг перерезал их лентой Бялки; на синем лоне её по утрам и по вечерам поблёскивают гребни волн, золотые днём и серебристые в ясные ночи.

Разукрасив дно, господь бог принялся лепить края, тщательно следя за тем, чтобы ни один из них не был похож на другие.

Западный край дик и мрачен. Здесь луга упираются в крутой обрыв, изрезанный оврагами и засыпанный известняком. Лишь кое-где растёт кустик шиповника, карликовая берёза или черешня, до того чахлая, что уже не даёт плодов. Повсюду видны проплешины, и кажется, будто с них содрана кожа. Самые стойкие растения не выживают здесь: вместо зелени, тут желтеет глина, сереют песчаные пласты или торчит скала, ощерясь, словно мертвец.

Восточный край совсем иной: он расположен амфитеатром, в три яруса, которые мягко поднимаются один над другим. Первый ярус, у самой реки — чернозём; сбоку здесь вьётся длинный неровный ряд изб, окружённых садами, — это деревня. Второй ярус — суглинок; тут стоит помещичья усадьба, почти над самой деревней, с которой её соединяет старая липовая аллея; вправо и влево, куда ни кинешь взгляд, большими прямоугольниками тянутся помещичьи поля, жёлтые — под пшеницей, песочные — под рожью, зелёные — под горохом и серые, исполосованные бороздками, — под паром. А вот и третий ярус — супесок; он засеян овсом и рожью. Ещё выше чернеет сосновый лес, подпирая небо.

С северной стороны долины, где дикий западный край почти смыкается с восточным амфи-

геатром, протянулась гряда холмов. Они стоят в одиночку, как курганы. Три из них, в том числе и самый высокий в окрестности, с сосной на вершине, принадлежат крестьянину Юзефу Слимаку.

Его хуторок — точно пύстынь: он лежит вдали от деревни и ещё дальше от усадьбы.

В нём десять моргов земли; с востока он подходит к реке Бялке, с запада — к большаку, который как раз в этом месте наискось пересекает долину, спускаясь к деревне.

У самой дороги расположены все постройки Слимака. Тут и хата с двумя дверями — на большак и во двор; тут конюшня с коровником и хлев, крытые одной крышей, овин и, наконец, навес, под которым стоят телеги.

Мужики из долины посмеивались, что Слимак живёт, словно в сибирской ссылке.

— Правда, — говорили они, — до костёла ему ближе, чем нам, зато не с кем словом перекинуться.

Однако не так уж было пустынно на хуторе. Осенью, в теплые дни, на холме можно было видеть белую фигуру батрака, который пахал на паре лошадок, или жену Слимака с девкой-работницей, когда они обе в красных юбках копали картошку.

Между холмами пас коров тринадцатилетний Ендрек Слимак. А если взглядеться, то можно было заметить и восьмилетнего Стасска, с белыми, как лен, волосами, который бродил по оврагам или, сидя наверху, под сосной, задумчиво смотрел в долину.

Хутор этот — капля в широком океане — был особым мирком, который переживал разные эпохи и имел свою историю.

Например, вспоминается время, когда у Юзефа Слимака не было ещё семи моргов земли, а в хате не было никого, кроме жены. Вскоре, одна-

ко, произошло два события: жена родила сына Ендрека, а в хозяйстве, согласно уложению о сервитутах, прибавилось три морга.

Обстоятельства эти произвели большую перемену в жизни Сликама: он купил корову и боровка, а на полевые работы стал нанимать кого-нибудь из деревенских бедняков.

Несколько лет спустя появился на свет второй сын. Тогда Слимачиха взяла себе в помощь старуху-поденщицу, Собесскую, — так, чтобы сделать пробу, всего на полгода. Проба затянулась ещё на три месяца, но однажды ночью, стосковавшись по корчме, Собесская сбежала в деревню; тогда на её место поступила «дурочка Зоська» — тоже на полгода. Слимачихе всё казалось, что как только кончится спешная работа, она снова сможет обходиться без помощницы.

«Дурочка Зоська» прожила у Сликамов около шести лет и ушла от них в усадьбу, но в хате работы не убавилось. Тогда к ним нанялась пятнадцатилетняя сирота Магда; у неё была своя корова, несколько полосок земли и полхаты, но она предпочла наняться к чужим, только бы не жить в родном доме. Уж очень сильно колотил её дядя, рассказывала девушка, а остальная родня только и знала, что уговаривала «смириться», внушая ей, что чем больше палок обломает об неё дядя, тем для неё же самой будет лучше.

Слимак, как и прежде, работал в поле один, лишь изредка нанимая кого-нибудь в помощь. И всё же у него ещё хватало времени, чтобы ездить с подвёдой в усадьбу или привозить евреям, живущим в посёлке, товар из города. Но в усадьбу его требовали всё чаще, подмоги подёнщика уже было недостаточно, и Слимак исподволь стал подыскивать постоянного работника.

Однажды осенью, когда жена особенно дони-

мала его наймом батрака, из больницы возвращался Матек Овчаж, которому телегой перешибло ногу. Путь его лежал мимо хаты Слимаков; он проголодался, устал и присел отдохнуть на камне возле ворот, жалостно поглядывая в сторону хаты. Хозяйка в это время мяла в сенях варёную картошку для скотины, и так хороша была эта картошка, что аромат её разносился вместе с клубами пара по всему двору. У Овчажа под ложечкой засосало от этого запаха, и он как бы прирос к своему месту.

— Это вы, Овчаж? — окликнула его Слимачиха, с трудом узнавая калеку, одетого в лохмотья.

— Он самый, — ответил бедняк.

— А в деревне болтали, будто вас задавило.

— Хуже того, — вздохнул Матек, — в больницу попал. Уж лучше бы убила меня на месте эта телега! Был бы у меня теперь надёжный кров, и не мутило бы меня с голоду...

Хозяйка призадумалась.

— Если бы знать наверное, что ты не погрёшь, — проговорила она через минутку, — так мы, пожалуй, взяли бы тебя в батраки...

Калека вскочил с камня и, волоча ногу, пошёл в хату.

— Чего мне помирать? — закричал он. — Зубы у меня крепкие, а работать я могу за двоих, только бы мне подкормиться малость. Дайте-ка мне борща с хлебом, я поем, а потом целый воз дров вам наколю. Подержите меня недельку на пробу, я вам все ваши горы вспашу. Служить буду за старую одежду да за латаные сапоги, мне бы, главное, на зиму где-нибудь приютиться.

Овчаж умолк, удивлённый тем, что так много наговорил, потому что от природы был немногословен. Слимачиха осмотрела его со всех сторон,

накормила, а когда он съел миску борща да миску картофеля, велела ему сходить на реку умыться. Вечером, когда муж вернулся домой, она представила Матека как батрака, который уже и дров наколот и покормил скотину.

Слимак молча выслушал, как всё это произошло. Сердце у него было мягкое, и, подумав, он сказал:

— Что ж, парень, оставайся. Нам станет лучше, и тебе лучше будет; нам станет хуже, будет хуже и тебе. А если, не приведи господь, в доме вовсе не станет хлеба, ты пойдёшь себе туда, куда нынче шёл. Если ты у нас отдохнешь, всякий с охотой возьмёт тебя па работу.

Таким образом на хуторе появился новый жилец. Он был тих, как муравей, предан, как пёс, и, несмотря на свое увечье, работал, как две лошади.

С тех пор, не считая рыжей собаки Бурека, в хозяйстве Слимака прибавления не наблюдалось: ни детей, ни работников, ни скотины. В жизни хутора установилось полное равновесие. Все радости, все тревоги и чаяния, все думы сосредоточились вокруг одной цели: сохранения существующего благополучия. Для этого работница носила в печку дрова или, распевая, бегала вприпрыжку в подполье за картошкой. Для этого хозяйка ещё до света вскакивала к своим коровам или жарилась у огня, выдвигая и задвигая огромные корчаги. Для этого обливался потом Овчаж, то сгибаясь над плугом, то волоча за бороной свою хроную ногу. Для этой же цели, ещё шепча на ходу утренние молитвы, отправлялся на рассвете Слимак в помещицьи конюшни или отвозил в город проданную евреям рожь.

По той же причине зимой, отдыхая после работ, они горевали, что на хлеба выпало мало

снега, или тревожились о том, где достать корм для скотины. По той же причине в мае молились богу о дожде, а в конце июля — о вёдре. И только поэтому после каждой жатвы гадали, сколько четвертей даст скирда и какие установятся цены. Точно пчёлы вокруг улья, роились их мысли вокруг самого важного — заботы о хлебе насущном. Отвлечься от этого им было трудно. Забыть совсем — невозможно. Они даже не без гордости приговаривали, что для того, мол, и живёт барин, чтобы гулять да приказывать, а мужик для того, чтобы самого себя и других прокормить.

II

Был апрель. После обеда вся семья Слимака разбрелась по своим делам. Хозяйка, завязав потуже на голове красный платок, вскинула на спину узел выстиранного белья и пошла на реку. За ней поплёлся Стасек, разглядывая облака, которые сегодня казались ему не такими, как были вчера. Работница Магда принялась за мытьё обеденной посуды, напевая все громче «Ой, да! да!..» по мере того, как удалялась от дома хозяйка. Наконец Ендрек, толкнув Магду и дернув собаку за хвост, схватил мотыгу и с пронзительным свистом побежал на огород копать грядки.

Слимак сидел у печки. Это был мужчина среднего роста, с широкой грудью и могучими руками. Лицо у него было спокойное, усы коротко подстрижены, длинные волосы, спускавшиеся на лоб чёлкой, сзади падали ему на шею. У ворота холщёвой рубахи алела стеклянная запонка в медной оправе. Левой рукой он облокотился на кулак правой и курил трубку, но когда глаза у него закрылись и голова качнулась вперёд, он удобнее

уселся на лавке и, облокотившись правой рукой на кулак левой, снова раскурил трубку.

Пуская сизые клубы дыма, он дремал, изредка сплёвывая на середину горницы и перекладывая трубку из одной руки в другую. Когда же чубук зачирикал, как молодой воробушек, он выколотил трубку, постучав ею о край лавки. Наконец он поднялся и, зевнув, положил трубку на печку.

Искося взглянув на Магду, Сликаж пожал плечами. Девушка, прерывая мытьё посуды, то и дело выскакивала из хаты; резвость её возбуждала в нём что-то вроде зависти. Он бы не мог теперь так выскакивать, он-то отлично знает, как тяжелеют руки, ноги и голова, когда человек хорошенько наработается.

Он обул толстые башмаки с подковами, надел негнувшийся зипун, опоясался жёстким ремнем, нахлобучил на голову высокую баранью шапку и почувствовал, что руки, ноги, всё его тело стали ещё тяжелее. Ему пришло на ум, что после огромной миски похлёбки и такой же миски лапши с творогом куда лучше было бы растянуться на соломе, а не итти на работу. Но он пересилил себя и, не спеша, вышел во двор. В коричневом зипуне и чёрной шапке он был похож на низкий сосновый пенёк, обугленный сверху.

Ворота овина были открыты, и, как нарочно, оттуда торчало несколько снопов соломы, соблазняя его вздремнуть. Мужик отвернулся и поглядел на один из своих холмов, который он как раз в это утро засеял овсом. Ему казалось, что он видит на бороздах жёлтые зёрна, тщетно пытающиеся укрыться под землю от стайки воробьёв, налетевших клевать овёс.

— Вам бы только обглодать меня до последней косточки, — буркнул Сликаж.

Тяжёлыми шагами он подошёл к навесу и выволок оттуда похожие на оконную решётку бороны, оцетинившиеся дубовыми пальцами. Потом вывел из конюшни гнедых лошадок. Одна из них зевала, другая шевелила губами, глядя на Слимака с таким видом, точно говорила про себя: «А не лучше ли тебе, мужичок, вздремнуть, да и нас не таскать по горам? Мало мы, что ли, топтались вчера?»

На этот совет Слимак только покачал головой. Он запряг гнедых в одну борону, прицепил к ней другую, и кони медленно тронулись. Проехав зелёную лужайку за конюшней, они вскарабкались по бурому склону холма и, наконец, добрались до вершины.

Если взглянуть из-за крыши конюшни, то невольно казалось, будто коренастый мужик и его попурные лошадки плетутся по самой небесной лазури — сто шагов вперед, сто шагов назад. Всякий раз, дойдя до межи, они вспугивали сердито чирикавших воробьёв, стая которых, как туча, пролетала мимо них на противоположный край. Или, усевшись в сторонке, они принимались громко щебетать, удивляясь, что Слимак засыпает землёй столько добра.

— Глупый мужик! глупый мужик!.. Ну что за глупый мужик!.. — кричали воробьи.

— Ага! — ворчал Слимак, размахивая кнутом. — Послушай я вас, дармоедов, так вы бы перемерли под забором. Туда же ещё — смеются, лодыри!..

Труд не приносил Слимаку радости, да и благодарности ожидать не приходилось. Мало того, что воробьи критиковали его работу, что гнедые презрительно махали хвостом под самым его носом, но и бороны, вместо того чтобы идти вне рёд, упирались изо всех сил, а каждый камушек,

каждый ком земли старались по возможности мешать ему. Спотыкаются что ни шаг понурые лошади; правда, стóбит Слимаку их подогнать: «Нн-о, милые!», и они трогаются, но тут начинают бунтовать бороны и тянут назад. Перестанут хорохориться бороны, тогда камни лезут под копыта лошадям, а пахарю под ноги, забивая боронам зубья, а то и попросту ломая их. Даже земля и та противилась, неблагодарная.

— Ах ты, свинья, куда там — хуже свиньи! — злился мужик. — Если б я свинью чесал скребницей так, как тебя бороной, она бы не только лежала смирно, она бы хрюкала от удовольствия. А ты всё ершишься, будто я худо тебе делаю!..

За обиженную землю вступилось солнце, бросив огромный сноп света на бурую пашню, где местами проступали тёмные и жёлтые пятна.

— Глянь-ка сюда! — сказало солнце. — Видишь чёрный клочок? Таким был весь этот холм, когда твой отец сеял на нём пшеницу. А теперь погляди-ка на тот, на жёлтый: видишь, глина выпирает из-под чернозёма и скоро покроет всю твою землю.

— А я чем виноват? — возразил Слимак.

— Это ты-то не виноват? — прошептала, в свою очередь, земля. — Сам ешь по три раза в день, а меня — часто ли кормишь?.. Дай бог раз в восемь лет! Да и много ли мне даёшь? Собака и та подохла бы на таких харчах. И ведь чего пожалел для меня, сироты?.. Стыдно сказать: конского да коровьего навоза!..

Расстроился мужик, понурил голову.

— Сам, небось, если жена не прогонит, готов спать хоть целый день, а мне когда даёшь отдых? Раз в десять лет, да и то скотина меня топчет. И мне ещё радоваться, что меня боронуют? Попробуй-ка, не дай сена, не подстели со-

ломки корове, а только скреби её щёткой, и увидишь, много ли она тебе даст молока. А когда твоя корова падёт и пришлют из волости ветеринара добить у тебя последнюю скотину, тогда еврей и тот шкуры её не купит!..

— Господи, спаси и помилуй!.. — вздохнул мужик, призывая, что земля права.

Но никто не сочувствовал его огорчению. Напротив, налетавший порывами западный ветер, путаясь между засохшими на меже стеблями, свистел ему в ухо:

— Не беспокойся, я уж тебе задам!.. Такой нагоню дождь, такой потоп, что последний чернозём потечёт у тебя на дорогу или на помещичьи луга. Борони ты хоть собственными зубами, а всё равно из года в год дела будут идти всё хуже и хуже. Всё запустеет!

Не напрасно грозился ветер. При отце-покойнике, старом Слимаке, на этом месте собирали по десять мер пшеницы с морга. А нынче и за семь мер ржи приходилось благодарить бога; что ж будет года через два, через три?..

— Вот она, мужицкая доля! — бормотал Слимак. — Работает, работает, и всё только из одной беды в другую попадаешь. Эх, не так бы я хозяйствовал, если бы мне прикупить ещё одну корову да хотя бы ещё тот лужок.

Он указал кнутом на луг у реки.

— Глупый мужик! Что за глупый мужик! — чирикали воробьи.

— Смотри, глина выпирает из-под чернозёма! — твердило солнце.

— Голодом меня моришь, отдохнуть не даёшь... — стонала земля.

— Дурень ты, дурень! — сердито ворчали ленивые зубастые бороны.

— Хи-хи! — смеялся ветер в засохших стеблях.

— Эх, доля, доля! — шептал Слимак — Кабы это помещик или эконо́м меня распекал, не так было бы обидно. А тут бессловесная царь, и ни одного от неё доброго слова не дожде́шься. . .

Он запустил всю пятерню в волосы, так что даже шапка сдвинулась на левое ухо, и остановил лошадей: ему захотелось осмотреться вокруг и рассеять грустные мысли.

Неподалеку от хаты, у большой дороги, Ендрек копал мотыгой грядки, пошвыривая камнями в птиц, фальшивым голосом орал песни:

Эх! . . уж я и дёрну
Краковяка крепко,
Затрещат сапожки,
Половица — в щепки!

Или он стучал в окошко и горланил, передразнивая Магду:

Я тебя впотёмках,
Стась, не разглядела,
А то бы, ей богу,
Отворить велела!

Та отвечала ему из горницы:

Пусть я, сиротинка,
Буду побираться,
По углам не стану
Ночью целоваться!

Слимак повернулся к лужайке и увидел свою бабу: стоя под мостом в рубашке и лёгкой юбке, она, нагнувшись, колотила вальком бельё, так что эхо разносилось по всей долине. Тут же, на лугу, находился и Стасек, но он отбился от матери и шёл вверх по реке, к оврагам. Время от времени он присаживался на берег и, подпёрши рукой щёку, подолгу смотрел на воду.

— Хотел бы я знать, что он высматривает! — усмехнулся мужик.

Стасек, его любимец, был ребёнок особенный и часто видел то, что для глаз обыкновенных людей оставалось недоступным.

Слимак взмахнул кнутом, и лошади тронулись. Снова ворчали бороны, снова взлетали воробьи у него из-под ног, снова свистел ветер среди стеблей, но мужику было не до них: его занимали другие мысли.

«Сколько же у меня земли? — соображал он. — Десять моргов, и ни клочка луга. Если я стану засевать только шесть или семь моргов земли, а остальные пушу под пар, чем же я прокормлю семью? Шутка ли — шесть душ. Батрак съест не меньше моего, даром что хромой, да ещё пятнадцать рублей жалованья ему давай. Магда — та много не съест, да что в ней толку? Одна слава, что работница. Только и надежды, что в усадьбу позовут или к евреям наймёшься с повозкой, да ещё иной раз баба продаст масла и яиц или поросёнка откормит. А много ли от всего этого выручки? Слава богу, если за год скопишь да уберёшь в сундук пятьдесят рублей. А ведь когда мы поженились, у нас и сотенная была не в диковину... Вот и давай навозу земле, когда самим едва-едва хлеба хватает, а сено и овёс приходится покупать в усадьбе. А вдруг они раздумают и не продадут кормов или не позовут на работу — что тогда? Сам с голоду подыхай и скотину гони на ярмарку...»

«У меня ведь нет столько земли, как у Гжиба, Лукашека или Сарницкого. Те господами стали. Один со своей бабой уже в костёл ездит в бричке, другой в фуражке ходит, точно бондарь, а третий который год норовит старшину сместить и пристроиться к тёплому местечку. А ты бейся на своих десяти моргах да ещё эконому кланяйся в ноги, чтобы не забыл про тебя.»

«Нет, пусть уж идёт, как шло до сих пор! — решил Слимак. — Правду люди говорят, что ксендз на тридцати моргах легче управится, чем мужик на одном. А вот если бы мне побольше скота да луг, то не стал бы я в усадьбе милости просить, да и клевер бы посеял...»

За рекой, на дороге, поднялось облачко пыли. Слимак заметил его и решил, что кто-нибудь из усадьбы едет верхом к мосту. Но ехал он как-то загадочно. Облачко пыли то подвигалось вперёд, то вдруг пятилось назад: шагов на пятнадцать, двадцать. Минутами пыль совсем оседала, и тогда зоркие мужицкие глаза могли различить лошадь и всадника. Потом пыль опять поднималась и клубилась на дороге так, точно налетела буря.

Слимак остановил гнедых, прикрыл рукою глаза от солнца и стал раздумывать:

«Чудно человек едет, но кто бы это мог быть? Помещик — не помещик, кучер — не кучер, как будто даже не христианская вовсе душа. Но и не еврей! Еврея, правда, корячит на кляче так же, как этого; но опять-таки у еврея такой отчаянности нет: вишь, как скачет! Верно, кто-нибудь нездешний или полоумный...»

Между тем всадник настолько приблизился, что Слимак мог его рассмотреть. Всадник был худошав, одет в господское светлое платье и бархатную шапочку с большим козырьком. На носу у него были очки, во рту папироса, подмышкой хлыст. Он сжимал поводья обоими кулаками, которые так и подпрыгивали от шеи лошади к самому его подбородку. Вывернув ноги, всадник с такою силой сжимал ими бока своего коня, что брюки его засучились до колен, и над низкими ботинками виднелось белое полотно.

Даже несведущий в верховой езде человек мог бы сразу догадаться, что этот наездник впер-

вые сел на коня, а конь впервые везёт такого всадника. Минутами оба они в полной гармонии двигались рысью, но вдруг подскакивавший в седле всадник терял равновесие, дёргал поводьями, и чуткая к малейшему прикосновению лошадь сворачивала в сторону или останавливалась как вкопанная. В такие минуты всадник начинал чмокать и сжимать коленями бока лошади, но, убедившись, что это ни к чему не приводит, силился достать торчавший подмышкой хлыст. Тогда лошадь, догадавшись, что ему было нужно, снова пускалась рысью, приводя в движение руки, ноги, голову и туловище всадника, дергавшегося в седле, как тряпичная кукла.

Как ни смирна была лошадь, но порой ею овладевало отчаяние, и она пускалась вскачь. Но всадник каким-то чудом находил равновесие и, возбуждённый быстрой ездой, давал волю своей фантазии. В мечтах он видел себя капитаном кавалерии, во главе эскадрона мчавшимся в атаку. Вдруг руки его, ещё не «освоившиеся» с офицерским званием, делали лишнее движение, лошадь внезапно останавливалась, и всадник тыкался ей в шею носом и папиросой.

Всё это, однако, несколько не портило его настроения: с самого детства он мечтал о верховой езде и лишь сегодня, наконец, получил возможность досыта насладиться ею.

Время от времени лошадь чувствовала, что поводья отпущены совсем, и вместо того, чтобы итти вперёд, поворачивала к деревне. Всадника мигом окружала целая толпа гнавшихся за ним детей и собак, и его «демократическое» сердце наполняла дружелюбная радость. Наряду с стремлением к рыцарским подвигам в душе его жила страстная любовь к народу, который он изучил в той же степени, как и искусство держаться в стре-

менах. Однако он тотчас подавлял вспышку любви к народу, возбуждал в себе снова кавалерийские инстинкты и посредством чрезвычайно сложных приёмов поворачивал обратно к мосту. Очевидно, у него было намерение пересечь долину поперёк.

— Эге! это, видно, баринов шуриин приехал из Варшавы, его ведь ожидали! — произнёс вслух развеселившийся Слимак — Жёнку себе барин нашёл хоть-куда и ездил за ней недалеко, а чтоб выискать такого шурыяка пришлось, верно, пол-света объехать... В нашей стороне медведя легче встретить, чем такого ездока. Видно, он глупее последнего подпaska, хоть и баринов шуриин... А всё-таки, что там ни говори, он баринов шуриин!..

Между тем как Слимак оценивал таким образом друга народа, всадник въехал, наконец, на мост. Стук валька привлёк его внимание, он повернул коня и с высоты седла заглянул через перила. Тощей фигурой и задранным кверху жокейским козырьком он напоминал журавля.

«Чего ему понадобилось?» — подумал мужик.

Панич, видно, спрашивал о чём-то Слимачиху; она продолжала сидеть на корточках, но подняла голову кверху. Юбка её была высоко подоткнута, и Слимак лишь теперь заметил, какие у неё были красивые белые колени. Мороз пробежал по его коже.

«Какого чорта ему надо от моей бабы? — подумал Слимак. — На лошади сидит, как нищий на паперти, а к бабам приставать — на это он горазд! Ну, и моя тоже хороша! Что бы ей прикрыть малость свою красоту, а то расселась — смотреть тошно. Как-никак, это баринов шуриин...»

Баринов шуриин съехал с моста, не без труда повернул лошадь к воде и остановил её возле

Слимачихи. Мужик перестал бормотать про себя и смотрел во все глаза. Колени жены показались ему ещё белее.

Вдруг произошло что-то непонятное. Панич протянул руку, словно желая достать чётки на шею Слимачихи, она же с такой энергией отмахнулась вальком, что испуганный конь выскочил из воды на дорогу, а всадник своими коленями обхватил его за шею.

— Что ты делаешь, Ягна! — ахнул Слимак. — Это ж баринов шурин, дура!..

Но крик его не долетел до Ягны, а панич несколько не обиделся за маневр с вальком. Он послал Слимачихе воздушный поцелуй, привстал в стременах и пришпорил коня. Умное животное угадало его намерение. Вскинув голову вверх, конь резвой рысью понёсся к хате Слимака. Но паничу снова не повезло: нога выскользнула из стремени, он обеими руками ухватился за гриву и заорал благим матом:

— Тпру! Тпру! Остановись же ты, чорт!..

Услышав крик, Ендрек взобрался на ворота и при виде странно одетого панича захохотал во всё горло. Лошадь шарахнулась в сторону и так тряхнула всадника, что шапка у него свалилась с головы.

— Подними-ка шапку, дружок!.. — на скаку крикнул панич Ендреку.

— Сам потерял, сам и поднимай. Ха-ха-ха! — заливался Ендрек, хлопая в ладоши, чтобы припугнуть скакуна.

Всё это видел и слышал Слимак. В первую минуту у него отнялся язык, — в такой гнев его привело нахальство сына, — но он мигом опомнился и гаркнул:

— Ах ты, щенок этакий!.. Сейчас же подай ермолку паничу, раз тебе велено!

Ендрек поднял двумя пальцами бархатную шапочку и, стараясь держать её подальше от себя, подал паничу, который, наконец, справился с лошадью.

— Благодарю, очень благодарен... — проговорил панич, смеясь не менее весело, чем Ендрек.

— Ендрек! Ты что же, собачий сын, шапку не снимаешь перед паничом? — орал сверху Слимак. — Сейчасними!

— Буду я перед всяким шапку ломать! — нахально возразил парнишка.

— Отлично! Очень хорошо!.. — радовался панич. — погоди, вот тебе злотый. Свободный гражданин ни пред кем не должен унижаться.

Но Слимак не разделял демократических теорий панича. Бросив вожжи, с шапкой в одной руке и с кнутом в другой, он уже бежал к Ендреку.

— Гражданин, прошу тебя, гражданин, — взывал панич к Слимаку, — не трогай этого юношу... Не подавляй в нём независимость духа... Не...

Он собирался-было продолжать, но соскучившаяся лошадь понесла его к мосту. По дороге всадник встретил возвращавшуюся домой Слимачиху и, сняв запачканную в пыли шапку, помахал ею и прокричал:

— Прошу вас, пани, не позволяйте бить мальчика!..

Ендрек уже исчез, панич успел проехать по мосту обратно, а Слимак всё ещё стоял на том же месте, с шапкой в одной руке и с кнутом в другой, поражённый всем происшедшим. Что за чудак! пристал к его жене, развеселился от нахальства Ендрека, почтенного крестьянина назвал «гражданином», а бабу его «пани».

— Суций фармазон!

Он надел шапку и, рассердившись, вернулся к лошадям:

— Нн-о, милые! Вот так времена настали, ну-ну! Деревенский малый не хочет поклониться барину, а барин его за это ещё похваливает. Какой он барин! Хоть он и шурин помещику, а в голове у него неладно, ох, неладно! Нн-о, милые! Скоро и вовсе господа переведутся, и тогда мужику крышка! Подрастет мой Ендрек и, может, что-нибудь ещё выдумает, по мужику он не будет, ей-ей не будет! Нн-о, милые!..

Ему казалось, что он уже видит своего Ендрека в низких ботинках и бархатной шапочке.

— Тьфу! — сплюнул мужик. — Нет, покуда глядят мои глаза, тебе, щенок, по-господски не одеваться. Нн-о, милые! Придётся ему нынче задать трёпку, а то малый до того избалуется, что, пожалуй, перед самым барином шапки не снимет, а тогда не жди работы. Только этого нехватало! А всё из-за бабы, это она портит парня. Ничего не поделаешь, придётся ему нынче пересчитать ребра!..

Тут Слимак снова заметил пыль на дороге, но уже со стороны равнины, и различил две неясные тени: одну высокую, другую длинную. Длинная шла за высокой и поматывала головой.

«Корову кто-то ведёт, — подумал мужик, — куда бы это? Ярмарки ведь нет. . . Непременно его выдеру, хоть сам господь бог за него вступишь. . . Чья же это корова? . . . Нн-о, милые! Эх, кабы мне ещё коровку, да в придачу этот лужок!..»

Спустившись с вершины холма, он стал бороздить склон, обращённый к Бялке. У реки он увидел Стасека, но зато потерял из виду свой хутор и таинственного мужика с коровой. От усталости у него опускались руки, с трудом двигались ноги, но всего тяжелее было сознание, что,

пожалуй, он никогда не отдохнёт как следует. Кончит работу здесь, надо идти в город, а то чем же жить?

«Хоть бы разок отлежаться вволю! — думал мужик. — Эх, будь у меня побольше землицы или ещё одна корова да луг, я бы тогда полежал...»

Он уже с полчаса шагал за бороной на новом месте, чмокая на лошадей и размышляя о том, как бы он полежал. Вдруг он услышал:

— Юзеф! Юзеф!

И увидел на холме жену.

— Ну, чего тебе? — спросил мужик.

— Знаешь, что случилось? — проговорила, запыхавшись, хозяйка.

— А почём я знаю? — забеспокоился мужик.

«Неужто новый налог?» — мелькнуло у него в голове.

— Пришёл к нам дядька Магды, ну, этот, Войтех Гроховский...

— Девку, что ли, пришёл забирать?.. Ну, и пускай берёт.

— Как бы не так, только ему и заботы, что о девке! Привёл корову и хочет её продать Гжибу за тридцать пять рублей бумажками и рубль серебром за постромки. Не корова, а заглядение, верно тебе говорю.

— Пусть продаёт, мне-то что?

— Как что? А то, что мы её купим, — решительно заявила Слимачиха.

Мужик даже кнут уронил наземь; задрав голову кверху, он уставился на жену.

Правда, он давно вздыхал по третьей корове, но отдать сразу тридцать с лишним рублей и произвести такой переворот в хозяйстве — это показалось ему просто чудовищным.

— Бес тебя, что ли, мутит? — спросил он.

Баба упёрлась руками в бока.

— А почему бы ему меня не мутить? — проговорила она, возвышая голос. — Что ж, для меня и коровы не будет? Гжиб своей бабе бричку купил, а тебе скотины для меня жалко?.. Вот стоят у нас две коровы, что ж, много тебе с ними забот... А нашлась бы у тебя хоть одна целая рубаха, кабы не наши коровы?

— Господи, помилуй! — простонал мужик, у которого от скороговорки жены начинали путаться мысли. — Да чем же ты её кормить будешь? Сена мне больше в усадьбе не продадут. Ну, говори, чем? — спрашивал он.

— Арендуй у барина лужок, вот тебе и сено, — ответила жена, показывая на полосу земли, зеленевшую между рекой и пашней Сливака.

Близкая возможность осуществить свои самые дерзкие мечтания поразила мужика.

— Побойся ты бога, Ягна, что ты болтаешь? Как же это я арендую луг?

— Пойди в усадьбу, попроси барина да заплати за год, только и всего.

— Спятила баба, ей-богу, спятила! Да ведь нынче наша скотина щиплет тут траву даром, а заплати я за аренду — что тогда? Тогда-то уж не будет даром.

— Заплатишь за аренду, — будет у тебя третья корова.

— Чорта ли в ней, если мне за неё да ещё за луг платить надо. Не пойду я к барину...

Жена подошла поближе и посмотрела ему в глаза.

— Не пойдёшь? — спросила она.

— Не пойду.

— Ну, так я и дома найду для коровы сена, тогда ты не то что к барину, а к самому чорту пойдёшь на рога, чтобы как-нибудь лошадей прокормить. А корову эту я не упусти и куплю...

— Ну, и покупай.

— И куплю, но ты мне её сторгуешь, мне ведь некогда с Гроховским разговоры разговаривать, да и водку с ним я не стану пить.

— А ты выпей и поразговаривай! Захотелось, небось, коровы! — кричал Слимак.

Бабёнка подскочила к нему и, грозя кулаком, затараторила:

— Юзек, ты смотри у меня, не бунтуй, раз нет у тебя правильного соображения! Ты меня слушай. То всё охал, что навозу мало, голову мне дурил, что тебе скотина нужна, а пришёл случай, покупать не хочешь. Ведь наши коровы тебе ничего не стоят и ещё деньги дают, да молоко; так и новая тебе денег принесёт, ты только меня слушай. Говорю тебе: меня слушай!.. Кончай работу и ступай домой, да смотри, сторгуй корову, а то я и знать тебя не хочу..

Сказала и ушла, а мужик схватился за голову.

— Ох, и беда мне с бабой! — причитал он. — Куда мне, горемычному, луг арендовать?.. Барин и толковать со мной об этом не станет... Трава до сих пор была у нас даровая, сколько скотина ни съест, а теперь как?.. Упёрлась баба, понадобилась ей корова, и что хочешь делай, хоть головой об стену... И зачем я, горемычный, на свет родился, куда ни кинь, одно только расстройство!.. Нн-о, милые!

Он взмахнул кнутом, дёрнул вожжами и стал опять боронить. Ему казалось, что камни и комья земли снова ворчат: «Дурень ты, дурень!..», а ветер смеётся среди стеблей и шепчет:

— Спорь — не спорь, всё равно заплатишь тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром за постромки. Копил-копил день за днём, неделю за неделей, а нынче сразу отдашь всё,

как одну копеечку. Гроховский набьёт себе карманы новенькими бумажками, а твой кошель отощает. Да ещё придётся тебе кормушку с загородкой для коровы ставить, от страха трястись, пока будешь барину кланяться в ножки, придётся за луг платить и часами дожидаться эконома, чтобы получить квитанцию на аренду. . .

— Ох, беда, беда! — бормотал мужик. — Ни-о, милые! Сколько времени копишь грошик за грошиком, пока соберёшь рубль, сколько набегаешься, пока новенькую бумажку выменяешь. . . Ни-о, милые! А тут ещё барин, пожалуй, не захочет луг отдавать. . .

— Чего врёшь, чего зря врёшь; знаешь, что отдаст, — чирикали воробьи.

— Отдать-то отдаст, — неохотно признался Слимак, — да за аренду велит платить. А прежде сколько травы пощиплет, бывало, скотина по-соседски, без уплаты единого гроша. Боже мой милостивый, что за несчастный день выдался нынче! . . . Этакую кучу денег отдать! . . . Лучше бы господь болезнь на меня наслал, только бы не бросать попусту такие деньги!

Солнце уже клонилось к западу, когда Слимак перешёл с бороной на последнюю полосу, у самой дороги. В эту минуту заревела та самая корова, которую он должен был купить; рёв её понравился мужику и даже как-то тронул его.

«Ясное дело, три коровы не то, что две, — подумал он. — При таком хозяйстве мне и почёту будет больше. Беда только с лугом да с деньгами. Эх, сам я кругом виноват. . .»

Ему вспомнилось, сколько раз, бывало, разлётшись на лавке, он не спал, а строил всякие планы и рассказывал о них жене. Сколько раз говорил, что непременно введёт у себя шести-полье и посеет клевер! Сколько раз хвалился, что

люди ему советуют в зимнее время делать телеги и всякую хозяйственную утварь, потому что у него к этому большие способности. Да и не сам ли он вздыхал по третьей корове? Не сам ли хотел арендовать луг?

Жена слушала, терпеливо слушала — год, два, три года, а нынче вот и велела купить корову и арендовать луг. Да чтобы сейчас же, немедленно! Иисусе милостивый, экая упрямая баба! Она ещё, чего доброго, заставит его клевер сеять и телеги делать.

Странный мужик был Слимак. Во всём он понимал толк, даже в жнейках; всё умел починить, даже молотилку в усадьбе наладил; всё мог придумать и сообразить, даже как перейти на севооборот, но сделать не смел ничего, пока его насильно не заставят. В его сознании недоставало той тонкой нити, которая связывает замысел с исполнением, зато чересчур была развита «кишка послушания». Помещик ли, ксёндз, староста или жена — все были приставлены богом, чтобы приказывать Слимаку, который сам себе приказывать не умел. Мужик он был умный, но не было в нём самостоятельности, и он боялся её пуще бешеной собаки. У него даже поговорка такая была: «мужицкое дело — работать, а господское — гулять да приказывать».

Солнце коснулось макушек гор, окружающих долину. Слимак со своими боронами добрался уже до большой дороги и раздумывал, как он будет торговаться с Гроховским, но вдруг он услышал позади грубый окрик:

— Эй, ты! Эй!

На дороге стояли двое. Один седой, бритый, в синем немецком кафтане с высокой тальей, в шляпе с загнутыми полями; второй — помоложе, очень прямой, с светлой бородкой, в пальто и

кепи. За ними, на некотором расстоянии, дожидалась бричка, запряжённая двумя лошадами, которыми правил человек в синем кафтане и кепи.

— Это твоё поле? — резко спросил Сликама бородатый.

— Подожди, Фриц, — прервал его старик.

— Почему я должен ждать? — вскинулся бородатый.

— Подожди. Это ваша земля, хозяин? — спросил старик несравненно мягче.

— Моя и есть. А то чья же? — ответил мужик.

В эту минуту с луга прибежал Стасек, он устался на чужих с удивлением и недоверием.

— И луг этот твой? — спросил бородатый.

— Подожди, Фриц. А луг этот ваш, хозяин? — поправил его старик.

— Не мой, господский.

— А гора с сосной чья? ..

— Подожди, Фриц.

— Ах, оставьте, отец. Вы любите слишком много болтать. . .

— Подожди, Фриц, — остановил его старик. — Эта гора с сосной — ваша? ..

— Моя, конечно, а то чья же ещё?

— Видишь, Фриц, — заговорил старик по-немецки, — здесь можно было бы поставить ветряную мельницу для Вильгельма.

И он показал рукой на вершину горы.

— Вильгельм не строит мельницы не потому, что нет достаточно высокой горы, а потому, что он лентяй, — сердито ответил Фриц.

— Прощу тебя, Фриц, будь терпелив. А поля за большой дорогой и овраги — это уже не ваше? — снова обратился старик к мужику.

— Какие ж они мои, раз они панские.

— Ну да, — раздражённо прервал боро-

дач, — всем известно, что он торчит среди помещичьих полей, как дыра в мосту. Грош цена всему этому делу.

— Подожди, Фриц, — успокаивал его старик. — Вас, хозяин, со всех сторон окружают помещичьи поля?

— Так оно и есть.

— Ну, довольно! — проворчал бородач и потянул отца к тележке.

— До свиданья, хозяин, — проговорил старик, дотрагиваясь рукой до шапки.

— Ох, как вы любите болтать, — прервал бородач, грубо рванув отца к бричке. — Из Вильгельма ничего не выйдет, хотя бы вы нашли ему десять таких гор.

— Чего им надо? — вдруг спросил Стасек.

— Верно, — опомнился мужик. — Эй, вы, господин!..

Старик повернул голову.

— А вы для чего это спрашиваете?

— Потому что так нам нравится! — ответил бородач и втолкнул отца в бричку.

— Будьте здоровы, до свидания! — крикнул старик Слимаку.

Бородач пожал плечами и велел трогать. Бричка покатила к мосту.

— Сколько народу прошло нынче по дороге, — рассуждал сам с собой Слимак. —словно ярмарка или праздник какой...

— Что это за люди? — снова спросил Стасек.

— Эти, что уехали в бричке? Верно, немцы из Вульки, за три мили отсюда.

— Почему они всё спрашивали про землю?

— Разве одни они спрашивают, сынок? — ответил мужик. — Иным до того нравилась наша сторона, что они лазили туда, на самую ма-

кушку, под сосну. Потом сходили вниз — и поминай как эвали.

Слимак кончил работу и повернул лошадей к дому. О немцах он уже позабыл, всё его внимание поглотила корова и лужайка. А что, если и вправду купить корову и арендовать лужок. Мурашки пробежали у него по спине при мысли, что самое заветное его желание может исполниться.

Ещё одна корова и два морга дуга — да это рублей тридцать барыша в год! Тогда и землю можно лучше унавозить, и хлеба больше продать, и старика на зиму в дом взять, чтобы поучил ребятишек грамоте... Что-то другие хозяева на это скажут? Теперь-то ему будут уступать место и в костёле и в корчме. А как отдохнуть можно при таком богатстве!..

Ох, отдохнуть! Слимак не знал ни холода, ни голода, дома у него всё ладилось, с людьми он дружил, водились у него и деньги, и совсем бы он был счастлив, если б только ему отлежаться и отсидеться, сколько душа пожелает.

III

Вернувшись домой, Слимак препоручил бороны батраку, а сам стал осматривать корову, стоящую на привязи у забора. Уже смеркалось, но мужик сразу увидел, что корова хороша: крупная, белая, в чёрных пятнах, голова маленькая, с короткими рогами и вымя большое. Разглядев её хорошенько, он решил про себя, что обеим его коровам далеко до этой.

Ему пришло в голову, что не худо бы поводить её по двору, но он чувствовал, что на это у него не станет сил. Казалось, что руки выскочат из суставов, а ноги просто отвалятся, если он

двинется с места. Работает-работает человек, как лошадь, от зари до зари, но когда сядет солнце, тут ему надо отдохнуть, ничего не поделаешь. И он не стал водить скотину, а только погладил. Но когда корова, словно угадав в нём нового хозяина, повернула голову и ткнулась мокрой мордой ему в руку, Сликама охватила такая нежность, что он готов был обнять её за шею и расцеловать, как человека.

— Непременно куплю, — пробормотал мужик, позабыв об усталости.

В дверях показалась хозяйка с ушатом помоев.

— Матек! — кликнула она батрака, — как напьётся корова, загони её в стойло. Староста у нас заночует, не оставлять же её во дворе.

— Ну, как? — спросил Сликама жену.

— А что? — ответила она. — Просит тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром за постромки. Но что правда, то правда, — прибавила она помолчав, — корова этого стоит. К вечеру я подоила её, так, веришь ли, хоть устала она с дороги, а молока дала больше, чем наша Лыска...

Мужик снова ощутил боль в руках и в ногах. Господи, боже мой, сколько натопчешься, намокнешь, недоспишь, покамест сколотишь тридцать пять рублей бумажками да ещё рубль серебром! Хоть бы Гроховский уступил что-нибудь...

— А ты не спрашивала, — снова заговорил Сликама, — он не сбавит?

— Ну, как же!.. Спасибо, если захочет продать. Он всё толкует, будто давно уже обещался Гжибу.

Сликама схватил себя за волосы.

— И какая нелёгкая его принесла! — проговорил он. — За какие грехи господь меня наказы-

вает!.. Один бог знает, отдаст ли мне пан лужок, а тут — шутка ли — этакие деньги плати за корову..

— Юзек, не дури, рассуди как следует, — настаивала жена. — Сколько раз в усадьбе тебе сами навязывали луг, а с коровой — сделай пробу, поторгуйся. Выпей с гостем водочки, угости его хорошенько, он и уступит: господь не без милости. Ты только зря не болтай да на меня почаще поглядывай, всё будет ладно.

В эту минуту приковылял батрак и стал отвязывать корову.

— Что, Матек, — спросила хозяйка, — правда, ведь, хороша скотина?

— Ого-го!.. — ответил хромой и поднял палец кверху, словно погрозив кому-то.

— Но и деньги за неё немалые, а? — спросил хозяин.

— Ого-го!..

— Правда, корова стоит того, верно, Матек? — поспешила вернуть хозяйка.

— Ого-го!..

После такого изобилия слов Овчаж отвёл корову в стойло, а она, оглядываясь по сторонам, так душевно помахивала хвостом, что Слика не мог подавить в себе волнения.

— Видно воля господня, — прошептал он. — Попробую её сторговать.

И направился к дверям хаты.

— Юзек, — остановила его жена, — смотри только не болтай и уши не очень развешивай. Думай о том, чтобы побольше выторговать, а как язык чересчур развяжется, на меня поглядывай. Этот Войтех — кремень-мужик, одному тебе с ним не сладить.

Слика ещё на пороге снял шапку, перекрестился и вошёл в сени. Сердце у него так и жи-

малось: и денег было жалко, и сомнения одолевали — удастся ли ему выторговать хоть рубль.

Гость сидел на лавке в передней горнице; пламя печки освещало его и Магду, которой он по-отечески внушал, чтобы она была честной, работающей и, пуще всего, слушалась хозяев.

— В воду велют тебе броситься, — говорил он, — ступай в воду; в огонь велют итти, кидайся в огонь. В случае, если хозяйка даст тебе тумак или поколотит, руку у неё поцелуй да скажи спасибо, истинно говорю тебе: благословенна рука наказующая...

Произнося эти слова, он поднял руку вверх, лицо у него стало торжественное, и в красном свете огня он был похож на проповедника. Магде чудилось, что даже тени, прыгающие по стене, поддакивают его словам и что вечерний сумрак, заглядывая в окошки, повторяет за дядей:

«Благословенна рука наказующая!»

Она плакала навзрыд. Ей поочередно казалось, что она слушает прекрасную проповедь и что от каждого слова опекуна на спине у неё взбухают багровые полосы. Она не чувствовала ни страха, ни обиды, а скорее благодарность, к которой примешивались воспоминания недавнего, но уже далёкого детства.

Дверь в хату скрипнула, и всю ее ширь заполнил Слимак.

— Слава Иисусу, — приветствовал он гостя.

— Во веки веков, аминь, — ответил Гроховский.

Он поднялся с лавки и, выпрямив спину, чуть было не упёрся головой в потолок.

— Спасибо вам, староста, что зашли нас проведать, — сказал Слимак, протягивая ему руку.

— Вам спасибо за ласковую встречу, — ответил Гроховский.

— Может быть, вам тут у нас неудобно? Вы прямо говорите.

— Так хорошо и дома не всегда бывает; ведь не только меня, но и скотину хозяйка ваша не оставила попечением.

— Слава богу, что довольны.

— Как тут не быть довольным? Да и Магде, по всему видать, у вас живётся так, что лучше во всём свете не сыщешь... Магда!... — обратился Гроховский к девушке, — а ну, поклонись в ноги хозяину да скажи спасибо, что он для тебя добрее отца родного. А вы, кум, сделайте милость, не жалейте для неё ремня.

— Что ж, она девка неплохая, — ответил Слимак.

Девушка, продолжая всхлипывать, повалилась в ноги — сперва дяде, потом хозяину и убежала в сени. Слезы снова сдавили ей горло, но глаза уже высохли. Понемногу она успокоилась, и, делая вид, будто она выбежала по хозяйству, Магда стала протяжно и жалобно кликать свиней:

— Чуш, чуш, чу-ушиньки, чуш...

Но свиньи уже спали. Зато, вместо них, из мрака вынырнул Бурек, а вслед за собакой Ендрек и Стасек. Ендрек хотел было сбить Магду с ног, та заехала ему кулаком в глаз, он схватил её за одну руку, Стасек за другую, и кубарем вместе с Буреком все выкатились на дорогу. Там они и растаяли в тумане, повисшем над лугами.

Между тем в горнице, подле печки, беседа продолжалась.

— Что такое у вас приключилось, — спросил гостя Слимак, — почему вы надумали от коровы избавиться?

— Видите, какое дело, — начал Гроховский, глядя руку на колено хозяину. — Корова эта не моя, а магдина, ну, а жена давно меня точит:

не хочу, говорит, держать чужую корову; своим, дескать, тесно. Я, конечно, не очень слушаю бабью болтовню, но тут как раз вышел случай: продают землю после покойника Комара; сам-то он спился и помер. Участок Комара приходится возле самой магиной земли, вот я и думаю: надо продать корову и купить Магде морг земли. Ведь земля — это земля.

— Ох, правда, — вздохнул Слимак.

— То-то и оно. А как выйдут всякие льготы да наделы, девка наша получит больше, чем получила бы теперь.

— Это как же? — заинтересовался Слимак.

— Будут давать столько, сколько у кого уже есть. У меня, к примеру, двадцать пять моргов, мне и дадут двадцать пять. У вас — сколько?

— Десять.

— Ну, и добавят десять. А Магде, если у нее будет два с половиной морга, дадут еще два с половиной.

— А правда это — насчет надела?

— Кто его знает? — ответил Гроховский. — Одни говорят, правда, — а другие смеются. Я так думаю: дадут или не дадут, а всё лучше купить девке лишний морг, раз выходит такой случай. Да и баба моя не хочет...

— А раз будут землю давать даром, зачем же деньги бросать зря? — заметил Слимак.

— Оно верно. Но и то сказать: покупаю я не в усадьбе, а у мужика. В усадьбе я бы не спешил покупать, я бы лучше выждал.

— Известное дело, — ответил Слимак. — Дуррак поспешит, а умный погодит.

— И, не подумавши, ничего не станет делать.

— И, не подумавши, не сделает, — поддакнул Слимак.

В эту минуту появилась хозяйка с хромым

Матеком. Они прошли в боковушку и выдвинули на середину стол, выкрашенный в вишнёвый цвет. Возле него Матек поставил два деревянных стула, а хозяйка зажгла керосиновую лампочку без стекла и накрыла стол скатертью.

— Сюда пожалуйста, — пригласила хозяйка. — Юзек, веди-ка старосту. Здесь вам удобнее будет вечером.

Матек, ухмыляясь, неуклюже попытался за печку, а в боковушку пропустил хозяев.

— Хороша горенка, — сказал Гроховский, оглядываясь по сторонам. — И святых у вас много висит по стенам, и кровать крашеная, и пол настлан, и цветы на окошке. Это, верно, вы всё стараетесь, кума?

— А то кто же? — ответила довольная хозяйка. — Он всё мотается — то в усадьбу, то в город, о доме и не заботится. Насилу я его заставила настлать пол в боковушке. Сюда, кум, поближе к нечке, садитесь, сделайте милость. Сейчас подам ужин.

Повернувшись к печке, она налила две миски пшениной похлёбки со шкварками. Ту, что поменьше, подала батраку, а большую поставила на накрытый стол перед гостем.

— Кушайте с богом, — сказала она Гроховскому, — если чего нехватит, скажите.

— А вы не сядете? — спросил гость.

— Я поем напоследок, с детишками. Матек, — обратилась она к батраку, — ты чего не берёшь свою миску?

Матек, всё так же ухмыляясь, взял свою порцию и уселся на лавке против двери в боковушку, чтобы видеть старосту и слушать, о чём говорят люди: очень уж соскучился он на беседе. С довольным видом он опустил миску на колени и сквозь клубы пара уставился на вишнёвый стол,

за которым сидели хозяйева, на белую скатерть и жестяные ложки, которыми они ели. Коптилка казалась ему великолепным способом освещения, а стулья со спинками — наилучшей мебелью. Вид старосты наполнил его сердце благоговением и гордостью. Ещё бы: то был сам Гроховский, который когда-то возил его на жеребьёвку и которому позволили даже постоять у дверей канцелярии, в то время как все рекруты мокли под дождём во дворе. Ведь это он велел отвезти Матека в больницу, уверив его, что он выйдет оттуда здоровым. А кто собирает налоги? Кто во время крестного хода несёт самую большую хоругвь? Кто запекает в костёле у вечерни: «Господи, уста мои отверзи, и уста мои возвестят хвалу твою»? Всё Гроховский! И вот сейчас он, Матек Овчаж, сидит с ним под одной кровлей!

А какая у него осанка! Как он развалился на стуле! Ноги вытянул, левой рукой упёрся в бок. правой облокотился на стол, а голову откинул назад! Как ему, должно быть, удобно на этом стуле со спинкой!..

Матек сам попробовал было развалиться, но больно стукнулся о стену, которая сразу напомнила ему, что он не староста, а простой убогий батрак. И, хотя спина у него ныла от работы, он согнулся ещё смиреннее, сконфуженно спрятав под лавку обе ноги — и перешибленную и здоровую — в одинаково рваных башмаках. Да и к чему ему разваливаться, когда в двух шагах от него сидели, развалясь, староста и хозяин? Им хорошо, и для Матека этого было вполне достаточно: он нехотя принялся за свою похлёбку, жадно прислушиваясь к разговору.

— По правде говоря, староста, — сказала хозяйка, — зачем вам тащиться с коровой в такую даль, к Гжибу?

— А он хочет её купить, — ответил Гроховский.

— Может, и мы бы купили.

— Так-то оно складнее выйдет, — вмешался Слимак, — девка у нас, пусть бы и корова её тут была.

— А ведь верно, Матек, так оно складнее выйдет? — повторила за мужем хозяйка, обращаясь к батраку.

— Ого-го! — засмеялся Матек, но так, что горячая похлебка потекла у него по подбородку.

— Что правильно, то правильно, — вздохнул Гроховский. — К тому же и Гжиб тоже не без понятия, сам, пожалуй, скажет: туда, дескать, итти корове, где девка находится.

— Так продайте её нам! — подхватил Слимак.

Гроховский, опустив ложку на стол, а голову на грудь, с минуту раздумывал. Наконец произнёс, точно покоряясь судьбе:

— Ну, так и быть! Раз вы решили, придётся вам корову отдать, ничего не поделаешь. У кого девка, у того и корова, тут и толковать нечего.

— Только вы уж сбавьте хоть сколько-нибудь, — поспешила прибавить хозяйка.

Староста снова призадумался.

— Дело здесь такое, — проговорил он. — Кабы скотина была моя, я бы сбавил. А ведь это добро сиротки, что осталась без отца, без матери. Как я её обижу? Вы, стало быть, дайте мне тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром за постромки, и корова достанется вам.

— Уж очень деньги большие, — вздохнул Слимак.

— Но и корова — загляденье, — возразил староста.

— Деньги как-никак в сундуке лежат и есть не просят.

— Но и молока не дают.

— Ради этой коровы придется мне в усадьбе луг заарендовать.

— Да, но это выгоднее, чем корма покупать.

Наступило долгое молчание, неожиданно прерванное Сликаком.

— Ну, кум, говорите последнее слово...

— Я сказал: тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром, и забирайте корову. Гжиб будет в обиде на меня, ничего не поделаешь, но вас-то я должен уважить. Девка у вас, пускай и корова у вас.

Хозяйка собрала со стола посуду и вышла в чулан. Через минуту она вернулась, неся бутылку водки, две рюмки, а на тарелке копченую колбасу и вилку с поломанными зубьями.

— Будьте здоровы, кум, — сказал Сликама, наливая водку.

— Пейте с богом.

Выпили, затем молча стали жевать сухую колбасу. При виде водки Матеку стало так приятно, что он даже потихоньку вздохнул. Потом сунул обе руки за пазуху и чуть заметно выдвинул ноги из-под лавки. Ему пришло в голову, что в эту минуту староста и хозяин, должно быть, очень счастливы, — и он тоже почувствовал себя счастливым.

— Право не знаю, как быть, — говорил Сликама, — брать ли корову или не брать? Таковую вы заломили цену, что у меня всякая охота пропала.

Гроховский беспокойно заёрзал на стуле.

— Кум, голубчик, — сказал он, — золотой мой, как тут быть: ведь добро-то сиротское. Магдея непременно должен землю купить, а то баба заест меня с этой коровой.

— За морг с вас не возьмут тридцать пять рублей, земля теперь дешёвая.

— Стала дорожать. В нашей волости какую-то новую дорогу прокладывают, так что немцы скупают землю.

— Немцы? — повторил Сликамак. — Ведь они уже купили Вульку.

— Что ж, продадут её другим немцам, а сами перейдут поближе к нам.

— Были у меня нынче в поле два немца и всё что-то выспрашивали, да я не понял, чего им надо, — сказал Сликамак.

— Вот, видите! Сюда норовят залезть. А стоит осесть одному, как за ним потянутся другие, словно муравьи на мёд, вот земля и дорожает.

— Да знают ли они крестьянскую работу?

— Ещё как знают!.. Варышей они больше получают, чем мужик, хоть он тут родился и вырос, — ответил Гроховский.

— Чудно!

— Ого!.. Немцы — они умные. Они скота много держат, клевер сеют, а зимой ремеслом занимаются. Нет, мужику против них не выдержать.

— Любопытно бы знать, какой они веры. Говорят они между собой совсем как евреи.

— Вера у них будет лучше иудейской, — сказал староста подумав, — но до католической им далеко. Знаю, костёл у них такой же, как у нас, с лавками и с органом. Только ксёндз у них женатый и ходит в сюртуке, а в главном алтаре, где полагается быть богу-отцу, у них один распятый Христос, как у нас на паперти.

— Значит вера их хуже нашей.

— Хуже, — подтвердил Гроховский. — они и богородице не молятся.

— Мать святая, да где ж это видано! — прошептала хозяйка.

Слимак и Гроховский набожно вздохнули, а Матек перекрестился.

— Как это ещё их господь бог милует! — заметил Слимак. — Пейте, кум.

— За ваше здоровье. А почему бы ему их не миловать, раз у них скота много? Скот — он всему основа!

Слимак задумался и вдруг хлопнул ладонью по столу.

— Кум, староста! — воскликнул он с воодушевлением, — продайте мне корову!

— Продам! — ответил Гроховский и тоже хлопнул по столу.

— Даю вам... тридцать один рубль... ей-богу, только по дружбе.

Гроховский обнял его.

— Кум, дайте мне тридцать... ну, хоть тридцать четыре рубля бумажками да рубль серебром за постромки.

В горницу осторожно скользнули набегавшиеся вволю ребята. Хозяйка налила им похлёбки и отвела в дальний угол, велев сидеть смирно. И в самом деле, они всё время сидели тихо, только Стасек один раз свалился с лавки, а Ендрек получил от матери тумака. Зато Магда притаилась, как зайчик, а размечтавшийся Матек вздремнул, и ему приснилось, будто он сидит в боковушке на стуле со спинкой и пьёт водку. Он чувствовал, как водка ударила ему в голову, ему стало жарко, он развалился не хуже Слимака и во что бы то ни стало захотел поцеловать старосту!.. Вдруг он вздрогнул и, смущённый, очнулся.

Из боковушки доносился запах водки, чадила

догорающая копилка. Слимак и Гроховский сидели рядышком.

— Кум... староста... — говорил Слимак, ударя кулаком по столу. — Я дам тебе, сколько ты пожелаешь, говори стало быть... последнее слово. Твоё слово для меня дороже денег, потому что ты голова. На всю волость ты один голова. Старшина — он свинья. Для меня старшина ты, да какой там старшина, ты лучше самого комиссара, потому что ты — голова... голова у нас один — на всю волость, убей меня гром!

Они обнялись, и Гроховский заплакал.

— Юзек!.. брат!.. — говорил он, — не зови меня старостой, зови братом, потому что ты мне брат и я тебе брат...

— Войтех... староста... Говори, сколько хочешь за корову?.. Я тебе столько дам, кишки из себя вымотаю, а дам.

— Тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром за постромки.

— Господи, помилуй! — ахнула хозяйка. — Да ведь вы только что отдавали корову за тридцать три рубля?

— Отдавал? — спросил он. — Юзек, брат, отдавал я тебе корову за тридцать три рубля?.. Ладно!.. Отдаю... бери... Пусть сирота погибает, зато уж у тебя, брат, корова будет что надо.

Слимак ещё сильнее ударил кулаком по столу.

— Как, чтобы я сироту обидел?.. Не желаю!.. Даю тридцать пять рублей и рубль за постромки.

— Что ты болтаешь, дурень? — остановила его жена.

— Не дури, — поддержал её Гроховский. — Ты меня так угостил, так попотчевал, что я с тебя больше не возьму. Давай тридцать три рубля. Аминь, вот моё последнее слово.

— Не желаю!.. — орал Слимак.

— Юзек!.. — уговаривала жена.

— Пошла вон! — крикнул Слимак, с трудом поднимаясь со стула. — Я тебе покажу, как мешаться в мои дела...

И вдруг упал в объятия плачущего навзрыд Гроховского.

— Тридцать пять рублей бумажками да рубль серебром за постромки! — кричал он.

— Чтоб мне из пекла не вылезть, не возьму. Тридцать три, — всхлипывал Гроховский.

— Юзек! — не унималась жена. — Да уважь ты гостя... Ведь он постарше тебя, он староста, его тут воля, а не твоя... Матек, — обратилась она к батраку, — ну-ка, помоги мне их в овин отвести.

— Сам пойду!.. — заревел Слимак.

— Тридцать три рубля, — стонал Гроховский. Убей меня, разруби на мелкие части, ни гроша больше не возьму... Иуда я, пёс поганый, хотел тебя надуть, как немец, для того и говорил, будто веду корову к Гжибу... Я к тебе её вёл, потому что ты мой брат...

Обнявшись, они под руку вышли из боковушки и сразу же ткнулись в окно. Когда Матек отворил им дверь в сени, они — после нескольких более или менее удачных попыток — всё-таки попали на двор.

Хозяйка зажгла фонарь и достала из чулана тюфяк и подушку, чтобы постелить Гроховскому в овине. Проходя по двору, она увидела странную сцену: Слимак, лежа на навозной куче, убеждал Гроховского ложиться спать, а староста опустился подле него на колени и, вытирая слёзы полёй зипуна, читал молитвы. Над ними стоял вконец растерявшийся Матек.

— Видно, вы им крепкого чего-то дали, — сказал он хозяйке.

— Бутылку очищенной выпили.

— Ого-го!..

— Ну, вставай, пьяница! — прикрикнула она на мужа.

— Не встану! — рассердился Слимак. — Ты, баба, убирайся, пока цела! Покомандовала — и хватит... Теперь я тут хозяин. Я корову купил, я у пана луг арендую...

— Юзек, поднимись, — говорила хозяйка, — а то, смотри, водой окачу.

— Я тебя окачу, вот только возьму кнут!.. — ответил Слимак.

Гроховский бросился ему на грудь и стал его целовать.

— Вставай, брат, — молил он, — не озорничай, нехорошо будет.

Батрак только диву давался, видя, как водка меняет людей. Староста, слывший на всю волость суровым человеком, плакал, как дитя, а Слимак ни за что не хотел подняться с навоза, орал, как эконо́м, да ещё стращал жену, что теперь он тут хозяин!..

— Пойдёмте-ка, староста, в овин, — сказала Слимачиха, беря Гроховского за руку.

Великан поднялся, кроткий как овечка, позволил Матеку и Слимачихе взять себя под руки и покорно пошёл с ними. Хозяйка выбрала самую большую кучу сена и устроила ему отличную постель; тем временем старосту совсем разморило, он повалился наземь, и не было никакой возможности перетащить его; так он и остался на полу овина.

— Ты, Матек, ступай к себе, — приказала батраку Слимачиха. — А этот пьяница, — показала она на мужа, — пусть валяется в навозе, в другой раз не будет бунтовать.

Матек, как и следовало послушному батраку, тотчас исчез в глубине конюшни. Но когда во дворе всё затихло, он развлечения ради стал изображать, будто он сам напился пьяным.

— Здесь буду спать, — бормотал он, подражая Слимаку. — Теперь я тут хозяин. . .

Потом он вообразил себя старостой, опустился на колени возле своей убогой постели и стал разговаривать с ней растроганным голосом, совсем как староста со Слимаком:

— Вставай, брат, не озорничай, а то нам обоим здорово попадет. . .

Чтобы больше походить на Гроховского, он силился заплакать. Вначале ничего не получалось, но, припомнив свою перешибленную ногу и что он самый несчастный человек на свете, что хозяйка даже рюмки водки ему не дала, он залился самыми настоящими слезами. Так и уснул он, заплаканный, на своей подстилке, как дитя у матери на коленях.

Около полуночи Слимак очнулся. Болела голова, вокруг всё намокло. Он открыл глаза — темно; прислушался, вытянул руку и понял, что идёт дождь; попробовал было сесть, но убедился, что он лежит головой вниз.

Постепенно к нему стала возвращаться память. Он вспомнил старосту, корову в чёрных пятнах, пшённую похлёбку и большую бутылку водки. Что случилось с водкой — он в точности не знал, но ему нездоровилось, и он не сомневался, что ему повредила чересчур горячая похлёбка.

— Сколько раз я говорил, чтоб пшена не варили на ночь; ясное дело, пшено дольше всего держит в себе жар! — проворчал мужик и с трудом поднялся.

Теперь он уже твёрдо знал, что находится у себя во дворе, возле навозной кучи.

— Эх, куда меня занесло! — простонал он. — И немудрено: что может быть хуже, как водку мешать с горячим. Пшено — это чистый огонь...

Ночь была очень тёмная, так что он едва разглядел свою хату. Он побрёл к ней, но очень медленно, словно колеблясь, и даже с минуту сидел на пороге, опустив на руки отяжелевшую голову. Но дождь становился всё назойливее, и Слимак решился войти.

В сенях он снова постоял, послушал, как храпит Магда. Потом осторожно отворил дверь в горницу, но дверь не просто заскрипела, а почти заревела, как корова. И сразу же его обдало жаркой духотой, от которой ещё больше захотелось спать, и поэтому он решил — будь что будет — добраться до постели.

В первой горнице, на лавке у окна, дышал Стасек, но в боковушке было тихо. Слимак понял, что жена не спит, и ощупью стал пробираться к кровати.

— Подвинься, Ягпа, — сказал он, сисясь говорить сурово, хотя сам замирал от страха.

Молчание.

— Да ну... подвинься малость...

— Пошёл вон, пьяница, пока я добром говорю!..

— А куда мне итти?

— В хлев иди или на навозную кучу, там тебе место! — сердито ответила жена. — Хозяином захотелось быть, вот и хозяйствуй, а от меня уходи прочь, пропойца!.. Кнутом вздумал мне угрожать; погоди, я тебе этого не забуду...

— Эх, да что зря болтать, раз ничего с тобой не случилось, — прервал её муж.

— Ничего не случилось?.. А кто упёрся и стал платить за корову тридцать пять рублей да ещё рубль за постромки, когда сам Гроховский

вот-вот отдавал за тридцать?.. Я насилу вымолила у него, чтобы взял тридцать три... Видно три рубля для тебя ничего не стоят?..

Но Слимак её не слушал. Он в отчаянии схватился за голову и понятился назад, в горницу, где спал Стасек. Там он бросился на лавку и случайно придавил мальчику ноги.

— Это вы, тятя? — проснувшись, спросил Стасек.

— Да я.

— А что вы тут делаете?

— Так; присел, мутит что-то меня.

Мальчик поднялся и обнял его за шею.

— Хорошо, что вы тут, — сказал он, — а то по мне все ходили эти немцы.

— Какие немцы?

— Да те двое, что были в поле: старик и бородатый. Ничего не говорят, чего им надо, только воё меня топчут да топчут.

— Спи, сынок, нет тут никаких немцев.

Стасек ещё крепче прижался к отцу; Слимака совсем разморил сон, — оба они повалились на лавку, но мальчик заговорил снова.

— Тятя, а правда, — спросил он отца вполголоса, — правда, что вода видит?

— Что ей видеть?

— Всё, всё... Небо, наши холмы, и вас тоже она видела, когда вы ходили за бороной.

— Спи, сынок, ты плетёшь какую-то несурязицу, — успокаивал его Слимак.

— Видит, видит, тятя, я ведь заметил, — прошептал мальчик — и уснул.

Слимаку показалось в хате чересчур жарко. Он совсем разомлел, ноги были словно чужие. Шатаясь, он поплёлся во двор и вошёл в овин. Тут он споткнулся о Гроховского и под конец,

после нескольких неудачных попыток, налетел на скирду соломы, свалился и утонул в ней, так что не видно было даже сапог.

— А корову-то я купил, всё-таки купил, — буркнул он засыпая.

IV

На другой день Сликама разбудил окрик жены:

— Долго ты ещё будешь валяться?

— А что? — спросил он из-под соломы.

— В усадьбу пора итти.

— Звали меня?

— Чего там звать? Сам должен итти насчёт аренды.

Мужик заохал, но поднялся и вышел на гумно. Вид у него был смущённый, лицо отекло, в волосах торчала солома.

— Ого! на что стал похож, — сварливо говорила жена. — Зипун мокрый, весь вымазался, сапожищи, небось, всю ночь не снимал, а теперь смотрит на людей, как разбойник какой. Пугалом в конопле тебе стоять, а не с паном толковать. Принарядись хоть, куда ты такой пойдёшь?

Сказала и пошла в коровник, а у Сликама сразу от сердца отлегло — он-то думал, что она полдня будет его теперь пилить.

Он вышел во двор. Солнце уже высоко поднялось, земля успела обсохнуть после ночного дождя. От оврагов потянул ветерок, принёсший с собой птичий щебет и какой-то запах, влажный и весёлый. За ночь поля сразу зазеленели, на деревьях выскочили листочки, небо стало словно вымытое, и мужику показалось, что даже хата его побелела.

— Ох, и хорош денёк! — пробормотал он, ощущая какую-то радостную бодрость, и пошёл в избу одеваться.

Вытряхнув из волос солому, он надел чистую рубашку и новые сапоги. Но, на его вкус, они были недостаточно чисты, он взял кусок сала и смазал им сперва волосы, а затем сапоги — от голенищ до каблуков. Наконец, подошёл к зеркалу и, взглянув сначала на ноги, а потом на отражение своей физиономии, ухмыльнулся от удовольствия: слишком уж сильное сияние исходило от его головы и сапог, и к тому же что-то нашёптывало ему, что при виде великолепно намаженного мужика пан не устоит и отдаст ему луг в аренду.

В эту минуту вошла жена и, окинув его пренебрежительным взглядом, сказала:

— Ты что ж это намазался? Салом от тебя разит — не продохнёшь. Что бы тебе вымыться да причесаться?

Признав справедливость её замечания, Слимак достал из-за зеркальца частый гребень и до тех пор расчесывал и приглаживал волосы, пока они не заблестели, как стёклышко. Потом умылся с мылом с таким усердием, что от жирных пальцев на шее остались тёмные полосы.

— А где Гроховский? — уже смелее спросил он жену, повеселев от холодной воды.

— Ушёл.

— А деньги как же?

— Я заплатила. Только он не захотел брать тридцать три рубля, а взял тридцать два: раз, говорит, Иисус Христос прожил тридцать три года на свете, не годится брать столько же за корову.

— Это правильно, — подтвердил Слимак, надеясь теологической эрудицией снискать расположение жены.

— Ну, ну... ты не болтай, перекуси да и ступай в усадьбу. И поторгуйся с паном, вроде как

вчера со старостой, ты ведь у меня молодец! — прибавила она насмешливо.

Мужик, присмирив, молча принялся за еду, а жена тем временем достала из сундука деньги.

— На, вот: десять рублей, — сказала она. — Отдай их пану в задаток, а остальные снесёшь завтра. Выслушай меня хорошенько: как только он скажет, сколько за луг, — ты сейчас же целуй ему руку, поклонись в ноги и проси, чтобы он хоть рублика три уступил. Не скинет три рубля, выторгуй рубль, но до тех пор кланяйся ему и пани, пока сколько-нибудь не уступят. Ну, что, будешь помнить?

— Чего тут не помнить? — ответил мужик.

Он сразу перестал есть и стал ложкой легонько отстукивать такт, видимо, повторяя про себя наставления жены.

— Ты много не раздумывай, надевай-ка зипун, — снова заговорила жена, — да ребят прихвати с собой.

— Их-то для чего?

— Для того, чтобы просили с тобой вместе, и ещё для того, чтобы Ендрек мне рассказал, как ты там торговался. Теперь понял для чего?

— Холера с этими бабами! — буркнул Сликамак, видя, что жена уже всё заранее обдумала, а про себя добавил: «Вот, псякрев, как она всё смекнёт да скомандует! Сразу видно, что отец её служил в приказчиках».

С большим трудом влез он в новенький зипун, расшитый вдоль карманов и по воротнику разноцветными шнурками, и подпоясался великолепным кожаным ремнем, шириной без малого в две ладони. Потом завязал в тряпицу десять рублей и спрятал за пазуху. Мальчики давно уже были готовы, и все втроем вышли, направляясь прямо по большаку в усадьбу.

Не успели они уйти, как Слимачихе стало не по себе, она выбежала за ворота и поглядела им вслед.

Посредине дороги, засунув руки в карманы и задрав голову кверху, шёл муж, слева от него Стасек, а справа Ендрек. Потом ей показалось, будто Ендрек стукнул по голове Стасека, вследствие чего он очутился по левую руку отца, а Стасек по правую. А затем всё как-то смешалось. . . Слимак, видимо, дал затрещину Ендреку, после чего Стасек снова пошёл слева от отца, да и Ендрек тоже, но уже по придорожной канаве, откуда он грозил кулаком младшему брату.

— Вишь, какую забаву нашли, — усмехнулась женщина и вернулась домой стряпать обед.

Уладив кулаком возникшие между сыновьями недоразумения, Слимак замурлыкал себе под нос, а потом вполголоса запел:

При дворе не сыщешь
Ни храбрей, ни краше,
На коне гарцует,
Сабелькою машет.

С минуту подумав, он снова запел, но уже протяжно:

Ой, ду-ду-ду, ду-ду-ду,
Завлекли меня, в беду,
Да в какую же беду!..

Он приумолк и вздохнул, чувствуя, что, верно, нет такой песни, которая могла бы заглушить его тревогу: что-то будет с лугом, отдаст его пан в аренду или не отдаст?

Они шли как раз мимо этого луга. Слимак поглядел и даже испугался. Таким чудесным и недоступным он показался ему сегодня. В памяти его всплыли все штрафы, которые он платил за потрапу, когда помещиковым батракам удавалось

захватить его скотину на лугу, вспомнились все предупреждения и угрозы помещика. Какой-то тайный голос шептал — не то внутри, не то где-то сзади, — что, если бы земля была расположена подальше и вместо сена родила бы песок или сабельник, её, пожалуй, легче было бы получить в аренду. Но луг представлял слишком много удобств, чтобы не вызвать в нём самых пессимистических предчувствий и сомнений.

— И-и-и... чего там! — пробормотал он, сплёвывая с большой виртуозностью, — сколько раз они сами меня уговаривали, чтобы я его взял в аренду. Говорили даже, что и для меня и для них так будет лучше.

Так-то оно так, но когда они его навязывали?.. Когда он сам не просил. А нынче, когда луг понадобился, они начнут торговаться или вообще не дадут.

Но почему?.. а кто их знает! Потому что мужик пану, как и пан мужику, всегда сделает наперекор. Уж так оно повелось па свете.

Припомнив, сколько раз он запрашивал с пана лишнее за работу или как вместе с другими мужиками он спорил с помещиком насчёт отмены лесной повинности, Слика расстроился. Боже мой! а ведь как красиво разговаривал с ними пан.

— Будем жить теперь в мире, по-соседски, будем оказывать друг другу услуги... .

А они отвечали: «Э, какие же мы соседи! Пан — это пан, а крестьяне — это крестьяне... Пану нужно было бы шляхтича, а нам мужика в соседи...»

Помещик им на это: «Смотрите, ребята, не пришлось бы вам пожалеть...»

Тут Гжиб от всего народа и выпалил:

— Да и то пришлось, когда пан хотел утаить лес от мужицкого надзора.

Смолчал шляхтич, только усами грозно пошевелил и, наверное, не забыл этих слов.

— Сколько раз я говорил Гжибу, чтоб он не даялся. Теперь за его гордость мне придётся страдать.

В эту минуту Ендрек швырнул камнем в какую-то птицу. Слимак оглянулся, и его грустные мысли вдруг изменили своё течение.

«И то сказать: отчего бы ему не сдать луга в аренду? — думал он. — Пану известно, что луг его частенько топчет скотина и что за ней не углядеть, хотя бы у него было ещё больше батраков. А он шляхтич — ух, какой умный!.. Да и добрый пан: лучше сам потеряет, а другого не обидит... Ничего себе пан!..»

Вдруг новая волна сомнений залила его душу.

«Как-никак, — думал мужик, — а ведь он понимает, что с лугом мне будет лучше, чем без луга. А ни одному пану не нравится, когда мужик хорошо живёт, ведь сам-то он от этого теряет работника».

Мысли снова переменились: Слимак сообразил, что за аренду можно платить не наличными, а работой.

— В самом деле! — пробормотал он повеселев. — Я могу ему сказать: «Разве я у вас не работаю или не буду работать?»... Другие мужики не ходят в усадьбу, один я хожу, так неужели же для меня он пожалеет один лужок? Мало у него, что ли, лугов, да и всякой другой земли?.. Я ведь как был, так и останусь подёнщик и мужик, а он так и останется паном, хотя бы он даже подарил мне эти два морга, а не то что отдал в аренду.

И он снова стал напевать:

Ой, кукушки куковали
На горе, на горке,
Ой, кумушки толковали,
Что я бражник горький!

Последнюю строчку он промурлыкал совсем невнятно, чтобы не уронить авторитета перед детьми.

Вдруг он обратился к Стасеку с вопросом:

— Что это ты всё молчишь и плетешься так, словно тебя в участок ведут?

— Я? — очнулся Стасек. — Я думаю, для чего мы идём в усадьбу?..

— Что ж, тебе неохота итти?

— Нет, только чего-то страшно.

— Подумаешь, как страшно? В усадьбе хорошо, — внушительно сказал Сликамак, но сам вздрогнул, точно почувствовал мороз.

Однако он поборол свою тревогу и стал объяснять:

— Видишь, сынок, какое дело. Вчера мы у старосты купили корову за тридцать два рубля. Хотел-то он, старый хрыч, тридцать пять да рубль серебром за постромки! Ну, да я его образумил, он и скинул. Видишь, сынок, для новой коровы нужно, стало быть, сено, вот по этому случаю и приходится просить пана, чтоб он нам луг сдал в аренду. Теперь понял?

Стасек кивнул головой.

— Это я понимаю, — ответил он, — я вот чего не знаю: что думает трава, когда скотина ухватит её языком и мнёт зубами?..

— Чего ей думать?.. ничего она не думает!

— Ох, нет!.. — продолжал Стасек, — быть того не может, чтобы она ничего не думала.

— Э, да тебе всё чудеса мерещатся, — сказал Сликамак. — Если начать всяк и каждого спрашивать, хочется или не хочется ему итти под косу, таки самим бы есть было нечего и скотину нечем было бы кормить, так всё и пошло бы прахом.

— А ты, Ендрек, тоже не рад, что идёшь в усадьбу?

— Разве это я туда иду? Вы идёте, — ответил Ендрек, пожимая плечами. — Я бы не пошёл.

— А что бы ты сделал? Письмо бы написал? Но ведь пан тебе не ровня, да и писать ты не умеешь.

— Скосил бы траву, да и свёз бы к себе на двор. Пускай бы он шёл ко мне, а не я к нему.

— И ты бы посмел косить господскую траву?

— Какая она господская! Сам он, что ли, её сеял; да и луг не возле его хаты!

— Вот и видно, что дурак, потому что луг этот господский и кругом тут всё господские поля.

— Так оно как будто и есть, — ответил Ендрек, — покуда никто их не отнял. Я знаю, что наша земля и хата прежде тоже были господские, а нынче стали наши. Так вот и луг. Чем он нас лучше, ваш пан: работать он не работает, а земли на пятьдесят дворов заграбастал.

— Да вот заграбастал же.

— А у вас почему столько нету, да и у Гжиба и у других?

— Потому, что он пан.

— Велика важность! Вы, тятя, наденьте сюртук, выпустите штаны поверх сапог — и тоже паном станете. Только земли у вас столько не будет, как у него.

— Я уж тебе сказал: дурак! — рассердился Слимак.

— Я ещё, правда, глуп, потому что я не учёный. А Ясек Гжиб — умница, он даже в канцелярии писал. А он что говорит? Должно быть, говорит, равенство, и тогда, говорит, оно наступит, когда мужики отнимут землю у господ, и у каждого будет своё.

— Твой Ясек дурак: если у каждого будет своё, никто на другого не станет работать. Так уж это устроено на свете, и Ясек тут ничего не поделает. Лучше бы он смотрел за собой, денег у отца из сундука не таскал и не бегал бы по городу из шинка в шинок. Очень уж он горазд чужим распорядиться! Моё бы он отдал Овчажу, господское взял бы себе, а своё-то, небось, не выпустил бы из рук. Лучше пусть будет так, как господь бог по милости своей сотворил и как святая церковь учит, а не так, как хотят Гжибы: старый и молодой.

— А разве помещику землю господь бог послал? — брякнул Ендрек.

— Господь бог установил на свете такой порядок, чтобы не было никакого равенства. Оттого-то небо вверху, а земля внизу, сосна растёт высоко, орешник низко, а трава ещё того ниже. Оттого-то среди людей один старый — а другой молодой, один отец — а другой сын, один хозяин — а другой батрак, один пан — а другой мужик.

Слимак даже устал говорить, но, передохнув, продолжал:

— Ты погляди, например, на умных собак, когда их много бегают по двору. Вынесут из кухни ушат помоев, сейчас к нему идёт одна, самая важная, всех сильнее и всех злее, ну, и жрёт, а другие стоят — облизываются; но ждут, хоть и видят, что она хватает все лакомые куски. Когда эта так натрескается, что того и гляди лопнет, подходят другие. Каждая суёт морду с своего края и без всякой грызни жрёт, сколько на её долю придется. А где собаки глупые, там все они враз летят к ушату, сейчас передерутся и больше ключев вырвут друг у дружки, чем еды. А то ещё ушат опрокинут и все помои разольют, и

тут всегда найдётся одна какая-нибудь посильней других и всех разгонит. Ей и самой при таком хозяйствованьи немного достанется, а другим и вовсе ничего. Так и с людьми будет, если всякий станет заглядывать в рот другому да кричать: «Отдай, ты больше съел!» Самый сильный разгонит других, а кто послабей, те перемрут с голоду. Оттого бог так и устроил, чтобы каждый берёг свою землю, а чужую не отнимал.

— А ведь раз мужикам уже землю раздавали.

— Раздавали, и не один раз, а два раза; может и ещё будут раздавать, но понемножку и с соображением, чтобы всякому досталось, сколько ему положено, а не так, чтобы всякий хватал без толку, что ему понравится. Так установил господь бог по своей милости, чтобы всему на свете было своё время и во всём был порядок.

— Да уж какой порядок, когда Гжиб сразу получил тридцать моргов, а вы насилу десять! — сказал Ендрек.

Слимак остановился посреди дороги, решив передохнуть. Он поправил шапку, упёрся левой рукой в бок, а правой показал на холмы:

— Видишь ты горы, там — над усадьбой? С них всё время земля сыплется вниз. Может, неверно?

— Нет, верно.

— То-то, что верно. А та земля, что осыпается, она па чьи поля падает, а?

— Известно, на господские.

— То-то, что на господские. А та земля, что осыплется с господских полей, к кому упадёт на пашню — ко мне или к Гжибу?

— Известно, к Гжибу, раз его поля на косогоре под усадьбой, а ваши по ту сторону долины.

— Вот, видишь, — продолжал Слимак. —

Если б мои поля были там, где гжибовы, я бы с господской земли пользу имел; а как земля мне досталась за рекой, так я меньше и пользуюсь.

— Да ещё с ваших же холмов земля сыплется на господские луга, — подтвердил Ендрек.

— На все воля божья! — сказал мужик и снял шапку. — Тем я хуже наших мужиков, что у меня земли меньше, но тем лучше самого пана, что земля с моего хутора падает на его луга и богатство его приумножает.

Ендрек, выслушав это рассуждение, покачал головой.

— Ты что башкой мотаешь? — спросил его отец.

— Не нравится мне, что вы говорите.

— Не нравится, потому что ты моложе меня и глупее.

— Значит, и вы, тятя, глупее Гжиба, потому что вы моложе, а он говорит совсем другое.

Мужика так и кольнуло в сердце.

— Ах ты, щенок этакий, — крикнул он, — вот я дам тебе в морду, так ты мигом смекнёшь, кто умнее!..

Аргумент был настолько веский, что Ендрек умолк, и дальше они шли уже, не разговаривая. Стасек о чем-то мечтал, а Слимак то беспокоился. сдадут ли ему луг в аренду, то удивлялся, что его старший сын проповедует столь превратные теории.

— Гм! — ворчал мужик, — учится, паршивец, у других. Гордый, чорт, никому не уступит; слава богу ещё, что не ворует. Ого!.. Нет, уж он-то не будет мужиком.

Начиная с места, где, плавно поднимаясь в гору, с большаком соединялась дорога, ведущая в усадьбу, Слимак шёл всё медленнее, Стасек озирался всё испуганнее, и только Ендрек стано-

вился всё бойчее. Постепенно из-за холма появлялись чёрные ветви придорожных лип, а за ними трубы и крыши усадебных строений.

Вдруг раздалась два выстрела.

— Стреляют! — заорал Ендрек и бросился вперёд; Стасек уцепился за карман отцовского зипуна.

— Ты куда? Сейчас же назад! — крикнул Сликамак.

Ендрек насупился, но замедлил шаг.

Они поднялись на поляну, откуда тянулись одни только помещичьи поля. Позади, внизу, лежала деревня, ещё ниже — дуг и река; перед ними за решёткой стоял господский дом, ещё какие-то строения, дальше сад.

— Видишь, вот и господский дом, — сказал Сликамак Стасеку.

— Это который?

— Вот тот с крыльцом на столбах.

— А там какая хата?

— Налево? Это не хата, а флигель. Низкое здание — кухня. Погляди-ка, видишь, во флигеле одни горницы внизу, а другие вверху.

— Вроде как на чердаке?

— Это не чердак, а этаж. Чердак ещё выше, под крышей, как у нас.

— А лазят туда по стремянке, — вмешался Ендрек.

— Не по стремянке, а по лестнице, — сурово ответил отец. — Станет тебе пан кувыркаться по жёрдочкам! Пан любит, чтобы всё было удобно, оттого у него и сено крадут с сеновала над коношней.

— Тятя, а направо — зачем такие окна здоровенные? — спросил Стасек.

— Там, видно, сами господа располагаются и греются на солнце, — ответил Ендрек.

— Не болтай, чего не знаешь! — оборвал его Сликамак. — Тут — стена, вся как есть из стекла, называется оранжерея. В ней всякие цветы, — какие только бывают на свете, — и цветут круглый год, даже зимой, когда в поле снегу по колено.

— Цветы-то, верно, бумажные, как в костёле, — снова вмешался Ендрек.

— То-то и есть, что настоящие, а цветут потому, что садовник всю зиму печку топит.

— А яблоки тут зимой есть? — спросил Ендрек.

— Яблок нет, одни апельсины.

— Верно, раз во сто лучше яблок? — спросил Ендрек, и глаза у него загорелись.

Мужик презрительно махнул рукой.

— Ни-ни... Попробовал я одно такое. Маленькое, как картошка, зелёное, а уж пакостное — собака и та бы выплюнула...

— И они такое едят?

— Чего ж им не есть!

— Вот дураки! — сказал Ендрек.

— Сам ты дурак, потому что толку в этом не понимаешь, — ответил мужик. — Тебе, небось, нравится, когда похлёбка крепко посолена? А пану нравится, когда от другой еды у него во рту пакостно. У всякого свой вкус: вол любит траву, а свинья — крапиву.

— Гляньте-ка, тятя! — вдруг заорал Ендрек, показывая на двор.

Но не успел он крикнуть, как снова грянули два выстрела. Когда дым рассеялся, они увидели у ворот молодого человека в жёлтых гетрах до колен и в серой куртке с зелёными общлагами. Сбоку у него висела охотничья сумка, на животе патронташ, а в руках ещё дымилась двустволка.

— Это тот самый, что вчера ехал верхом,

ещё шапка у него с башки свалилась, — сказал Ендрек.

Мужик наклонил голову набок и стал приглядываться.

— Это наш растяпа! — удостоверил Слимак с неудовольствием.

И прибавил шопотом:

— Ох, не к добру! Теперь уж, наверное, мне луга не дадут, раз нам перешёл дорогу этот фармазон.

— Ружьецо-то у него славное! — сказал Ендрек. — В кого это он стреляет? Тут только воробьи летают. А, может, просто так? Эх, кабы мне такое ружьё, я бы стрелял целый день, хоть по холмам, а уж пороху — псякрев — столько бы сыпал, что гул пошёл бы на весь приход.

— А в нас он не выстрелит? — тихо спросил Стасек, не решаясь итти дальше.

— Чего ему в нас стрелять? — ответил отец. — В людей стрелять не позволено, за это в тюрьму сажают. Хотя... кто его знает, что ему вздумается, этому нехристю!...

— Ого-го! — подхватил Ендрек. — Пусть попробует!

— А что бы ты ему сделал?

— Вырвал бы ружьё и снёс бы к старшине. Да ещё разика два сам пострелял дорогой.

Между тем охотник, зарядив свой ланкастер, подошёл к мужику. Под сумкой у него были приторочены и болтались окровавленные останки воробья.

— Слава Иисусу! — поклонился Слимак, срывая с головы шапку.

— Добрый день, гражданин! — ответил стрелок, приподнимая бархатную шапочку.

— Эх, красота — ружьё! — вздохнул Ендрек.

Панич поправил пенсне и внимательно поглядел на мальчика.

— Понравилось, а? — спросил он. — Это ты мне вчера подал шапку?..

— Я самый, а вы, пан, вчера ехали верхом, но без ружья.

— Значит, я твой должник! — воскликнул панич, доставая из кармана кошелёк. — Возьми-ка, — сказал он и подал мальчику серебряную монету. — А это твой отец?.. который хотел тебя вчера отстегать кнутом?..

Мужик поклонился до земли.

— Гражданин! — сказал панич обиженным тоном. — Если ты не хочешь, чтобы мы с тобой поссорились, не кланяйся ты мне так низко и надень шапку. Пора забывать эти пережитки рабства, которые и нам и вам приносят одни неприятности. Накрой голову, гражданин, прошу тебя...

Слимак оторопел и вконец растерялся. Он хотел было исполнить приказание, но рука отказалась ему повиноваться.

— Совестно мне при господах в шапке стоять, — пробормотал он.

— Брось ты ребячиться! — прикрикнул на него панич.

Он вырвал шапку из рук мужика, насильно надвинул ему на голову, а затем то же самое проделал и с оробевшим Стасеком.

«Вот холера!» — подумал мужик, решительно не понимая демократических замашек панича.

— Вы что, в усадьбу идёте? — спросил охотник, закидывая ружьё на плечо.

— В усадьбу, панич.

— По какому-нибудь делу, к моему шурину?

Мужик снова хотел поклониться в ноги, но панич удержал его.

— А какое у вас дело?

— Хотел просить милости у пана, чтобы он сдал нам в аренду соседний лужок, что́ лежит между рекой и моим хуторком.

— Зачем он вам?

— Вчера мы с моей бабой сторговали корову, да боимся, что кормов для неё нехватит, вот и хотим просить милости...

— А много скота у вас на хуторе?

— Есть там — чтоб не прогневить господу — пять голов: стало быть, две лошади, три коровы да ещё пара свиней.

— А земли у вас много?

— Какое там много, панич! — еле-еле десять моргов, и то из года в год всё меньше родит, — вздохнул мужик.

— Потому что вы не умеете хозяйничать, — сказал панич. — Десять моргов земли — это огромное состояние! За границей на таком участке живёт с удобствами несколько семейств, а у нас и на одно нехватает. Что ж удивительного: ведь вы сеете одну рожь...

— А что сеять, панич, раз пшеница не родится?

— Овощи, приятель, вот настоящее дело! Под Варшавой огородники платят за аренду по несколько десятков рублей за морг и, несмотря на это, прекрасно живут.

Слимак грустно понурил голову, но на сердце у него кипело: слушая доводы панича, он пришёл к заключению, что в усадьбе ему либо вовсе не дадут луг в аренду, потому что он уже владеет десятью моргами, либо велят ему платить несколько десятков рублей за морг. Да и зачем стал бы панич рассказывать про все эти чудеса, если бы не хотел внушить ему, что у него и так уж чересчур много земли, а поэтому он должен дороже платить за аренду?

Они подошли к воротам.

— Я вижу, сестра в саду, — сказал панич, — вероятно, там же и шурин. Я пойду, попрошу его уладить ваше дело. До свиданья.

Мужик поклонился до земли, но одновременно подумал:

«Холера бы тебя взяла, и за что ты так на меня взъелся! Вчера к моей бабе пристал, малого взбудоражил, нынче мне как будто кланяться не велит, а сам этакие деньги хочет содрать за луг! Ох, чуялось мне, что не к добру я его встретил».

Из дома донеслись чарующие звуки органа.

— Тятенька, тятенька, играют!.. Где это играют? — закричал Стасек.

— Верно, пан играет.

И действительно, хозяин дома играл на американском органе. Мужики внимательно слушали непонятную для них прекрасную мелодию. У Стасека покраснелось лицо, и он весь дрожал от волнения, Епдрек присмирел, а Слика снял шапку и стал читать молитву, прося бога смилостивиться над ним и защитить от ненависти панича, которому он ей-ей ничего худого не сделал.

Орган умолк. Как раз в это время панич встретил в саду сестру и оживлённо начал ей что-то рассказывать.

— На меня наговаривает, — пробормотал мужик.

— Гляньте-ка, тятенька, — начал Ендрек, — пани-то очень на шмеля смахивает. Вся жёлтая, с чёрными крапинками, в поясе тонкая, а в боках толстая. А так ничего — красивая папи.

— Похуже всякого шмеля этот подлец на жёлтых ногах, хоть он и тонкий, как жердь, — ответил отец.

— А чем он плох, он мне денежку дал. Вот что дурак он — это пожалуй, но, как видно, он добрый пан.

— Ничего, отберут они ещё свою денежку.

Между тем панич, изложив сестре дело Слимака, стал её отчитывать.

— Меня поражают, — философствовал он, — черты рабства, которые я вижу в народе. Этот несчастный неспособен разговаривать, не сняв шапки с головы, к тому же он до того растерян и запуган, что мне просто жалко смотреть на него. Теперь он мне на весь день испортил настроение.

— Но чем же я виновата и что я должна делать? — спросила пани.

— Подойти к ним ближе, добиться, чтобы они не боялись тебя.

— Ты просто восхитителен, — ответила она, пожав плечами. — Прошлой осенью я устроила праздник для детей наших батраков именно для того, чтобы они не боялись меня. И что же? — На другой же день они переломали у меня все персики. Ближе к ним подойти?.. Я и это делала. Однажды я зашла в хату, где лежал больной ребёнок, и за один час я настолько пропиталась всякими запахами, что мне пришлось своё почти новое платье отдать горничной. Нет, благодарю за такое апостольство...

Оживлённо беседуя по-французски, они подошли к решётке, у которой стояли мужики.

— По крайней мере, для него ты должна что-нибудь сделать, — сказал панич, — он мне очень нравится.

Пани поднесла к глазам лорнетку.

— Ах, это Слимак! — воскликнула она, — *Limacón*¹... подумай, какая смешная фамилия!

¹ *Limacón* — по-французски: «улитка»; по-польски — *ślimak* (слимак) — значит то же самое.

— Почтеннейший, — обратилась она к мужику, — брат хочет, чтобы я для тебя что-нибудь сделала, я, конечно, очень рада. У тебя есть дочь?

— Нету, пани, — ответил мужик, целуя через решётку край её платья.

— Жаль. Я бы могла научить девочку плести кружева. Предварительно вымыв её, — прибавила она по-французски.

«А насчёт луга — ни словечка!» — подумал мужик.

— Это твои мальчики? — продолжала пани расспрашивать Слимака.

— Мои, дорогая пани.

— Так присылай их ко мне, я буду учить их грамоте.

— Разве есть у них время, пани? Старший всегда по хозяйству требуется...

— Тогда пришли младшего.

— Он и так уже ходит за свиньями...

Пани подняла глаза к небу.

— Вот и сделай для них что-нибудь! — сказала она брату по-французски.

«Ох, и страсти ж они затевают против нас!» — подумал мужик, сильно обеспокоенный беседой на незнакомом языке.

Из дома вышел помещик; заметив жену и шурина, он прибавил шагу и через минуту был уже возле них. Слимак опять принялся кланяться. У Стасека от волнения навернулись на глаза слёзы, и даже Ендрек в присутствии пана утратил свою обычную смелость. Между тем «вооружённый» демократ передал шурина просьбу мужика, горячо защищая его интересы.

— Да пускай его арендует луг! — воскликнул помещик. — По крайней мере, я избавлюсь от скандалов за потраву, к тому же это один из самых честных мужиков во всей деревне.

Весь этот разговор они вели по-французски, и у Слимака мурашки бегали по спине от стараний угадать, что же они замышляют против него. Он готов был вернуться ни с чем и поскорее убраться с глаз долой.

Выслушав доводы шурина, помещик обратился к мужику.

— Значит, ты хочешь, чтобы я дал тебе в аренду два морга луга у реки?

— Ежели милость ваша будет, — ответил мужик.

— И чтобы пан скинул нам рублика три, — быстро прибавил Ендрек.

— Что это значит? — спросил иан. — С чего именно скинуть три рубля?

Слимак машинально потянулся за ремнем, но, спохватившись, что в такую минуту нельзя выдрать Ендрека, впал в отчаяние и решился сказать всю правду.

— Да не слушайте вы, пан, этого прохвоста! — закричал он. — Дело было так: баба моя совсем меня заела, что я, дескать, не умею торговаться, и наказала мне, чтоб я выторговал рублика три за луг. А теперь этот щенок такое сделал, что мне впору провалиться со стыда!

— Да ведь маменька велели, чтобы я за вами смотрел и чтобы мы оба ноги у пана целовали. Тогда, может, он сколько-нибудь уступит.

Тут Слимак совсем лишился языка, а пани и оба её спутника так и покатались со смеху.

— Ну, вот, — снова по-французски обратился помещик к шурина, — вот он, твой мужик. Тебе он не позволит разговаривать с его женой, боясь, что ты её соблазнишь, и без неё шагу ступить не смеет. Предложи ему самое выгодное дело, он не решится на него без санкции жены и, пожалуй, не поймет без ее пояснений.

— Очень хорошо! Так и следует! — поддакнула пани, закрывая лицо батистовым платочком. — Они восхитительны, наши мужики. . . Если бы ты меня так же слушался, мы бы давно уже продали эту скучную деревню и укатили бы в Варшаву.

— Но, дорогой мой, он вовсе не так глуп, как ты думаешь.

— Нет, ты пойми: мужик состоит из желудка и мускулов, а от воли и разума он отрёкся в пользу жены. Слимак — один из самых смышлёных мужиков во всей деревне. Однако ты сию минуту мог убедиться в его глупости.

— Но. . .

— Никаких «по», дорогой мой мужикоман. Если угодно, я ещё раз могу тебе доказать, какие это олухи.

— Но, друг мой. . .

— Прости, пожалуйста, — прервал помещик, — через секунду ты сам увидишь, где его ум.

И он повернулся к Слимаку, который в величайшей тревоге ждал, чем кончится этот весёлый, но непонятный ему спор.

— Так как же, Юзеф? Значит, жена велела тебе взять у меня луг в аренду?

— Точно так.

— И велела хорошенько поторговаться?

— Именно. Что правда, то правда.

— Ты знаешь, сколько Лукасяк платит мне в год за морг луга?

— Говорил, будто десять рублей.

— Следовательно, ты должен будешь мне платить двадцать рублей за два морга.

Мужик на минуту задумался.

— Мы так надеялись, может, вы сделаете такую милость. . . — недоговорил он.

— И хоть рубля три вам скину? — подхватил помещик.

Слимак смутился и умолк.

— Хорошо, — сказал помещик, — я тебе уступлю три рубля, так что ты будешь платить всего семнадцать рублей в год. Ну что, доволен?

Мужик поклонился до земли, но не мог дотянуться до ног пана и обхватил решётку; однако лицо его, вместо удовольствия, выразило растерянность.

«Неспроста он не торгуется! — подумал Слимак. — Видно, этот шуринок тут что-то построил!..»

И прибавил вслух:

— Так уж будьте добры, примите от меня задаток. «Моя»-то дала мне аккурат десять рублей, а остальные велела занести завтра.

Он достал из-за пазухи платок, вынул из узелка десять рублей и протянул их помещику.

— Подожди, — прервал помещик, — деньги я возьму после, а пока хочу тебе кое-что предложить. Ты помнишь, за сколько в прошлом году купил у меня морг луга Гжиб?

— За восемьдесят рублей.

— И, кроме того, он оплатил нотариуса и землемера, не так ли?

— Святая истина.

— Ну, так слушай. Я продам тебе два морга луга, которые ты хочешь арендовать, по шестидесяти рублей, то есть на двадцать рублей дешевле, чем Гжибу. Мало того, ты не потратишь ни гроша на землемера и на нотариуса. Но, знаешь, с каким условием?

Мужик смиренно пожал плечами.

— С тем условием, чтобы ты решил это дело сам, сейчас же, не спрашиваясь жены. Итак слушай: ты платишь сто двадцать рублей за луг, ко-

торому цена больше ста шестидесяти, ты выгадаешь на этом чистых сорок рублей, но... решай немедленно. Завтра, даже сегодня вечером, после того как ты посоветуешься с женой, я уже не продам на этих условиях.

У Слимака заблестели глаза. Ему показалось, что наконец-то он проник в сущность заговора, направленного против него.

— Странный каприз бросать на ветер сорок рублей, — проговорила по-французски пани.

— Не беспокойся, — ответил муж. — Я ведь их знаю!..

— Ну, как? — повернулся он к Слимаку, — купишь луг, не советуясь с женой?

— Да не годится оно как-то, — отвечал мужик с деланой усмешкой. — Вы вот пан, а и то советуется с пани и с папичом, а я и подавно...

— Вот, видишь? — обратился к шурина помещик. — Ну, не идиот ли?

Панич через решётку похлопал Слимака по плечу.

— Ну, приятель, соглашайся скорее, и ты оставишь пана с носом... Он уже купил, — обратился он к шурина.

— Что, покупаешь, Юзеф? Значит, по рукам? — спросил помещик.

«Дурак я, что ли?» — подумал мужик, но вслух сказал только:

— Да не годится как-то без жены покупать...

— Может, подумаешь?

— Да не годится оно этак, — повторил мужик, довольный тем, что пан сам подсказал ему удобную отговорку.

Он притворился, будто очень огорчён, но упёрся на своём.

— В таком случае бери луг в аренду. Давай-ка задаток, а завтра приходи за квитанцией.

— Вот тебе и мужик, пан демократ! — обратился он к шурину, который между тем грыз свои ногти.

Слимак уплатил десять рублей, помещик простился с ним, и все трое ушли. Убедившись, что на него не смотрят, мужик окинул их горящим взглядом и в волнении зашептал:

— Эге! Хотели мужика надуть, что твои немцы! Но и мне тоже ума не занимать стать! Правильно, значит, говорил Гроховский, что в нынешнем году наверняка будут землю раздавать; то-то им и не терпится продать!.. Сто двадцать рублей за этакый луг, да ему цена не меньше как двести... Нашли дурака... Как придется отдавать землю задаром, так спасибо скажешь и за сто двадцать.

— А что-то здорово мудрят наши помещики, будь им неладно... — заметил Ендрек.

— Цыц! — напустился на него отец, но про себя подумал: «На что сопляк, а и то смекнул, что мудрят»...

Вдруг его поразила другая мысль:

— А может землю и не будут нынче раздавать, просто господам взбрела такая фантазия — продать мне луг по дешёвке?

Его бросило в жар. В эту минуту он готов был бежать за помещиком, броситься ему в ноги и умолять, чтобы тот отдал ему луг хотя бы и за сто тридцать. Но господа уже дошли чуть не до середины сада. Вдруг панич отделился от них и опять подбежал к мужику.

— Покупай луг, говорю тебе! — крикнул он, запыхавшись. — Шурин ещё согласится, только попроси его.

При виде ненавистного панича у Слимака снова вспыхнули прежние подозрения.

— Да не годится как-то покупать без жены, — ответил Слимак, усмехаясь.

— Болван! — буркнул панич и повернул к дому.

Луг был упущен.

— Чего ж нам стоять, тятя? — вдруг спросил Ендрек, заметив, что отец в раздумьи оперся на решётку.

— Вот не знаю, правильно ли, что я не купил луг за сто двадцать рублей, — пробормотал мужик.

— Чем же худо, ведь этот же луг останется у вас за семнадцать?

— Ну, так он не мой будет.

— Станут землю раздавать, он и будет ваш.

Эти слова несколько утешили Слимака. «Ну, — подумал он, — видно, правда это насчёт наделов, раз даже мальчишки про это болтают».

— Пошли, ребята, домой! — проговорил он вслух.

Обратно возвращались молча. Ендрек искоса поглядывал на отца и томился дурными предчувствиями, Слимака же терзала тревога.

— Экая собачья порода! — шептал мужик, сжимая кулаки, — никогда у них не поймёшь, врут они или правду говорят... Аккурат, как с евреями.

На половине пути проголодавшиеся мальчики убежали вперёд. Не успел Слимак войти в хату, как жена спросила его:

— Что это Ендрек болтает, будто тебе хотели продать луг за сто двадцать рублей?

— Хотеть-то хотели: будут землю опять раздавать, вот они и боятся, — слегка оробев, ответил мужик.

— Я сейчас сказала Ендреку: либо, говорю, брешешь, либо тут что-то нечисто. Кто ж станет

отдавать за сто двадцать рублей то, что стоит все двести?

Слимак разделся, сел за стол и за обедом стал рассказывать жене, что с ним произошло.

— Ух, и хитры же! Я и не пойму, как они прознали, что мы насчёт луга идём, только напустили вперёд на меня своего шурина.

— Это очкастого? что вчера приставал ко мне на реке? — ввернула Слимачиха.

— Его самого. Это он, холера, перебежал нам дорогу: Ендреку сунул денег, мне шапку нахлобучил на голову — всё это, чтобы глаза отвести, и тотчас же начал издалека: «на что тебе, дескать, луг? Да у тебя и так нивесть сколько земли. Да знаешь ли ты, что десять моргов — это большое богатство?»

— Ну, как же, богатство!.. — прервала Слимачиха, — у его шурина, небось, целая тысяча моргов, и то жалуется!

— Уж так-то, прохвост, меня морочил... А как увидел, что я сам не промах, повёл меня к самой пани. Тут она стала мне зубы заговаривать, чтоб я к ней ребят присылал учиться, а пан всё на органе разыгрывал.

— Что ж, он в органисты пойдёт, когда у него землю отнимут? — спросила хозяйка.

— Он у нас всё время играет; делать-то ему, видно, нечего, вот он и наигрывает. А потом, — продолжал мужик, — вышел пан, и сейчас же они начали лопотать по-французски, что, дескать, мужик (стало быть, я) страсть какой твёрдый, что подступиться к нему (стало быть, ко мне) нет возможности, и надо поскорей ему луг продать, покуда он не опомнился.

— А ты и понял, что они говорят?

— Чего тут не понять! Я и по-еврейски малость понимаю.

— И ты не стал луг покупать? Хорошо сделал: что-то тут нечисто, — заключила женщина.

Но мужика не радовала похвала жены: им снова овладели сомнения относительно намерений помещика.

«А вдруг они, в самом деле, хотели дёшево уступить мне луг?» — думал он. Бросив обед, он бродил из угла в угол по хате. Всё сильнее терзало его беспокойство, что, может, плохо он сделал, упустив такой случай, и он старался приободрить себя, бормоча:

— Меня не проведёшь!.. Уж я понимаю толк в таких делах!..

Наконец волнение Слимака достигло предела. Он сел на лавку, потом вскочил, схватился за голову и через мгновение снова не знал, куда деваться от мучившей его тревоги. Вдруг он взглянул на Ендрека, и у него блеснула счастливая мысль.

— Поди сюда, Ендрек, — сказал он, снимая с себя ремень.

— Ай, тятенька, не бейте! — завопил мальчишка, хотя ему уже довольно давно казалось, что порки ему не избежать.

— Всё равно, выдеру, — говорил Слимак, — за гордость твою, за то, что вчера насмеялся над паничом, да и сегодня ещё язык распустил перед паном... Ложись на лавку!..

— Ай, тятенька, не буду! — просил Ендрек.

Стасек обнял отца за ноги и плача целовал ему колени, в то время как Магда выскочила во двор за хозяйкой.

— Живо ложись на лавку, пока добром тебе говорю!.. — кричал Слимак. — Получишь, щенок, своё, не будешь водиться с этим прохвостом Ясеком... Сейчас ложись!..

Вдруг Слимачиха громко забарабанила в окно.

— Поди скорей, Юзек! — кричала она, — что-то приключилось с новой коровой. Так и катается по земле.

Слимак оставил сына и бегом бросился в коровник. Тут, однако, он увидел, что все коровы спокойно стоят и жуют.

— Видать, уже отпустило, — сказала женщина, — а ведь как каталась, вроде как ты вчера.

Слимак внимательно осмотрел корову, пощупал ей хребет и покачал головой. Он догадался, что жена нарочно подстроила этот фокус, чтобы отвлечь его от Ендрека. Мальчишка уже удрал из хаты, да и у отца прошел гнев, так что дело кончилось ничем.

V

Шел июль. Помещик с женой уехали за границу, в деревне давно о них забыли, и даже новая шерсть успела отрасти у остриженных овец.

Солнце припекало так, что тучи с неба убежали куда-то в леса, а земля защищалась от зноя чем могла: на дорогах пылью, в лугах отавой, в полях — обильным урожаем.

Для крестьян это было началом страдной поры. В усадьбе уже скосили клевер и репишник, возле хат хозяйки с девками-работницами окучивали свёклу и картофель, а старухи собирали проскурняк от пота, липовый цвет от горячки и богородицыну травку от колик. Ксёндз с викарием целыми днями выслеживали и ловили пчелиные рои, а шинкарь Йосель перегонял укус. В лесу с утра слышалось ауканье: то перекликались, собирая ягоды, ребяташки.

Между тем созрели хлеба, и на другой день после праздника богородицы Слимак приступил к жатве. Работа была недолгая — всего дня два

или три, — но мужик спешил, потому что боялся, как бы не вытекло переспевшее зерно, и потому что хотел поспеть к жатве на помещичьих землях.

Обычно работали втроем: Слимак, Овчаж и Ендрек. Они попеременно жали и вязали снопы. Хозяйка и Магда помогали им с утра и после обеда.

В первый день, около полудня, когда они жали внятером и уже добрались до вершины холма, Магда заметила на опушке леса каких-то людей и сказала об этом хозяйке. Все стали глядеть в ту сторону, обмениваясь замечаниями.

— Видать, мужики, — сказал Овчаж, — вишь, все белые.

— А одип-то с ними соломенный, — прибавила Слимачиха, — мужики так не ходят.

— И сапоги до колен, — вмешался Слимак.

— Гляньте-ка! — крикнул Ендрек, — в руках у них, видно, колышки, и верёвку за собой волокут!

— Землемеры, что ли? К чему бы это? — призадумался Слимак.

— Опять, верно, землю будут делить!.. — ответила Слимачиха. — Вот и хорошо, что луг не купили у пана.

Они снова принялись жать, но работа не спорилась: то и дело кто-нибудь украдкой поглядывал на опушку, где все отчётливей из-за леса виднелись люди. Это не были мужики, потому что одеты они были не в рубахи, подпоясанные кушаком, а в белые или желтоватые куртки и шляпы с чёрными лентами. Шли они с запада на восток и, видимо, измеряли поле.

Их появление до того заинтересовало Слика, что он не только не шёл впереди, как ему полагалось, а плёлся где-то сзади, рядом с Магдой. Наконец он крикнул:

— Ендрек, брось свой серп да слетай к ним;

чего они там в поле прохлаждаются. Пронюхай, что за люди и для чего они землю мерят: раздавать будут или другое что?

Мальчишка помчался во всю прыть.

— Да поосторожней там! — крикнула вдогонку мать, — а то как бы тебя не стукнули. . .

Ендрек мигом (не успеть бы три раза прочесть «Отче наш») догнал землемеров, пошёл рядом с ними, с минуту о чём-то поговорил, но и не думал возвращаться. Мало того: он взялся за колышки и мерную ленту.

— Видали! — дивилась Слимачиха, — да он совсем к ним пристал. Глянь-ка, Юзек, что он выделяет с верёвкой? . . Те, наверное, учились не одну зиму, а с ним, однако, никто не сравнивается. Наш паршивец только и видел букварь, что у еврея за стеклом, а так и скачет между ними, словно заяц. Ай да малый! . . Эх, жалость, не велела я ему сапоги обути: ещё подумают, будто он сирота, а не хозяйский сын.

Она подбоченилась и с гордостью смотрела на Ендрека, который, действительно, ловко переносил колышки и тянул мерную ленту от одной точки до другой.

Вскоре, однако, группа инженеров спустилась в низину и скрылась из виду.

— Что только из этого выйдет, — в раздумьи говорил Слимак, — к добру ли это или к худу?

— Что ж худого, если земли прибавят? — сказала Слимачиха. — А ты что думаешь, Матек?

Батрак, видно, не ожидал вопроса и оторопел, но, утерев со лба пот и подумав, ответил:

— Чего тут хорошего? Я помню, когда я служил у пана в Кжешове лет шесть тому назад, аккуратно такие прошлись с колышками по полю, а к осени у старосты оказался нехватка в кассе,

так пришлось всей волостью за него денежки отдавать. Дело новое, но всякому бывает, — заключил он.

Солнце уже клонилось к западу, когда прибежал Ендрек; запыхавшись, он крикнул матери, чтобы та скорей несла из погреба молоко для двух панов, которые идут следом за ним и дали ему два злотых — за то, что помогал им тянуть мерную ленту.

— Сейчас отдай матери! — крикнул Слимак. — Они не за то, что ты тянул шнур, заплатили два злотых, а за молоко, которое у нас выпьют.

Ендрек чуть не расплакался.

— Чего я буду отдавать, раз деньги мои? — кричал он. — За то, что съедят, они нам заплатят, да и за всё другое, что возьмут. Они спрашивали, есть ли у нас цыплята и масло...

— Да разве они торговцы, что справляются о масле и цыплятах? — спросил Слимак.

— Никакие не торговцы, а важные господа, ездят с палаткой и с поваром, — он им в поле еду варит.

— Цыганы, что ли? — буркнул Слимак.

Не дожидаясь конца разговора, хозяйка побежала в хату, и почти тотчас же подошли оба пана. Они вспотели, обожглись на солнце, покрылись пылью, но вид у них был настолько внушительный, что Слимак и Овчаж сразу, как по команде, сняли шапки.

Поздоровавшись с ними, старший из панов, с длинной чёрной бородой, спросил:

— Кто у вас хозяин?

— Я, — сказал Слимак.

— Давно ты тут живёшь?

— Сызмальства.

— Ты видал, как разливается эта река?

— Сколько раз!..

— А не помнишь, до какой высоты поднимается вода?

— Иной раз так разольётся по лугам, что мужику впору утонуть.

— Это ты наверное знаешь?

— Все это знают, да и ямы эти в горе тоже водой размыло.

— Придётся ставить мост в десять сажений, — сказал младший пан.

— Очевидно, — ответил старший.

Он ещё раз поглядел на луг и снова обратился к Слимаку.

— А молока мы у вас достанем?

— Жена уже полезла в подполье, милости просим.

Инженеры направились к хате, а следом за ними Слимак, Овчаж и даже Магда. Поглощение молока столь важными гостями было таким событием в доме Слимака, что ради этого стоило оторваться от работы.

Не меньший сюрприз был заготовлен во дворе. Слимачиха с Ендрекком вынесли из хаты стулья со спинками и вишнёвый стол, покрыли его скатертью, разложили жестяные ложки, поставили тарелки, кусок масла, каравай ситного хлеба и непочатый круг сыра с тмином. На пороге хаты стояла наготове кринка простокваши, а в стороне, в нескольких шагах от стола, три куры с целым выводком цыплят, кудахтая и толкаясь, клевали крупу.

Гости в изумлении переглянулись.

— Ну-ну, — шепнул старший, — такого приёма нам не оказал бы и шляхтич.

Они сели за стол, съели полкринки простокваши, похвалили масло и сыр; наконец, старший спросил Слимачиху, сколько с них следует.

— Кушайте на здоровье, — ответила хозяйка.

Они ещё больше удивились.

— Не можем же мы даром вас объедать, сказал старший.

— Мы за угощение денег не берём. Да и малец мой у вас заработал, как за целый день жатвы.

— Ну, что? — спросил младший старшего. — Вот они польские крестьяне!..

Оба они казались очень довольными, а старший снова обратился к Слимаку:

— За такой приём мы вам тут поблизости выстроим станцию.

Слимак поклонился.

— Благодарим покорно, только невдомёк мне, к чему это всё и что вы у нас хотите делать?

— Проведём вам железнодорожную линию.

— Железную дорогу, — повторил младший.

Слимак покачал головой.

— Кто же у нас поедет по такой?.. Самая здоровая лошадь, пожалуй, обдерёт на ней копыта.

— Но везти будут не лошади, а локомотив.

Мужик почесал затылок.

— О чём ты раздумываешь? — спросил его старший.

— Ох, не к добру такая дорога, — сказал мужик, — теперь, видно, с тележкой-то ничего не работаешь.

Гости засмеялись, а старший снова заговорил:

— Не беспокойся, голубчик, эта дорога — счастье для вас и, особенно, для тебя, поскольку ты живёшь ближе других к станции. Будешь возить товары и приезжающих, сможешь продавать масло, яйца, кур, капусту, словом — всё, что у тебя уродится. А мы хорошо платим... Вот не продашь ли нам на пробу этих цыплят? Сколько их здесь?

Двадцать два, — откликнулась Слимачиха.

Почём вы хотите?

Сколько пану не жалко.

Отдайте по два злотых?

Слимачиха незаметно переглянулась с мужем. До сих пор им платили не больше злотого за цыплёнка.

— Берите, — коротко сказала она.

— А мошенник-еврей продаёт нам по полтиннику, — заметил младший.

— Ну, а свежего масла у вас много? — спросил Слимачиху старший.

— Кварта другая найдётся.

— Почём?

— Сколько дадите.

— По пять злотых за кварту отдашь?

Хозяйка только поклонилась. Еврей платил ей по полтиннику.

Затем гости заказали ещё несколько сыров, полторы сотни раков, полсотни огурцов, несколько караваев ситного хлеба и велели всё это доставить на опушку леса, где стояли две палатки. Младший всё удивлялся дешевизне, а старший хвастался, что он всегда очень удачно покупает. Перед уходом, отдавая хозяйке шестнадцать рублей бумажками и полтинник серебром, он спросил:

— Что, не обидно вам будет?

— Какая там обида! — ответила Слимачиха. — Каждый день бы так продавать...

— И будете продавать, как только построим дорогу.

— Помоги вам господь и святая богородица! — благословила их баба.

Овчаж молча кланялся до земли, а Слимак с шапкой в руке проводил их до самых оврагов.

Вернувшись домой, он с лихорадочной поспешностью стал отдавать приказания:

— Ягна, собирай-ка масло; ты, Магда, нарви огурцов — полсотни и еще десяток, да выбирай какие получше; Матек, возьми мешок и сбегай с Ендреком на реку за раками. . . Господи Иисусе Христе, сроду не удавалось ещё столько наторговать. . . В воскресенье надо бы купить тебе фуляру, да по такому случаю и Ендреку новую жилетку! . .

— Ну, пришло теперь счастье и в наш дом, — говорила не менее его взволнованная баба. — А фуляр непременно надо купить, иначе в деревне никто не поверит, что мы заработали этакую уйму денег.

— Вот только не очень мне правится, что по новой дороге возы будут ездить без лошадей, — прибавил Слимак. — Ну, да чего там! . . Не моя печаль.

К вечеру он отвёз инженерам закупленные припасы и получил новые заказы от остальных панов, которые вместе с ними прокладывали путь и прозвали Слимака главным поставщиком. Скучная продукты в окрестных деревнях, он продавал им домашнюю птицу, молочные продукты, хлеб и овощи по цене, которую они сами назначали, и зарабатывал грош за грош. Мужик не мог надивиться щедрости новых знакомых, а они — дешевизне продуктов.

Через неделю отряд инженеров перебрался дальше, а Слимак, подсчитав с женой барыши, увидел, что рублей двадцать пять ему точно с неба свалилось, и это не считая того, что он заработал на перевозках, и возмещений за потерянные дни.

«Уж не ошиблись ли они? . . Или я им чего не отвёз? . .» — думал мужик, и ему делалось со-
вестно за свои барыши. . .

— А что, Ягна, — сказал он как-то жене, — может, съездить мне к панам и отдать эти деньги?

— Экий дурень! — крикнула баба, — да так все торговцы зарабатывают. Ты же им одолжение делал, отдавая товар по два злотых, еврею они платили бы по полтиннику. . .

— Сам я у людей покупал по золотому.

— А еврей почём покупает?

— У еврея земли нет, да и что с него взять, известное дело, нехристь.

— Зато он зарабатывает по два злотых с лишком на каждом курёнке, а ты всего по золотому. Да и этот злотый не заработок вовсе, просто паны подарили тебе за беспокойство.

Эти слова «за беспокойство» сразу утешили мужика. Ясное дело: он беспокоился, а там уж господская воля: дарят, сколько им вздумается. Варшавские господа, видно, все так платят за беспокойство; ведь и этот, помещиков шурин, за то, что Ендрек поднял его шапку, отвалил ему сорок грóшей серебром.

Когда хозяева занялись поставками для инженеров, жатва легла целиком на Матека Овчажа. То, что прежде делалось втроём, а то и впятером, теперь приходилось выполнять ему одному. Он забирался на холмы ещё до рассвета, спускался с них поздней ночью, жал, вязал снопы, складывал их в скирды, а сам всё раздумывал: «Какая же она, эта железная дорога, по которой ездят без коней?»

Но как ни старался батрак, работа затянулась дольше обыкновенного, и Сликама нанял в помощь ему старуху Собесскую. Бабка пришла к шести с пузырьком лекарства для раны на ноге и до полудня жала за двоих, грубым голосом

распевая песни, от которых даже Матеку становилось не по себе. Зато после обеда, когда бабка приняла своё лекарство, которое сильно отдавало водкой, её так разобрало, что у неё серп вывалился из рук.

— Эй, хозяин, — орала она, — раз ты хозяин, так ты и выколачивай деньгу, а ты, батрак, знай себе жни. Ты, хозяин, жене фуляров покупай, а ты, батрак, ползай по полю на четвереньках да собственным носом подпирайся...

Пан деньги загребает,
Слуга пот отирает.

— Жни, Матек... Жни, старая Собесская... А я — руки в боки — и пошёл прохладиться с инженерами, баламутить всю деревню да денежки прятать в сундук!.. Вот увидите ещё, что он заделается у нас паном Слимачинским... Везёт прохвосту; видно, чорт уродил его от паршивой суки... Живым и усопшим... аминь...

Едва пролепетав последние слова, Собесская повалилась на борозду и очнулась, когда солнце уже садилось. Однако заплатили ей как за целый день жатвы, опасаясь острого языка болящей, а когда Слимачинский хотел было вычесть у неё за то время, что она проспала, старуха сказала, целуя ему руку:

— Чего уж там спорить, пан хозяин?.. Продадите одним цыплёнком больше, — и у вас всё сравняется, и меня не обидите...

«Таким-то всегда легче живётся, кто за словом в карман не лезет» — подумал Овчаж.

Но когда в воскресенье семейство Слимачинского всем домом собиралось в костёл, он сел на завалинку и стал тяжело вздыхать.

— А ты, Матек, не пойдёшь в костёл? — спросил Сликама, заметив, что батрак пригорюнился.

— Куда мне в костёл! — вздохнул Овчак, — только вас срамить...

— Чего ж тебе нехватает?

— Хватать-то хватает, да только обувь у меня такая, что, чуть шаг шагнёшь, — нога вперёд уходит, а сапог, будь ему неладно, на дороге остаётся.

— Сам виноват, — сказал Сликама. — Чего молчишь, раз тебе следует жалованье. Сейчас тебе выдам шесть рублей.

Через минуту он вынес из хаты деньги, и Овчак обнял его ноги.

— Куни себе сапоги, — сказал Сликама, — да смотри, в корчму не заходи: сердце у тебя мягкое, ты всё и пропьёшь.

Наконец все отправились в костёл: впереди Сликама с женой, затем Магда с мальчиками и позади всех — Овчак. Он шёл и мечтал, как выстроят дорогу из железа и как Сликама станет шляхтичем, а он, Овчак, будет у него служить на своих харчах и женится...

Вдруг он стал креститься, чтобы отогнать нечистого, который, видно, перебежал ему дорогу и, искушая его, нашёптывал бог весть какие глупости. Ну, куда такому убогому, как он, думать о жене! Зоська даже за него не пойдёт, хоть она и дурочка да ещё с двухлетним ребёнком.

Это воскресенье было памятно для обоих Сликамов. Жена купила себе фуляру в ларьке, раздавала нищим по четыре грбша милостыни, а в костёле расселась на скамье перед самым алтарём, и Гжибиха с Лукасячихой ей тотчас же уступили место. С Сликамом то и дело кто-нибудь заговаривал. Арендатор пожурил его за то,

что он сбивает цену евреям и чересчур дёшево продаёт; органист напомнил, что не мешало бы заказать панихиду по усопшим, местный стражник поздоровался с ним, и даже ксёндз вступил с ним в разговор, убеждая Слимака разводить пчёл.

— Теперь, сын мой, — говорил ксёндз, — когда у тебя имеются свободные деньги и время, ты мог бы наведаться ко мне в приходский дом и посмотреть, как выхаживают пчёл. Потом купишь несколько ульев, и будет у тебя мёд для себя или на продажу и воск для костёла. Ибо и при большом достатке, сын мой, не мешает помнить о боге и разводить пчёл.

Не успел от Слимака отойти ксёндз, как подошёл к нему Гжиб. У старика злобно горели глаза, он заговорил с нехорошей улыбкой.

— Что, Слимак, вы, верно, поставите угощение для всей деревни при такой-то удаче в делах?

— Вы меня не угощали, когда свои дела делали, так и мне вас незачем угощать, — жестко ответил Слимак.

— Я на коровах столько не зарабатывал, сколько вы на курах.

— Зато вы на людях ещё больше зарабатываете.

— Правильно сказано, — поддержал Слимака Вишне夫斯基 и тотчас начал его обхаживать, прося одолжить сто злотых до нового года.

Получив отказ, он, затёршись в толпу мужиков, собравшихся у костёла, стал обвинять Слимака в гордости.

— Ишь, какой важный пан; скоро, пожалуй, говорить не захочет с мужиками...

— В усадьбу звали его жать, не пошёл, — ввернул приказчик.

— А уж баба его — так и развалилась на первой скамье перед алтарём, — прибавил Войтасюк.

— Деньги всегда голову кружат, — заключил Ожеховский, и мужики вошли в костёл.

Деньги, полученные на сапоги, не принесли счастья Овчажу. Когда смиренно, как всегда, он стал на паперти, чтобы не мозолить глаза господу богу своим потёртым зипуном, на него с криком набросились нищие, упрекая его, что он никогда не подаёт бедным. Он пошёл в корчму разменять три рубля; тут к нему привязался шинкарь:

— Как, пан Матей, насчёт моих денежек?

— Каких денежек?

— Уже позабыли?.. А с самого рождества вы мне остались должны семь злотых.

— Слыхали!.. — возмутился Овчаж. — Спросите по всей деревне, всякий скажет, что вы мне сроду не верили в долг, если же я выпью когда, то плачу наличными.

— Это правда, — ответил шинкарь. — Но когда ты на рождество напился пьяный, ты так меня обнимал, так целовал, что мне пришлось дать тебе в кредит водки, пива, араку¹ да ещё и баранок.

— А свидетели у тебя есть? — раздражённо спросил Овчаж. — Честное слово, ты смошенничать хочешь.

Шинкарь с минуту подумал.

— Свидетелей у меня нет, — сказал он. — Поэтому я тебе до сих пор и не напоминал о деньгах. А ты можешь поклясться перед людьми, что ты не целовал меня и не просил дать тебе в долг? Ну, что, можешь? Ладно, я тебе подарю мои семь злотых... Тьфу, — сплюнул шинкарь, —

¹ А р а к — ром,

стыд и срам, чтобы батрак порядочного хозяина обманывал бедного еврея... Я вам прощаю, Овчаж, этот долг, но чтобы с этого времени ноги вашей не было у меня в корчме, потому что мне за вас стыдно.

Батрак стал колебаться. А может, и в самом деле он должен ему семь злотых?

— Ну, раз вы так говорите, я отдам. Но помните, бог вас накажет за мою обиду.

В душе, однако, он сомневался, чтобы господь бог из-за такого, как он, бедняка стал наказывать такую важную особу, как шинкарь.

Овчаж расстроился и совсем собрался было уходить, когда в корчму вошло несколько косцов-галичан. Усевшись за стол, они стали толковать о больших заработках, которые ожидалось на постройке железной дороги.

Матек придвинулся к столу, увидев таких же, как он оборванцев, и осмелел:

— Может ли это быть, чтобы на свете бывали железные дороги? Да ведь всего железа изо всех лавок нехватит на такое дело. У самой казны и то, пожалуй, столько не наберётся...

Косцы его высмеяли. Но один из них, рослый парень в военной фуражке, вступился за него:

— Чего ж тут смешного, если человек ничего не знает про железную дорогу? Садись, брат, сюда, я тебе всё расскажу по порядку, а ты поставь нам бутылку горелки.

Не успел ещё Матек решиться, как водка стояла на столе. Подал её шинкарь со словами:

— Почему же ему не поставить водки? Он уже поставил... Он мужик хороший...

Что произошло потом, Овчаж не помнил... Кто-то рассказывал, как быстро ездят люфтвашинами, другой кричал, что Матек должен купить себе сапоги, а не пропивать деньги. А по-

том ещё кто-то подхватил его за руки и за ноги и вынес из шинка в конюшню. Но кто? — Овчаж не знал. Одно было несомненно, что домой он вернулся поздно, без гроша в кармане.

Хозяйка смотреть на него не захотела, а Слимак проговорил, качая головой:

— Эх, ты! Нет, никогда тебе капитала не найти, потому что в тебе чорт сидит и подзуживает якшаться с кем попало.

Таким образом, Овчаж не купил себе новых сапог, зато несколько недель спустя получил прибыль, о которой никогда и не мечтал.

Был ненастный сентябрьский вечер. День угасал; с наступлением сумерек небо покрылось новыми слоями разодранных в клочья туч, которые нависали всё ниже и становились всё мрачней. Леса, холмы, деревню, даже забор вокруг дома постепенно окутала срая мокрая пелена, из которой сыпал частый, мелкий — пронизывающий дождь. Им были напитаны поля, размякшие, как сырое тесто; дорога, по которой он стекал грязно-жёлтыми ручейками; хозяйский двор, где дождь разлился большими тёмными лужами. Он увлажнил крыши и стены хат, шерсть животных, одежду и даже души людей.

В хате Слимака подумывали об ужине: все были как-то не в духе. Хозяин зевал, хозяйка сердилась, мальчикам хотелось спать, и даже Магда суетилась сегодня ленивее обыкновенного. Все поглядывали то на печку, где потихоньку доваривалась картошка, то на дверь, откуда должен был войти Овчаж, то на окно, за которым слышался шорох дождевых капель, падавших и с верхних, и с нижних туч, и с тех туч, что стлались совсем над землей, со всех строе-ний, со всех увядающих листьев, с чердака, со стен, со стёкол. Время от времени эти отдель-

ные шорохи сливались в один звук, и тогда казалось, будто кто-то идет.

Вдруг скрипнула дверь в сенях.

— Матек, — пробормотал хозяин.

Но Матек не было. Зато послышался шум, словно кто-то шарил рукой по стене и не мог попасть в хату.

— Слеп он, что ли? — проворчала хозяйка и нетерпеливым движением отворила дверь.

В сенях кто-то стоял, но не Матек, а кто-то небольшой, плотный, завёрнутый в промокший платок. Хозяйка попятилась назад, в сени упал отблеск огня, и из-под платка показалось чье-то лицо медного оттенка, точно прокопчённое, с коротким расплывшимся носом и косыми глазами, которые едва виднелись из-под набухших век.

— Слава Иисусу Христу, — проговорил из-под рядины какой-то хриплый голос.

— Это ты, Зоська? — с удивлением спросила хозяйка.

— Да, я.

— Ну, входи скорей, а то холоду напустишь в хату.

Странная гостья вошла и молча остановилась на пороге. Теперь можно было разглядеть на руках у неё ребёнка, белого, как кость, с посиневшим ротиком; сквозь рядину просунулась его ручка, тонкая, как прут.

— Куда ты собралась в такую пору? — спросил Слимак.

— Работы иду искать, — ответила женщина.

Она оглянулась по сторонам, словно искала, где присесть, но, не найдя места, отошла к дверям и села на корточки у порога, прислонившись к стене.

— В деревне болтают, — заговорила она хриплым, беззвучным голосом, — что у вас те-

перь деньги завелись. Я подумала, может, вам потребуется работница, вот и пришла...

— Не надо нам работницы, — сказала хозяйка. — Живёт у нас Магда, и той делать нечего.

— Ты что же натворила, что без места осталась? — спросил Слимак.

— Летом ходила жать, а теперь никто не хочет меня брать с ребёнком. Одну скорей бы взяли.

В эту минуту вошёл Матек и вздрогнул от изумления, увидев Зоську.

— Ты как сюда попала?.. — спросил он.

— Работы ищу. Говорят, Слимак стал богач, я и зашла; думала, может, возьмут меня в работницы. Да с ребёнком и Слимак не берет.

— Господи, помилуй, господи, помилуй... — прошептал батрак при виде такой нищеты, ещё более горькой, чем его собственная.

— Ты что-то уж очень причитаешь над ней, видно совесть тебя грызёт? — язвительно проговорила хозяйка.

— Всякому больно смотреть на такую нужду, — пробормотал Слимак.

— А уж особенно тому, кто в этом виноват, — снова ввернула Слимачиха.

— Я не виноват, — ответил Матек, пожимая плечами. — А всё-таки жаль мне её и ребёнка.

— Так и бери её, раз тебе жалко, — сердито сказала хозяйка. — Право, Зоська, ты бы отдала ребёнка Овчажу?.. Кто там у тебя: мальчик или девочка?

— Девочка, — прошептала Зоська, глядя на Овчажа, — ей уже два года.

И прибавила:

— Если хочешь, возьми её себе...

— Куда мне её? — ответил батрак. — Оно, конечно, жалко.

— Если хочешь, бери... Бери, бери её, если хочешь... Слимак теперь богач, и ты богач...

— Он-то у нас богач. По шести рублей в одно воскресенье пропивает, — насмеялась Слимачиха.

— Если правда, что ты богатый и по шести рублей в одно воскресенье пропиваешь, так бери её, — говорила Зоська всё настойчивее.

Она развернула рядину, взяла ребёнка и положила его на мокрый земляной пол.

— Глупые это шутки, Ягна, — буркнул Слимак жене.

Зоська вытянулась и вскочила на ноги.

— Вот мне и легко, хоть один разок в жизни... — возбуждённо проговорила она. Глаза её дико горели. — Сколько раз думала я: ох, не вытерплю, брошу её где-нибудь на дороге, а то и в воду... Ты, если хочешь, бери её... Возьми, возьми, только смотри береги, если я вернусь да не найду её, то все зенки тебе выцарапаю...

— Что ты болтаешь, взбесилась ты, что ли?.. — вразумлял ее Слимак. — Перекрестись!..

— Пускай тот крестится, кто идёт на смерть, а я пойду работать... Болтали, будто вы разбогатели теперь... Я думала, может, потребуется вам работница, вот и зашла... Если же нет, так и не надо, пойду дальше...

— Чего с дурой толковать!.. Пора уже за стол, ужинать, — прикрикнула хозяйка и всердцах схватила горшок с огня.

От резкого движения головешки рассыпались по всей печке, а одна упала на пол, прямо к босым ногам Зоськи.

— Горит!.. Горит!.. Горит!.. —закричала Зоська, отскакивая к дверям. — Всё сгорит, хата сгорит, и овин сгорит... Только Зоська убежит, в одной рубахе убежит и... в одной рубахе так и будет ходить до самой смерти...

Как пьяная, она бросилась к дверям, шатаясь, выбежала в сени, из сеней во двор, всё повторяя: «Горит!.. горит!..» Крик её послышался за окном, потом в палисаднике, потом на дороге. Наконец он затих, заглушённый шумом дождя. В хате на полу остался ребёнок, худой и странно тихий.

— Держите её! — в бешенстве крикнула Слимачиха. — Беги, Матек!..

Но Матек не двинулся с места.

— Что ты болтаешь? Кто же станет ловить помешанную среди ночи? Разве для того, чтоб чорт башку оторвал?

— Она нарочно прикидывается помешанной, а сама нам дитё подбросила, — ворчала хозяйка.

— Чего тут прикидываться? Сама, небось, помнишь, когда она у нас жила, всякий раз, как бывало новолуние, она в уме повреждалась. А теперь и вовсе шальная стала, как погорели они у Скжица.

— Она и подожгла.

Слимак махнул рукой.

— Кто это видел? На убогих-то всё валят, а лихие люди этим пользуются.

— А что ты будешь делать с этой найдёнкой? — вспыхнула хозяйка. — Может, думаешь, я её буду няньчить, мыть да кормить?

— Ну вот, не за ворота ж её выбросить? Да ты не бойся, придёт за ней Зоська — не нынче, так завтра.

— А не придёт, ты эту найдёнку в волость свезёшь. Не хочу я ни одной ночи держать у себя в доме такого ребёнка, — выходила из себя хозяйка.

— Куда ж ты её денешь? — вскипел Слимак.

— Я её возьму к себе, на конюшню, — тихо проговорил Овчаж.

Он подошёл к порогу, неловко поднял ребёнка с пола и, усевшись в угол на лавку, стал её кутать и укачивать. В хате вдруг сделалось тихо; потом из неосвещённой половины вынырнула Магда, за ней Ендрек и Стасек; они окружили Овчажа, разглядывая маленькую.

— А уж и высохла она, как щепка, — прошептала Магда.

— И пе шевелится, только всё смотрит, — прибавил Ендрек.

— Придётся вам, Матек, кормить её с тряпочки, — снова сказала Магда. — Я найду вам чистенькую.

— Садитесь ужинать, — позвала хозяйка, но уже не так сердито.

Сначала она издали взглянула на ребёнка, потом склонилась над ним и, наконец, коснулась пальцами его жёлтого, сморщенного личика.

— Сука, а не мать! — пробормотала она. — Магда, — прибавила она громче, — налей-ка молока в чашку да покорми найдёнку, а ты, Матек, садись ужинать.

— Пускай Магда вперёд поест, а я сам накормлю сиротку, — сказал батрак.

— Ну как же, он накормит!.. Да он и держать её толком не умеет! — возмутилась девушка и хотела отобрать у него ребёнка.

— Не тронь! — проворчал Овчаж.

— Отдайте её!.. — кричала Магда.

— Ну, оставь, не тормози её, Магда, — сказала хозяйка. — Налей молока да скрути чистую тряпочку, и пускай Матек кормит, раз ему охота.

Через минуту Матек уже держал в руках тряпочку, свёрнутую жгутом, и кормил из неё ребёнка, к неудовольствию Магды, которая, вместо того чтобы ужинать, поминутно делала замечания:

— Нет, гляньтс-ка, всё лицо ей вымазал!.. А на пол-то как проливает... Чего вы ей в нос-то суёте тряпку?.. Ещё задохнется девочка!..

Батрак чувствовал, что он плохая нянька, но ребёнка из рук не выпускал. Он наспех проглотил немного затирухи; не кончив еды, он отставил миску, укрыл сиротку зипуном и поскорей улизнул к себе в конюшню.

Когда он вошёл туда, одна лошадь заржала, а другая впотьмах повернула голову и стала обнюхивать ребёнка.

— Так, так, поздоровайся! — сказал Овчак. — Видишь, новый конюх к нам поступил, только кнута ещё в руке не удержит. Ха-ха!

На дворе всё ещё лил дождь. Двери конюшни затворились, и всё затихло. Когда через некоторое время из хаты вышел Слимак посмотреть, не прояснилось ли, ему послышалось, что Матек уже храпит в конюшне.

— Спят, как видно, — пробормотал хозяин.

Он поглядел на небо и вернулся в сени.

— Как, тепло там найдёнке? — спросила мужа хозяйка.

— Спят уже, — ответил мужик.

Загремел засов, в печке догорал чуть тлевший огонёк, который, накрбнец, погас. Было поздно. Петухи пропели полночь, в ответ им пролаяла собака и запряталась от дождя под телегу; в хате все уснули.

Весной должны были приступить к постройке дороги, слухи об этом вызвали волнение в деревне. В зимние вечера за пряжей вместо сказок рассказывали о каких-то неизвестных людях, скупавших у крестьян землю; или о бедном мужике, который продал песчаный холмик, а купил за него десять моргов самой лучшей земли; наконец, об евреях, которые снова понаехали в местечко, в корчму и к арендатору.

В декабре вернулся помещик с женой, и тотчас распространился слух, что имение будут продавать. Правда, сам пан попрежнему играл на органе и только улыбался, когда дворовые робко его спрашивали, верно ли, что он расстается со своей вотчиной? Но пани каждый вечер рассказывала горничной, как им весело будет в Варшаве, куда они переезжают. Час спустя горничная шопотом пересказывала эти новости писарю, который собирался на ней жениться; писарь на другое утро передавал их по секрету управляющему и приказчику, а в полдень их повторяли уже везде — на кухне, в клетях, в корозниках, в конюшнях и в овчарнях, разумеется, под строжайшим секретом.

Наконец к вечеру весть доходила до корчмы, а из корчмы разносилась по хатам.

Слимак, часто работавший в усадьбе, тоже слышал эти разговоры и видел их последствия. Видел и удивлялся могуществу такого слова, как «продажа».

Поистине, оно делало чудеса. Из-за него батраки пренебрегали работой, из-за него с нового года уволился управляющий. Из-за него отошала безропотная рабочая скотина, из-за него из овинов исчезали снопы, а из амбаров зерно. Слово

это пожирало запасные колёса и сбрую, вырывало замки и скобы у дверей, выламывало доски из заборов и колья из плетней. Оно же каждый вечер гнало дворню в корчму, а чуть ночь потемней — из-за него неведомо куда пропадали то гусь, то индейка, то поросёнок, то овца.

Всемогущее слово. Оно прозвучало по всему имению, по деревне и по местечку, откуда каждый день купцы приносили счета. Его можно было прочесть на лицах обитателей усадьбы, в печальных глазах отощавшей скотины, на всех дверях, во всех выбитых окнах, заклеенных бумагой. Не слышали его только двое: пан, всё время игравший на органе, и пани, мечтавшая об отъезде в Варшаву. Если же кто-нибудь из соседей спрашивал, правда ли, что имение продаётся, он только улыбался и пожимал плечами, а она отвечала со вздохом:

— Мы бы хотели продать, в деревне такая скука. Но что же делать, если муж не находит покупателя!..

Слимак, которому иногда случалось встречаться с помещиком, зорко к нему присматривался и не верил в продажу.

«Какой он там ни на есть, — думал о нём мужик, — а ведь загоревал бы он от такой-то беды. Все они тут живут испокон веков: и родились тут и выросли, все их деды и прадеды похоронены на здешнем погосте. Камень, не то что человек, и тот бы слезами изошёл, если б кто столкнул его с насиженного места. Да и с чего бы ему продавать? банкрот он, что ли. Деньги у него есть, это все знают».

Так думал мужик, потому что мерил пана на свой аршин, и не мог понять, что такое молодая жена, скучающая в деревне.

А в то время как он думал свою думу, обманутой спокойным лицом помещика, в корчме, под руководством шинкаря Иоселя, между мужиками побогаче происходило важное совещание.

Однажды утром, в середине января, в хату к Слимакам влетела старуха Собесская. Зимнее солнце ещё не успело осмотреться кругом, а у бабки уже огнём горели щёки и налились кровью глаза. Она прибежала в старом, как и сама она, тулупе и в рубахе, разорванной на иссохшей груди.

— Ну, ставьте-ка водку, — закричала она, споткнувшись, о порог, — а уж я вам кой-чего расскажу.

Слимак собирался молотить, но после такого вступления сел у печки и велел подать старухе водки, зная, что бабка не бросает слов на ветер.

Она выпила большую чарку, топнула ногой и крикнула: «у-ха!..» Потом вытерла рот и начала рассказывать:

— Слыхали, что пан продаёт имение: леса, поля — всё? Может, только оставит себе дом да сад...

Слимаку на ум пришёл его луг, и он весь похолодел. Но он коротко ответил:

— Басни!

— Басни?.. — повторила старуха, стараясь подавить икоту. — А я вам скажу, что не басни это, а истинная правда. И ещё вам скажу, что нынче мужики, наши главные богатеи, сговариваются с Иоселем и с Гжибом купить всю деревню у помещика... Как есть всю деревню, провались я на этом месте!..

— Как же это они сговариваются без нас? — сердито спросила Слимачиха.

— А вас они не хотят принимать. Говорят, что и так вы будете у самой дороги и будто вы уже успели на ней подработать и обидеть других. . .

Старуха выпила ещё чарку и хотела продолжать, но водка ударила ей в голову. Она только крикнула: «у-ха!» и потащила было Сликама плясать, но силы её покинули. Как подкошенный стебель, она повисла на руке мужика; тот вынес её в сени и уложил в углу, на подстилке, но бабку до того разморило, что она сразу же захрапела.

Следующие полдня Слимак потихоньку совещался с женой, что делать в подобном случае. К вечеру мужик надел новый овчинный тулуп и отправился в корчму на разведки.

Пока он шёл, на дворе стемнело, и в корчме зажгли огонь. Отворив двери, он увидел за столом Гжиба и Лукасяка. При свете сальной свечи мужики в тяжёлой зимней одежде напоминали огромные камни, какие дремлют подчас в полях, охраняя межи. За стойкой сидел Иосель в грязной полосатой фуфайке. У него всё было острое: нос, борода, пейсы, самые локти и даже во взгляде было что-то колючее.

— Слава Иисусу Христу! — поздоровался Слимак.

— Вовек, — небрежно ответил Иосель.

Гжиб и Лукасяк только кивнули головой и продолжали разговаривать, широко раздвинув на столе локти.

— Что нынче пьют хозяева? — спросил Слимак.

— Чай, — ответил шинкарь.

— Дайте-ка и мне. Да чёрного, как смола, и побольше араку.

— Вы пришли чай пить? — насмешливо спросил Йосель.

— Не за чаем пришёл, а разузнать...

— О том, что вам наговорила Собесская, — проворчал шинкарь.

Слимак уселся подле Гжиба и повернулся к нему:

— Вы что, имение надумали покупать у пана?

Мужики взглянули на Йоселя, он усмехнулся. Помолчав, ответил Лукасяк:

— Э... так, толкуем от нечего делать!.. Да и у кого в деревне наберёшь денег для такого дела?

— Вы двое могли бы купить, — заметил Слимак, — вы да Гжиб.

— Может, и могли бы, — подхватил Гжиб, — да для себя и для своих деревенских.

— Ну, а я что же? — спросил Слимак.

— Вы нас не звали в свои дела, так и не суйтесь в наши.

— Не ваше, это дело, а общее.

— Именно, моё! — горячился Гжиб.

— Такое же, как и моё.

— Именно, не такое... — упёрся старик, стуча кулаком. — Не понравится мне кто, ну, и не допущу покупать, баста!..

Шинкарь усмехнулся.

Лукасяк, заметив, что Слимак бледнеет от бешенства, взял Гжиба за руку.

— Пошли, кум, домой, — сказал он. — Чего ругаться, когда дело-то ещё неверное? Пошли, кум.

Гжиб взглянул на Йоселя и поднялся с лавки.

— Стало быть, без меня хотите покупать? — снова спросил Слимак.

— Цыплят-то вы летом продавали без нас, — ответил Гжиб.

Оба подали руку Иоселю и вышли из корчмы, не простясь со Слимаком.

Шиикаръ посмотрел им вслед, продолжая усмехаться.

Когда скрип шагов на снегу затих, он повернулся к Слимаку:

— Ну, хозяин, видите, как нехорошо у евреев хлеб отбивать? Из-за вас я потерял рублей пятьдесят, а вы и всего-то заработали двадцать пять, зато вражды себе нажили в деревне на целую сотню.

— И они без меня купят землю у папа? — спросил Слимак.

— А почему бы им не купить без вас? Какое им дело, что вы на этом потеряете, если им будет хорошо.

Мужик покачал головсй.

— Ну-ну! — прошептал он.

— Я, может, и мог бы помирить вас с деревней, — продолжал Иосель, — по зачем мне это? Один раз вы уже меня обидели, а сердце у вас ко мне никогда не лежало.

— И не помирить? — спросил Слимак.

— Помирить я могу, но у меня есть свои условия.

— Ну? ..

— Во-первых, вы отдадите мне пятьдесят рублей, которые я летом из-за вас потерял, а потом... постройте на своей земле хату и сдадите её моему шурина.

— А что он там будет делать?

— Он будет держать лошадей и будет ездить на железную дорогу.

— А я что буду делать с моими лошадьми?

— А у вас будет ваша земля.

Мужик поднялся с лавки.

— Нет, уж не давайте мне чаю, — сказал он.

— Да я и в доме его не держу, — пренебрежительно ответил шинкарь.

— Не дам я вам пятидесяти рублей и хаты для шурина вашего не стану строить.

— Ну-ну, как хотите, — ответил Иосель.

Слимак вышел из корчмы, хлопнув дверью. Иосель повернул ему вслед свой острый нос и острую бородку, меланхолически усмехнувшись. Бредя в ночной темноте, Слимак наткнулся на господского батрака с тяжёлым мешком ржи на спине, потом заметил дворовую девку, которая кралась между плетней, пряча под тулупом гуся, а Иосель неизменно усмехался. Он усмехался, отдавая батраку два золотых за рожь вместе с мешком; усмехался, покушая у девки гуся за бутылку прокисшего пива; усмехался, слушая мужиков, когда они совещались насчёт покупки имения; усмехался тогда, когда платил старому Гжибу два рубля в месяц со ста, и усмехался тогда, когда брал у молодого Гжиба два рубля в месяц с десяти.

Усмешка никогда не сходила с его острого лица.

В хате Слимака уже погас огонь в печке, и давно спали дети, когда он, вернувшись из корчмы, стал впотьмах раздеваться.

— Ну, что? — спросила его жена.

— Это поселевы штучки, — ответил мужик. — Он ими вертит, как хочет.

— И не допустят тебя?

— Они-то нет, но я пойду к самому пану.

— Завтра пойдёшь?

— Завтра. А то пропадёт у меня луг. Что я тогда буду делать? Без него мне беда, — вздохнул мужик.

Пришло завтра, пришло и послезавтра, пролетела целая неделя, а Слимак всё ещё не соб-

рался в усадьбу. Один день он говорил, что ему надо молотить рожь для куща, другой — что в такой мороз носа не высунешь на улицу; потом — что он надорвался и нутро у него ноет. На самом же деле он и не молотил и не надорвался, но что-то удерживало его дома. Что-то, что мужики называют робостью, шляхта — ленью, а учёные люди — отсутствием воли.

В эти дни он мало ел, ничего не делал, на всех сердился и, вздыхая, бродил по всему хутору. Чаще всего он останавливался у покрытой снегом лужайки и думал; в нём происходила борьба. Рассудок говорил ему, что надо идти в усадьбу и так или иначе, но покончить, наконец, с этим делом; но какая-то другая сила наполняла его душу тревогой, и у него ноги подкашивались, когда она напёптывала ему на ухо: «Не спеши, погоди ещё денек, всё само собой образуется...»

— Юзек, ты чего не идёшь к помещику? — кричала жена. — Всё равно ведь придется сходить.

— А ну, как он не продаст мне луг: что тогда? .. — отвечал мужик.

Он колебался до того самого вечера, когда Собесская дала ему знать, что депутаты из деревни были днём у пана с просьбой продать им усадьбу.

Собесскую совсем одолела ломота в костях, и она попросила у Слимачихи напёрсточек водки. Чарка сразу развязала ей язык...

— Дело, видите, вот как было. Пошёл Гжиб, да Лукасяк пошёл, да Ожеховский, оделись, словно на крестный ход. Пан зазвал их в канцелярию, а Гжиб только откашлялся да и пошёл чесать прямо с порога: «Слышали мы, говорит, пан, что хотите вы продать свою вотчину. Конечно, продать своё добро каждый имеет полное

право, равно как и всякий может купить, только бы заплатил как следует. Но, как там ни говори, а не годится, чтобы земля, которой испокон веков владели ваши деды-прадеды и которую мы своим мужицким трудом пахали да засевали, не годится, чтобы этакое дело перешло в чужие руки. Стало быть, продайте, пан, имение нам, своим мужикам и соседям, и не смотрите вы на чужих людей, которые землю вашу святую не уважают».

— Уж так-то хорошо говорил и чуть ли не целый час, — продолжала Собесская, — ну, точно ксёндз за налоем. У Лукасяка так даже поясницу свело, и все, как есть, рёвмя ревели. А потом мужики начали в ноги кланяться пану, а пан начал обнимать их за шею...

— И что же, покупают?.. — потеряв терпение, перебил её Слимак.

— Чего ж не покупать?.. Покупают... — протянула бабка. — Только малость в цене не сошлись: пан хочет сто рублей за морг, а мужики-то дают по пятидесяти. Но, скажу я вам, столько они плакали да целовались (а разговаривали так, будто они ровня — это мужики-то с паном!), что богатеи наши, наверное, прибавят рубликов по десяти, а остальное пан им уступит. Иосель говорит, чтобы по десятке накинули, не больше, да не спеша, тогда, конечно, сторгуют... А умный, псякрев, этот Иосель... Он за эти две недели, что мужики у него сговариваются, такой барыш имеет в корчме, будто сама богородица у нас в деревне объявилась... Ох, царица небесная, чудотворная...

— А против меня он бунтует мужиков? — спросил Слимак.

— Бунтовать не бунтует, — отвечала старуха, — только иной раз ввернёт словечко, что,

дескать, вы уже не крестьянин, а вроде как купец. Мужики на вас взъелись похуже, чем он. Всё забыть не могут, как вы курят у них покупали по золотому, а землемерам продавали по два...

После этих известий Слимак на другое утро отправился в усадьбу и в полдень с кислым видом вернулся домой.

— Ну, что? — спросила жена.

— Ну, сходил; потом расскажу, дай-ка поесть.

Он разделся и, усевшись за миску щей, начал рассказывать:

— Вошёл это я в ворота, смотрю: по одну сторону дома все окна настезь. В такую-то стужу!.. Слышь, Ягна?.. Ну, думаю, может помер кто, не приведи бог?.. Заглянул, а тут, в самой большой горнице (знаешь, где белые столбы, громадная такая, как костёл), ездит по полу лакей, Матеуш его звать. Без сюртука, в фартуке, щёткой подтирается да так и катит, как ребятишки на льду. «Слава Иисусу Христу, — говорю я ему. — Что это вы делаете, Матеуш?» — «Во веки веков, — отвечает. — Видите, пол натираю. Нынче гостей ожидаем, танцы будут». — «А пан, — говорю, — не вставал ещё?» — «Эх, — говорит, — встать-то встал, да сейчас он с портным плащ примеряет. Пан-то для танцев рядится краковцем, а пани — цыганкой». — «А я, — говорю, — хотел пана просить, чтобы он мне луг продал». — А Матеуш, то-есть лакей этот, говорит: «Глупые ваши слова, Слимак! Станет с вами пан толковать про луг, когда у него в голове сейчас один только краковец». И опять как пошёл ездить, так у меня даже в глазах зарябило! Отошёл я от окна и малость постоял возле кухни. Слышу: шум, гам, огонь пылает, как в кузне, масло так и трещит. Вдруг, смотрю, вылетает из кухни Игнац Кэмпяж, — поварёнком он в доме, — но так беднягу

раскровянило, словно кто топором его ткнул. «Игнац, — кричу, — бог с тобой, кто это из тебя краску пустил?» — «Это, — говорит, — не из меня. Просто повар смазал меня по морде битой уткой, вот меня и вымазало». — «Слава всевышнему, — говорю, — что сок не из тебя вышел, а скажи ты мне, друг, как бы мне поймать пана?» Он и говорит: «Подождите здесь. Только что, — говорит, — привезли козулю, так пан, верно, выйдет посмотреть на неё». — Игнац побежал к колодцу, а я жду, жду, все кости у меня разломил, а я всё жду.

— Ну, а пана видел? — нетерпеливо прервала жена.

— Ещё бы не видел.

— И говорил с ним?

— А то как же?

— О чём же вы говорили?

— Гм... ну, я говорю: «Прошу вашей милости насчёт лужка»... А он мне тихо: «Ни-ни... оставь меня в покое с делами, не до того мне сейчас».

— Только и всего? — спросила баба.

Слимак развёл руками.

— Схожу туда завтра или послезавтра, как отоспятся от танцев.

В это время Матек Овчаж ехал на санях в лес, за дровами. Он вёз топор, лукошко с едой и дочку-дурочки Зоськи. Мать, подкинув ребёнка осенью, по нынешний день не справлялась о нём, и Овчаж заменял сиротке мать. Он кормил ребёнка, укладывал в конюшне спать и брал с собой, на какую бы работу ни отправлялся, боясь хоть на минуту оставить его без присмотра.

Девочка была такая хилая, что почти не двигалась и даже не кричала. Слимаки и особенно Собесская предсказывали, что она скоро умрёт.

— Недели не проживёт.

— Завтра помрёт.

— Ого! Найдёнка-то кончилась.

Так говорили о ней в хате. Но девочка прожила неделю, не померла и на следующую.

Матек, слушая эти предсказания, только отмахивался и приговаривал: «выживет, ничего с ней не делается...»

— Охота тебе, Матек, возиться с такой дохлятиной! — не раз повторяла Слимачиха. — Ты ей что хочешь говори, хоть молитвы ей читай, ничего она не смыслит, уж очень глупа. Сроду я такой дурёхи не видывала...

— Ну, нет!.. — отвечал батрак. — Про себя она всё понимает, только не умеет сказать. А вот станет говорить, самых умных за пояс заткнёт!

И вывозил ли он в поле навоз, молотил ли, веял или чинил свои лохмотья, девочка всегда была с ним. Он рассказывал ей о своей работе, поил из пузырька молоком и убаюкивал, фальшиво напевая песенку о том, как сиротку, когда

Шла она лесами,
Затравили псами...

Сегодня Матек повёз её в лес. Он закутал девочку в остатки старого зипуна, укрыл сверху плахтой, привязал к передку саней и поехал — то с горы, то в гору, а то и оврагом; такая уж горбатая была тут местность. Вдруг они выехали на равнину прямо против солнца, и косые лучи его, отражаясь в безбрежной глади снегов, ударили им в глаза ярким блеском.

Девочка заплакала. Овчаж прикрыл ей лицо и принялся читать ей наставления.

— Вот видишь, я тебе говорил: закрывай глаза. Ни один человек, будь он хоть сам епископ, не может смотреть на солнце, потому что

Это фонарь господень. Каждый день на рассвете Иисус Христос берёт его в руки и обходит всё своё хозяйство на земле. Зимой, когда докучает мороз, он выбирает путь покороче и дольше спит по ночам. Зато уж летом — встаёт в четыре и целый день до восьми вечера смотрит: где, что делается на свете. Так и человек должен трудиться — от зари до зари. Ну, тебе-то можно ещё поспать и днём; всё равно, от тебя немного проку, хоть бы ты и не спала. Нно!.. Нн-о!..

Они въехали в лес.

— Ну, вот, видишь, — толковал Овчаж ребёнку, — это лес, да только не наш, а помещиков. Купил тут Слимак четыре сажени дров; мы перевезём их сейчас, пока дорога хорошая и лошади в поле не нужны. Вот вырастешь, будешь сюда летом бегать с детишками по ягоды. Только смотри, далеко не ходи и поглядывай по сторонам, а то как раз волк на тебя выскочит. Тпру... стой!..

Они остановились подле груды дров. Овчаж отвязал девочку от саней и, отыскав укрытое от ветра местечко, положил её на кучу можжевельника. Потом достал из лукошка бутылку с молоком и поднёс её к роту ребёнка.

— На, попей, наберись сил, придётся нам малость поработать. Поленья, сама видишь, какие: тут здорово повертись, пока нагрузишь сани. Что, испугалась?.. А-пчи!.. Будь здорова. И всё-таки даже с таким дитём веселей, чем одному, — прибавил он. — Прежде, бывало, словом не с кем перемолвиться, а нынче можно наговориться всласть.

Он принялся грузить дрова.

— Ты присмотришь, как делается такое дело. Ендрек — тот бы сразу схватил полено, всю бы сажень развалил, измучился бы зря и сейчас бы бросил. А ты бери брёвнышко сверху, — так,

хорошо, — теперь тащи его полегоньку, клади на плечо — и в сани. Вот одно и готово. Теперь второе. Бери полегоньку с самого верха, на плечо и в сани. Вот тебе два. Да помаленьку, не рывками, а то устанешь... Само-то полено, будь оно неладно, не хочет итти в сани, оно тоже ведь имеет понятие; знает, что его ждёт. Всякий держится своего угла, какого ни на есть, а своего. Только тому всё равно, — прибавил он со вздохом, — у кого своего угла вовсе нет. Здесь ли, там ли пропадать — всё одно...

Так рассуждал Овчаж и не спеша укладывал дрова. Время от времени он останавливался передохнуть, согревался, хлопая себя по плечам окоченевшими от холода руками, укрывал плахтой сиротку. Между тем небо заалело; поднялся резкий западный ветер, насыщенный влагой.

Охваченный зимним сном лес ожил, затрепетал, заговорил. Задрожали зелёные иглы сосен, вслед за ними ветви, потом заколыхались широко раскинувшиеся сучья, подавая какие-то знаки; наконец зашевелились верхушки и стволы деревьев. Они раскачивались взад и вперёд, будто сговариваясь о чём-то или готовясь к походу. Казалось, им наскучила вековая неподвижность, и вот-вот они с шумом и шелестом двинутся куда-то всей толпой.

Время от времени в той стороне, где стояли сани Овчажа, всё затихало, словно лес не хотел раскрывать перед человеком свои тайны. Но вдруг откуда-то издали слышались шаги бесчисленных ног. Вот из глубины выходят первые шеренги правого фланга; они подходят всё ближе, ближе, вот они уже поровнялись с Овчажом, прошли дальше... А вот дрогнул левый фланг; скрипит снег, хрустят обламываемые ветки, воет, отступая, ветер; они идут всё ближе, ближе, уже

на одной линии с мужиком, и снова проходят мимо. А вот передовая колонна потрясает ветвями и подаёт сигналы, перекликаясь громким шнотом. Уже склоняются верхушки, гиганты уже подались вперёд, двинулись... Встали... Они видят два человеческих существа, которым лес не откроет своей тайны. Они останавливаются, гневно шумя, бросают в них шишками и засохшими ветками, словно говоря им: «Прочь с дороги, Овчаж, прочь с дороги...»

Но ведь Овчаж — всего только батрак, подневольный человек. И хотя он боится лесного шума и с радостью уступил бы дорогу гигантам, по не смеет уйти, пока не погрузит дрова. Теперь он уже не отдыхает, не трёт озябшие руки, он только поспешно накладывает дрова, чтобы скорей бежать из лесу, от бурной зимней ночи.

Между тем небо совсем заволкло тучами, лес окутывает мгла, начинает накрапывать дождик; мелкие, как маковое зёрнышко, капли сразу же твердеют. В несколько минут зипун Матека, плахта, в которую он завернул сиротку, лошадиные гривы покрываются топкой потрескивающей коркой льда. Поленья тоже обмерзают и выскальзывают из рук; снег на земле становится гладким, как стекло, так что нельзя устоять на ногах. Матек бросает в сани последние дрова и со страхом поглядывает на заходящее солнце. Опасное дело — возвращаться с таким грузом ночью, да ещё в гололедицу.

Он поспешно укладывает сиротку в нагружённые сани и, перекрестившись, стегает лошадей. Многое на свете пугает Матека, но больше всего он боится, чтоб на обледенелой дороге не опрокинулись сани и не придавили его, как случилось с его телегой несколько лет тому назад.

— Ни-о-о!.. Ни-о!.. — понукает Матек лошадей.

Наконец они выехали из лесу, но дорога становится всё хуже. Неокованные сани поминутно валятся в канаву и, наверное, не раз бы уже опрокинулись, если б не подпирали их, дрожа от страха и холода, Матек. Стоит споткнуться его перешибленной ногой, и тогда конец ему и ребёнку: их придавят дрова, а остальное довершит мороз.

Неподалеку от большака дорога сделалась до того скользкой, что лошади остановились. Умолк скрип саней, мужик утомился покрикивать «ни-о», кругом залегла тишина. Такая тишина, что издали донёсся гневный шум леса, стал слышен гневный свист ветра в щелях между брёвнами, раздались приглушенные всхлипывания ребёнка. Вокруг всё темней да темней...

— Ни-о!.. — крикнул Матек.

Лошади тронулись и поскользнулись на месте.

— Ни-о-о! — начал снова мужик, подпирая сани.

Пройдя несколько шагов, лошади опять остановились.

— Под твою защиту прибегаю, богородице, дево... — шептал мужик.

Он достал из саней топор, чтобы рубить перед лошадьми лёд на гладкой, словно полированной дороге.

После получасовой работы, в конце измучившись, Матек добраяся, наконец, до большака. Здесь поднимался высокий холм, почти неприступный в темноте и, тем более, в гололеду.

Матек взял на руки всхлипывающую сиротку, уселся на передок саней и, закутывая ребёнка, стал думать: явится ли Сливак к ним на

выручку или заляжет спать в тёплой хате, бросив их на произвол судьбы.

— Может быть, и придёт, лошадей пожалеет. Не бойся, не плачь, — шептал он сиротке. — Господь бог милостив, он всё видит и не даст нам погибнуть. Не плачь, слезами горю не поможешь.

Вдруг сквозь вой бури ему послышался перезвон колокольчиков. Динь-динь!.. — динь-динь!.. — заливались они на все голоса, как во время крестного хода. Он сперва подумал, что ему померещилось, но колокольчики, ни на минуту не смолкая, звенели всё громче, всё ближе, как летом рой комаров над топью.

— Что же это? — прошептал мужик и вскочил на ноги.

Вдали между холмов, поросших можжевельником, на снегу показался красный огонёк — сначала один, потом второй, третий, четвёртый... Огни то скрывались в оврагах, то снова загорались где-то в вышине, словно в небе, то, наконец, опять исчезали под неумолчный, всё более и более громкий, звон бесчисленных бубенцов. И всякий раз, появляясь вновь, огоньки становились ярче, так что, наконец, при их свете можно было различить великое множество огромных чёрных предметов, бегущих к Овчажу.

Одновременно до ушей батрака донёсся гул человеческих голосов, конский топот и хлопанье бичей.

— Э-эх!..

— Осторожно, тут холм!..

— Гони ко всем чертям!..

— Эй, вы! не сходите с ума!..

— Остановите сани... Я выхожу!..

— Вали вперёд!..

— Господи Иисусе!

— Музыку не растеряли?

— Успеем ещё растерять!..

— Ха-ха-ха!

Теперь Овчаж разглядел, что на него мчится вереница саней, больших и маленьких, запряженных парой или четвёркой лошадей, в сопровождении верховых с факелами. В морозной мгле их пламя производило необычайное впечатление, как и вся процессия. Казалось, она въезжает под огненную арку, озарённую багровым светом, вынырнув на мгновение из бездны для того, чтобы опять в ней исчезнуть.

А сани всё неслись, друг за другом, с криками, с песнями, свистом и хлопаньем бичей, хотя вся дорога была в рытвинах. Вдруг кортеж остановился подле самого Овчажа.

— Эй! Что там?

— Стой!.. Какой-то болван загородил дорогу.

— Кто это?

— Мужик с дровами.

— Сворачивай, собачий сын!..

— Не свернёт; лошади не вытянут...

— Столкнись его в ров!

— Постойте!.. Лучше перенесём его!

— Bravo! перенесём мужика!.. Выходите, господа!

И не успел Овчаж опомниться, как его окружила блестящая толпа в масках, перьях, богатых нарядах, с саблями, мётлами и гитарами в руках. Одни подхватили сани с дровами, другие его самого, втащили на вершину крутого холма, свезли вниз и поставили в таком месте, откуда он мог добраться домой без большого труда.

— Господи, помилуй! — шептал поражённый Матек, взглядываясь в этих чудаков, среди кото-

рых он узнал несколько помещиков из окрестных деревень.

— Видно, едут на гулянье к нашему пану, — прибавил он, подумав. — Вот уж удальцы, так удальцы, — добрые господа!.. Не взбрело бы им это в голову, так бы и простоял до утра.

Между тем с холма кричали:

— Дамы боятся ехать под гору!..

— Пусть выходят, мы доведём их пешком.

И путники всей гурьбой снова побежали в гору.

— Не проедут тут сани!..

— Ночему нё проедут? — закричал чей-то юношеский голос. — Антон, трогай!..

— Не управлюсь, пан!..

— Так пошёл с козел, шут!.. Я сам повезу, если ты боишься!..

Через минуту громко зазвенели колокольчики, с вершины холма, словно вихрь, промчались сани, запряжённые парой лошадей, едва не налетев на Овчажа. Мужик только перекрестился.

— Анжей! Трогай!..

— Стойте, граф!..

— Не рискуйте, пан!..

— Ношёл!..

Вторые сани пронеслись, как буря.

— Bravo!..

— Молодцы!..

— Трогай, Яцент!

На этот раз с горы понеслось, едва не сцепившись полозьями, сразу двое саней.

Бешеная гонка так взрыхлила скользкую дорогу, что остальные сани, уже без седоков, могли, не подвергаясь опасности, подныться и съехать, что они и сделали с надлежащей осторожностью.

— Да ну же, скорей! — кричали сверху.

— Пусть каждый подаст руку даме!..

— Полонез!.. Дайте полонез!

— Музыка, вперёд!..

Люди с факелами выстроились вдоль дороги, музыканты продули трубы, пары изготовились. Полилась скорбная мелодия полонеза Огинского, и из толпы, стоявшей вверху, пара за парой двинулись танцующие, словно разноцветная нить, тянувшаяся из невидимого в темноте клубка.

Овчаж снял шапку, стал за дровнями и высвободил из-под тулупа голову ребёнка.

— Смотри, — сказал он, — взглядишь хорошенько: такой красоты в другой раз за всю жизнь не увидишь. Вот так процессия! Да не бойся!.. Тут одни только паны да пани, высыпало их нивесть сколько, словно овец на лугу..

В нескольких шагах от пего стоял лакей с факелом, так что Матек отлично мог разглядеть каждую пару нескончаемого шествия и потихоньку объяснял сиротке:

— Видишь этого с медным котелком на голове, на груди у него бляхи — латы называются! Это важный рыцарь!.. В былые времена такие полмира завоевали, нынче уж нет таких..

Первая пара проскользнула мимо Овчажа и исчезла за холмом.

— А теперь присмотри к этому, с седой бородой и султаном на шапке. Это важный пан и сенатор.. В былые времена такие полмиром владели, но нынче уж нет таких..

Вторая пара растаяла во мраке.

— Этот, с воротником, — рассказывал мужик ребёнку, — это духовное лицо. В былые времена такие знали всё, что есть на небе и на земле, а как помрут, бывало, так делаются святыми. Да нынче уж нет таких..

Третья пара исчезла за холмом.

— А этот, пёстрый, как дятел, — это тоже

большой пан. Этот ничего не делал, только пил да плясал. За один раз мог выпить целый кувшин вина, денег ему требовалось столько, что под конец нужда заставила его вотчину продать. А когда всё распродал, тогда его, бедняги, не стало.

Прошла четвёртая пара.

— Глянь-ка, видишь, какой улан идёт?.. Ох, эти крепко повоевали!.. Прошли с Наполеоном весь свет, перебили все народы. Да нынче и этих нет...

— Смотри, смотри-ка — туда. Видишь — трубочист, а там кузнец; один играет на гитаре, другой вроде мужика, только на самом деле это паны вырядились просто так, для потехи...

Вот и последняя пара проплыла мимо Матка; полонез Огинского звучал всё тише и наконец умолк. Самая трудная часть пути была пройдена, с шумом и смехом все стали снова усаживаться в сани. Опять зазвенели колокольчики — сперва один, потом второй, третий, десятый: целый рой, — опять захлопали бичи, зацокали копыта, и ряженные понеслись дальше.

Мужик надел шапку, уложил ребѣнка в сани, подобрал вожжи и осторожно, по наезженной дороге, двинулся домой. Далеко впереди звенели бубенцы и мелькали красные огоньки; временами ветер ещё доносил чей-то громкий возглас... Наконец всё затихло и погасло.

Оставалось ещё, может, с версту до хаты, когда он увидел Сликака.

— А мы уж думали, что ты застрял под горой, — заговорил Сликак, — но ты, слава богу, едешь. Видели ряженных?

— Ого-го!.. — ответил Овчаж.

— И не разнесла тебя шляхта?

— Как бы не так. Они ещё через гору меня переволокли вместе с санями.

— Да ну!.. И ничего худого тебе не сделали?

— Ничего. Один только созорничал, шанку мне на глаза надвинул, а больше ничего.

— Вот-вот! У них всё так. То они тебя разобидят насмерть, то чуть не на руках носят. Как на них найдёт, — заключил Слимак.

— Как на них найдёт, — повторил Овчаж. — Но уж и мудрят они... можно сказать, по-барски. Так они, псякрев, разогнали сани, да с самой высокой горы, что у меня по спине мурашки побежали. Верно, здорово выпили, оттого-то никто из них себе шею не свернул. А мужик, да ещё трезвый, тут бы не уцелел.

Через минуту их нагнало двое саней. В первых сидел один человек, во вторых — двое.

— Вы из этой деревни? — крикнул первый.

— Из этой, — ответил Слимак.

— Тут ряженные проезжали, они у вас останавливались?

— Не у нас, а у пани.

— Так, так... А арендатор Йосель дома?

— Если не мошенничает где-нибудь, то дома, — сказал Слимак.

— Вы не слыхали, не продал ещё ваш помещик имение? — послышался грубый голос из вторых саней.

— Зачем ты болтаешь, Фриц!.. — накинулся на Фрица его спутник.

— А затем, что ни черта не стоит всё это дело, — сердито ответил грубый голос.

— Эге, да это они! — шепнул Слимак, всматриваясь в проезжих.

Сани пронеслись мимо.

— Видать, евреи, — сказал Овчаж. — Ишь, бородатые и говорят не по-нашему.

— Первый — тот еврей, а эти двое — немцы из Вульки, — ответил Сликак. — Помню я их, они ещё нынче летом ко мне приставали.

— У шляхты и гулянье не обходится без еврея, — заметил Овчаж. — Только что проехали, а этот уж за ними поспешает.

— Как дым за огнём, — прибавил Сликак.

Занятые своей беседой, они доехали до ворот, где их поджидал Ендрек с фонарём. Мороз всё крепчал, и они совсем заиндевели, когда, наконец, попали в хату.

Между тем сани с евреем и с двумя немцами из Вульки осторожно спустились в долину, проехали мост, с большим трудом поднялись на первый амфитеатр холмов и остановились у корчмы. Тут до ушей приезжих стали доноситься обрывки музыки; усадьба была озарена розовым пламенем смоляных бочонков, пылавших перед домом. Немцы вылезли из саней и вошли в корчму; через минуту оттуда выскочил шинкарь Иосель и вполголоса заговорил с одиноким седоком. Наконец, низко ему поклонившись, он велел вознице ехать к усадьбе.

Едва сани тронулись, как из корчмы выбежал один из немцев с криком:

— Эй! Эй! — Сани остановились.

— Ничего из этого дела не выйдет, — заявил немец.

— Почему? — медленно спросил еврей.

— Они сейчас танцуют. . .

— Это-то и хорошо.

— Шляхтич не оставит танцев для деловых расчётов.

— Так продаст без расчёта.

— Или велит ждать несколько дней.

— Мне некогда ждать, — ответил еврей. — Трогай! — приказал он вознице.

В усадьбе громче заиграла музыка, и в ответ ей в деревне завыли проснувшиеся собаки, застонал и засвистел ветер в старых деревьях вдоль дороги. Лошади спотыкались всё чаще, всё медленней двигались сани, а седок, подняв высокий бобровый воротник, задумался.

Во дворе пылали смоляные бочонки, в открытой настежь кухне вспыхивали, казалось, бенгальские огни. У навесов и возле конюшен ещё звякали бубенцы, кучера пререкались за места для своих лошадей, забор со всех сторон облепили батраки, деревенские бабы и мужики, глазевшие на освещённые окна зала, где непрестанно мелькали силуэты танцующих. И над всем этим шумом, музыкой, блеском, над весельем и любопытством человеческим — раскинулась зимняя ночь, а из тёмной её глубины к усадьбе подъезжал, закутавшись в бобры, неизвестный еврей и думал.

Его сани остановились в тени, у ворот; еврей вышел и усталой походкой двинулся к открытым дверям кухни. Он что-то сказал повару, тот не обратил на него внимания; тогда он подозвал судомойку, — она повернулась к нему спиной; наконец, на его счастье, в кухню вбежал буфетный мальчик. Приезжий схватил его за руку.

— Вот тебе золотый, — сказал он, — если ты приведёшь сюда лакея Матеуша, получишь ещё золотый.

Мальчик остановился и с любопытством взглянул на еврея.

— А вы разве знаете Матеуша?

— Узнаю, ты только его приведи.

Вскоре появился Матеуш.

— Вот тебе рубль, — сказал приезжий, — если вызовешь ко мне пана, получишь ещё рубль,

Лакей покачал головой.

— Пан теперь очень занят, — сказал он, — наверное, не выйдет.

— Скажи ему, что его хочет видеть пан Гиршгольд по очень спешному делу. И ещё скажи, что пан Гиршгольд привёз ему письмо от отца пани. Вот тебе второй рубль, чтобы ты не забыл фамилию: пан Гиршгольд.

Матеуш тотчас побежал в дом, но вернулся нескоро. Музыка в зале умолкла — он не возвращался; заиграли польку — его всё ещё не было; наконец он пришёл.

— Пан просит вас во флигель, — сказал он господину в бобрах.

Пройдя вперёд, он отворил дверь в комнату, где стояло несколько кроватей; некоторые из них были уже постланы на ночь и предназначались, видимо, для гостей.

Еврей снял дорогую шубу и, не выпуская из рук бобровой шапки, опустился в кресло. Это был красивый румяный мужчина с русой бородой, в длинном сюртуке. Он удобно вытянул ноги, обутые в лакированные ботинки, облокотился на ручку кресла и, уставясь на пламя свечи, стал ждать.

Полька окончилась; после короткой паузы из зала донеслись задорные звуки мазурки. В доме усилился шум и топот, время от времени слышались выкрики распорядителя танцев, а затем последовал такой грохот, от которого, казалось, обрушится вся усадьба. Еврей равнодушно слушал, терпеливо ждал и всё думал.

В сенях что-то стукнуло, загремело, дверь быстро распахнулась, словно её вышибли, — и перед посетителем появился помещик. На нём был плащ с красным воротником, красная шапка с павлиньим пером, широкие штаны в розовую и белую полоску и сапоги с подковками.

— Как поживаете, пан Гиршгольд? — весело поздоровался хозяин. — Что это за спешное письмо от тестя?..

Гость медленно поднялся с кресла, важно поклонился и, достав письмо из кармана, сказал:

— Пожалуйста, прочтите.

— Как?.. Сейчас?.. Но я танцую мазурку, пан Гиршгольд... .

— А я составляю дистанцию дороги, — возразил гость.

Помещик прикусил ус, распечатал письмо и быстро пробежал его глазами.

Шум в зале всё усиливался, возгласы распорядителя танцев раздавались всё чаще, громче и отчётливее.

— Вы хотите купить моё имение? — спросил помещик.

— Да, и сейчас же.

— Но послушайте, у меня бал!..

— А меня ждут колонисты. Если я до полуночи не договорюсь с вами, завтра мне придётся договариваться с вашим соседом. Он на этом выиграет, а вы проиграете.

— Ну, хорошо... — проговорил, едва сдерживая нетерпение, помещик. — Гость в письме очень лестно отзывается о вас... Но сейчас...

— Вам нужно только написать несколько слов.

Помещик бросил на стол свою шапку.

— Право, пан Гиршгольд, вы несносны!..

— Не я, а дела. Мне чрезвычайно приятно быть полезным вашему семейству, но в моём распоряжении крайне мало времени.

В сенях снова что-то загремело, в комнату ворвался улан.

— Владек, побойся бога, — закричал он, — что ты делаешь?

— Срочные дела... — оправдывался хозяин.

— Но твоя дама ждёт...

— Пусть кто-нибудь меня заменит; повторяю, у меня важные, срочные дела.

— Но дама!.. — горестно воскликнул улан, выбегая из комнаты.

Из зала донёсся голос главного распорядителя, до того охрипший, что вскоре он совсем замолк. Однако его тотчас сменил чей-то могучий бас:

— Дамы, *gond*, кавалеры, — *corbeille!*..

— Сколько вы даёте? — в отчаянии повернулся хозяин к покупателю — Что за нелепое положение!.. — прибавил он, постукивая подковками.

— Крайняя цена — две тысячи двести пятьдесят рублей за влуку. Завтра я вам дам уже две тысячи.

— *En avant!* — загремел бас в зале.

— Ни за что! — ответил помещик. — Лучше я продам мужикам.

— Мужики дают полторы тысячи, дадут самое большее тысячу восемьсот.

— В таком случае я сам буду хозяйничать.

— Вы и сейчас сами хозяйничаете, а что толку?..

— *Tougnéz!*.. — крикнули в зале.

— То есть, как это что толку?.. — возмутился помещик. — Земля великолепная, леса, поля...

Еврей махнул рукой.

— Я ведь знаю, что тут у вас есть, — сказал он. — Знаю от вашего управляющего, который уволился с нового года.

Помещик рассердился.

— Тогда я сам распродам колонистам!.. — крикнул он.

— И получите по две тысячи за влуку, а тем

временем молодая пани умрёт со скуки, — возразил купец, смеясь.

— Chaîne! Налево! — раздалось в зале.

— О, господи! Что же делать?.. — вздохнул помещик.

— Подписать купчую, — ответил купец. — Пишет же вам тесть, что я плачу больше, чем кто-либо, и что я заслуживаю доверия.

— Partagez!..

В сенях в третий раз что-то загрохотало, споткнулось, стукнулось о дверь, чертыхнулось, и в комнату снова влетел улан.

— Владек! — завопил он, — граф смертельно обижен твоим невниманием к его невесте и хочет уезжать... .

— Боже! Что за несчастье! — простонал помещик. — Пишите, пан Гиршгольд, купчую, я сейчас вернусь.

Он убежал. Купец достал из дорожной сумки чернильницу и перо, из кармана — вчетверо сложенный листок бумаги и при свете стеариновой свечи, под звуки музыки, шарканье ног и выкрики распорядителя танцев написал несколько строк. Потом снова впал в свою обычную задумчивость.

Через четверть часа мазурка затихла, и в комнату вскоре вернулся усталый, но сияющий шляхтич.

— Готово? — спросил он весело.

— Готово.

Помещик прочёл и подписал, прибавив с улыбкой:

— Чего сто́ит такая купчая?

— Для суда — она ничто, но для вашего тестя она имеет значение. Ну, а у него есть деньги, — ответил купец.

Он подул на подпись, неторопливо сложил

бумагу и в заключение спросил с оттенком лёгкой иронии:

— Что же, пан граф уже не сердится?

— Мне удалось его успокоить, — с довольным видом ответил помещик.

— В этом году его ждут большие неприятности от кредиторов, — пробормотал купец. — Ну, я прощаюсь, желаю хорошенько повеселиться.

Он подал помещику руку, и тот поспешно вернулся в бальный зал.

Купец взял шубу и стал медленно надевать её. В ту же минуту, точно из-под земли, вырос Матеуш.

— Изволили купить у пас имение? — угодливо изогнувшись, спросил лакей.

— Что ж... Не он первый, не он последний, — ответил купец.

Он потянулся за бумажником и протянул лакею три рубля.

— Прикажете подавать? — спросил лакей, сгибаясь в три погибели.

— Не нужно, — ответил купец. — Моя карета осталась в Варшаве, сюда я приехал в такой дрянной колымаге, что мне неловко её показывать.

С этими словами он вышел за ворота пешком в сопровождении почтительно семенившего за ним лакея.

В зале начали контрданс, который затянулся до ужина. После ужина снова плясали польку, потом вальс, мазурку — и так без конца. На востоке забрезжил бледный рассвет, в хатах затопили печи, во дворах закрипели журавли колодцев, на гумнах застучали цепи, а в усадьбе всё ещё продолжались танцы.

С восходом зимнего солнца Сликамак встал,

накинул на плечи зипун и, нащёптывая молитву, вышел за ворота. Он посмотрел на небо, точно спрашивая взглядом: какая будет погода? потом, насторожив ухо, повернул голову к усадьбе, откуда доносился собачий лай и обрывки мелодий. Продолжая прислушиваться, он вышел на дорогу и машинально направился к затянутой льдом реке; губы его ещё шептали молитву, но в голове было другое: он думал о том, как это господа могут так долго веселиться.

— Нет, не сменяю я своей беды на ваши забавы!.. — шептал он. — Замучаются, не поспят как следует быть — вот и вся радость...

Он вспомнил, что молитва не окончена, отогнал прочь мирские заботы и забормотал:

— А теперь вторая молитва... Отче наш, иже еси на небесех...

Вдруг из-за холма послышались какие-то голоса. Слика повернулся туда и сразу же увидел двух человек в длинных синих тулупах. Один был старик с бритым лицом, другой — широкоплечий бородач.

Они тоже заметили его, и старший спросил: — Это ваша земля, хозяин, там на горе?

Слика в изумлении поглядел на них.

— Да что вы всё спрашиваете про моё добро?.. Я уж летом вам говорил, что земля эта моя и гора моя.

— А раз твоя, так продай нам, — сказал бородач.

— Подожди, Фриц, — перебил его старик.

— Вам всегда нужно болтать, — прикрикнул на него бородач.

— Подожди, Фриц, — продолжал старик. — Видите, хозяин, — обратился он к мужику, — сегодня мы купили у вашего пана имение...

— Ну, зачем это?.. — прервал его бородач.

— Подожди, Фриц. Видите ли, хозяин, нам нужна ваша гора, потому что мы хотим здесь поставить ветряную мельницу...

— Негг Jesus!.. — воскликнул бородач. — Вы, видно, спросонок совсем одурели!.. Послушай, — сердито обратился он к мужику, — мы хотим купить твою землю...

— Землю?.. — удивлённо переспросил мужик, оглядываясь назад. — Землю?..

Он с минуту колебался, не зная, что отвечать; наконец сказал:

— А какое вы право имеете покупать мою землю?

— Мы за неё деньги заплатим, — бросил бородач.

— Деньги?.. А я не продам за деньги. Это моя земля. Тут мои деды-прадеды жили ещё при барщине: тогда уже эту землю называли нашей. А потом отцу моему, по уложению, отдали эту землю совсем, так что она стала его собственная, всё это записано в комиссии. Позже я получил три морга за лес, тоже в собственность, и это тоже всё записано в комиссии. Землю мерил землемер от казны, и все бумаги есть, как следует быть, с подписями и печатями, стало быть... По какому же такому праву хотите вы купить мою землю, раз она моя? Собственная моя, ну?..

В продолжение этой речи, произнесенной с большим волнением, бородач, повернувшись боком к мужику, насвистывал сквозь зубы, а старик в нетерпении разводил перед собою руками. Улучив, наконец, удобное мгновенье, он закричал:

— Но мы ведь тебе заплатим!.. Чистоганом... По шестидесяти рублей за морг...

— Я и за сто не продам, — отрезал Слимак, — потому что нет у вас никакого такого права.

— Но мы можем договориться по доброй воле.

Мужик подумал и вдруг рассмеялся.

— Вы старый человек, — сказал он, — а того не понимаете, что по доброй-то воле я никогда свою землю не продам.

— Но почему?.. За те деньги, которые мы вам даем, вы могли бы за Бугом купить целую влуку.

— А раз там земля такая дешёвая, вы бы её и купили. Чего же вы лезете в нашу деревню?

— Ха-ха-ха! — захохотал бородач. — А мужик, я вижу, не дурак; он говорит то же самое, что я вам твержу каждый день с утра до вечера.

— Подожди, Фриц, — сказал старик. — Хозяин, — обратился он к Слимаку, схватив его за руку, — будем говорить, как христиане, а не как язычники. Мы молимся одному богу, зачем нам ссориться?.. Видишь ли, хозяин, у меня есть сын, который знает мукомольное дело; мне бы хотелось построить для него ветряную мельницу на этой горе. Когда у него будет мельница, он обзаведется делом, женится, остепенится, и я на старости лет буду счастливый человек. А тебе эта гора ни к чему.

— Да ведь это моя гора, моя земля! — возразил мужик. — Сходите в комиссию, они вам покажут, что это моя собственная земля и на неё никто не имеет никакого права.

— Права никто не имеет, — подтвердил старик, — но я хочу её купить.

— Ну, а я не продам.

Старик поморщился, точно собираясь заплакать, отвёл мужика в сторону и заговорил пониженным голосом, дрожавшим от волнения.

— Чего вы так сердитесь? Видите ли, мой сыновья не ладят между собой. Один любит

сельское хозяйство, другой — мукомольное дело. Я очень хочу пристроить младшего, дать ему мельницу, женить и поселить его возле себя. Мне уже недолго осталось жить на свете, мне восемьдесят лет, так что... Вы уж согласитесь...

— А разве вы не можете купить себе где-нибудь земли? — спросил мужик.

— Не можем. Мы покупаем в компании, человек пятнадцать. Это долго рассказывать... Мой младший сын, Вильгельм не любит возиться с землей... Если у него не будет мельницы, он опустится или уйдет из дому. А я старый человек, я хочу, чтобы он был возле меня... Продай нам свою землю, — говорил он, всё крепче сжимая руку Сликама. — Впрочем, послушай, — прибавил он тише: — я тебе дам семьдесят пять рублей за морг... Это очень большие деньги!.. Бог свидетель, что я даю тебе больше, чем стоит земля... Ну, продашь? Да? Ты ведь честный человек, христианин...

Мужик с удивлением и жалостью поглядел на старика, у которого глаза покраснели от слёз.

— Ну, пан, — сказал Сликама, — видно, мало у вас разума, если вы так на меня надели. Сами сообразите, мыслимое ли это дело — просить человека, чтобы он дал себе руку отрубить или глотку перерезать? Да что же я-то, мужик, без земли буду делать?..

— Купи себе в другом месте... У тебя будет вдвое больше земли... Я сам найду тебе такую деревню...

Сликама, покачав головой, сказал:

— Уговариваете вы меня, как мужик уговаривал дерево: выкопал он его в лесу и захотел посадить возле дома. «Пойдём, — говорит, — будешь ты теперь возле хаты, между людей будешь»... Глупое дерево и пошло из лесу: что ж

ему делать, раз заставляют; а пока его садили на новой земле, оно и засохло. Вы хотите, чтобы я пропал вместе с женой, ребятишками и скотиной. Сами посудите: ну, куда я денусь, продав свою землю?

Разговор прервал бородач, раздражённо сказавший отцу что-то по-немецки.

— Не продашь? — спросил старик.

— Нет, — ответил Слимак.

— По семьдесят пять рублей за морг?

— Не продам.

— А я тебе говорю, что продашь! — крикнул бородач, грубо схватив отца за руку.

— Нет.

— Продашь, хозяин? — повторил старик.

— Нет.

Они пошли на мост, крича друг на друга по-немецки. Мужик смотрел им вслед.

Вдруг он перевёл глаза на потемневшие окна усадьбы, где уже смолкла музыка, и какая-то новая мысль мелькнула у него в голове. Он бросился домой.

— Ягна! — закричал он, отворяя дверь в сени, — Ягна!.. Знаешь, наш пан продал имение немцам!..

Хозяйка, возившаяся у печки, перекрестилась.

— Во имя отца и сына!.. Да ты с ума спятил, Юзек?.. Кто это тебе сказал?..

— Сейчас пристали ко мне на дороге два немца, сказали насчёт продажи имения, и ещё... слышь, Ягна?.. хотели у нас землю купить... Нашу, кровную землю!

— Да ты и вовсе спятил! — крикнула Слимачиха. — Ендрек, сбегай-ка, посмотри, есть ли там на дороге немцы, а то отец что-то заговаривается...

Ендрек убежал и через несколько минут вернулся, сообщив, что за мостом по дороге в самом деле идут двое в долгополых синих кафтанах. Между тем Слимак молча сидел на лавке, опустив голову и упершись руками в колени. В хату вливался серый утренний свет и, смешиваясь с красным отсветом, падавшим от печки, придавал людям и предметам какой-то мертвенный, угрожающий вид.

Хозяйка вдруг взглянула на мужа.

— Да ты чего побелел? — спросила она. — Ты чего осовел? Говори, что с тобой?

— Что со мной? — повторил мужик. — Ещё спрашивает, тоже голова!.. Ты что же не понимаешь, что если пан, вправду, продал имение, то немцы отнимут у нас луг?..

— Зачем им отнимать? — неуверенно ответила хозяйка. — Ведь мы им будем платить за аренду так же, как и помещику.

— Вот уж язык болтает, голова не знает. Известное дело, немцы жадны насчёт лугов. О! они держат много скота... Да они уже потому отнимут у меня луг, — прибавил он, подумав, — что пожелают мне досадить и выжить меня отсюда.

— Ну, это мы ещё посмотрим, кто кого выживет! — сердито сказала хозяйка.

— Да уж не я их, — вздохнул Слимак.

Баба подбоченилась и начала, постепенно повышая голос:

— Га, видали вы такого мужика!.. Только взглянул на немецкое отродье, у него и душа в пятки ушла. Ну, заберут у тебя луг, ну, и что же? Будем к ним скотину гонять на потраву до тех пор, пока они луг не продадут.

— И перестреляют у меня всю скотину.

— Перестреляют?.. — протянула хозяйка. —

А суд? А тюрьма?.. Панам нельзя бить мужицкий скот, а немцам можно?..

— Ну, не перестреляют, так захватят скотину да и вытягают по суду больше, чем она съест. Немец, он — ох, какой хитрый! Одними надзорами да тяжбами душу из тебя вынет.

Хозяйка на минуту умолкла.

— Что ж, — сказала она, подумав, — будем покупать сено.

— У кого? Наши мужики и сейчас не продают, а у немца, когда он переберётся в имение, былинки не выклянчишь.

В печке закипел горшок, но хозяйка даже не взглянула на него: гнев и беспокойство охватили её. Сжимая кулаки, она подступила к мужу:

— Ты что это капючишь, Юзек?.. Подумай только!.. И так худо и этак несхорошо, как же быть?.. Какой ты мужик, какой ты хозяин в доме, что и сам ничего не надумал и у меня, у бабы, всю душу вытянул?.. И не стыдно тебе детей, не стыдно Магды? Что ты расселся на лавке да глаза закатил, точно покойник? Лучше бы подумал, как быть!.. Что же, по-твоему, я из-за твоих немцев дам ребятишкам подохнуть с голоду или без коров останусь?.. Ты может думаешь, я тебе позволю землю продать? Не дождётесь!.. — крикнула она, поднимая кулаки. — Ни ты, ни твои немцы!.. Убейте меня на месте, хоть в могилу заройте, я из-под земли вылезу, а не дам своих детей в обиду... Ну, чего сидишь? Чего ты уставился на меня, как баран?.. — кричала она, пылая от гнева. — Скорей ешь да ступай в усадьбу. Узнай там, в самом ли деле пан продал имение. А в случае, если не продал, вались ему в ноги и до тех пор лежи, до тех пор проси, до тех пор скули, покуда он не уступит тебе луг, хотя бы за две тысячи злотых...

— А ну, как продал?

— Продал? — задумалась она. — Если продал, господь бог его за это накажет, будь он проклят, не видать ему счастья вовек!..

— А луга-то всё-таки не будет.

— Ну, и дурак!.. — сказала она, поворачиваясь к печке. — До сих пор мы, дети и скотина наша жили милостью господа бога, а не пана-помещика, так же будем и дальше жить.

Мужик поднялся с лавки.

— Если так, — сказал он, подумав, — давай завтракать. Ну, чего ревьешь? — прибавил он.

После взрыва энергии Слимачиха действительно залилась слезами.

— Заревешь тут, — всхлипывала она, — когда господь бог наказал меня этаким рохлей-муженьком. Он и сам ничего сделать не может и из меня всю душу вымотал!..

— Глупая ты баба!.. — ответил Слимак, нахмурясь. — Пойду сейчас к пану и куплю луг, хотя бы мне две тысячи злотых пришлось отдать. Такой у меня нрав!

— А ежели помещик уже продал имение? — спросила жена.

— Начхать мне на него! Жили мы до сих пор по милости господа бога, а не пана, так и теперь не пропадем.

— А где ж ты возьмешь сена для скота?

— Моего ума это дело, я тут хозяин. Ты же смотри за своими горшками и в мои дела не суйся, коли ты баба!

— Выкурят тебя отсюда немцы вместе с твоим умом!

Мужик стукнул кулаком по столу, так что в хате поднялась пыль.

— Чорта лысого они выкурят, а не меня! — крикнул он. — Не двинусь я отсюда, хоть убей,

хоть на части меня изруби!.. Давай завтрак. Такое зло у меня на этих прохвостов, что и тебя стукну, если не замолчишь! А ты, Ендрек, слетай за Овчажем да живо поворачивайся, а не то, как сниму ремень...

В этот же самый час в помещичьем доме сквозь щели в ставнях в зал заглянуло солнце. Полосы белого света упали на пол, исцарапанный каблуками, ударились о противоположную стену, ярким блеском зажглись на лакированной мебели и золочёных карнизах и, отразившись в зеркалах, рассеялись по огромному залу. Пламя свечей и ламп сразу потускнело и пожелтело. Лица дам побледнели, под глазами выступила синева, на измятых потрепанных платьях оказались дыры, со сбившихся причёсок осыпалась пудра. У вельмож из шитых золотом поясов поползла мишура, роскошный бархат обратился в потёртый манчестер, бобровые меха — в заячьи пикурки, серебряное оружие — в белую жечь. У музыкантов опустились руки, у танцоров одеревянели ноги. Остыло возбуждение, сон смыкал глаза, уста дышали жаром. Посреди зала скользили только три пары, потом две, потом — ни одной. Мужчины угрюмо искали вдоль стен свободные стулья; дамы прикрывали веером усталые лица и искривленные зевотой рты.

Наконец музыка умолкла, никто не разговаривал, в зале наступила гробовая тишина. Гасли свечи, чадили лампы.

— Не угодно ли чаю? — охрипшим голосом предложил хозяин.

— Спать... спать... — раздалось в ответ.

— Комнаты для гостей готовы, — прибавил хозяин, стараясь быть любезным, несмотря на усталость.

При этих словах с диванов и с кресел поднялись сначала пожилые, потом молодые дамы; они выходили из зала, кутаясь в свои атласные накидки и поворачиваясь лицом подальше от окон. Через минуту зал опустел. В дальних комнатах стало шумно; потом во дворе слышались мужские голоса, а наверху — шаги, наконец всё затихло. Музыканты спустились с хор, оставив там несколько попитров и старого еврея, который заснул, обнявши свой контрабас.

В зал, постукивая подковками, вошёл помещик. Окинув мутным взглядом стены, он, зевая, сказал:

— Погаси свет, Матеуш... Открой окна... Ааа... Не знаешь, где пани?..

— Пани у себя, — ответил стоявший у порога лакей.

Помещик повернулся и вышел. Пройдя переднюю и столовую, он остановился, наконец, у дверей в самом конце коридора и спросил:

— Можно?..

— Пожалуйста, — ответил из комнаты женский голос.

Помещик вошёл. В атласном оранжевом кресле сидела его жена, одетая цыганкой. Облокотившись на ручки кресла, она откинула назад убранный золотыми цехинами голову и, казалось, дремала.

Помещик бросился в другое кресло.

— Бал удался... Ааа!.. — зевнул он.

— Да, очень, — подтвердила пани, прикрывая ротик рукой.

— Гости, должно быть, довольны.

— Да, я думаю.

Пан с минуту подремал и заговорил снова:

— Знаешь, я продал имение.

— Кому? — спросила пани.

— Гиршгольду. Дал по две тысячи двести пятьдесят рублей за влуку. Ааа!..

— Слава богу, наконец-то мы уедем отсюда, — ответила пани. — Там все уже разошлись?

— Наверное, спят. Ааа!.. Ну, поцелуй меня.

— Разве я должна подойти? Нет. Ты меня поцелуй. Я так устала.

— Поцелуй меня за то, что я так удачно продал имение. Ааа!..

— Так подойди сюда.

— Но мне так не хочется... Ааа...

— Гиршгольд?.. Гиршгольд?.. — прошептала пани. — Ах, знаю! Это какой-то знакомый папы... Как чудесно прошла первая мазурка...

Помещик храпел.

VII

Через неделю после костюмированного бала помещик с женой навсегда покинул деревню и переехал в Варшаву. Вместо них появился представитель Гиршгольда — веснущатый еврейчик, занявший маленькую комнатку во флигеле. На ночь он запирает дверь на железный засов и спит с двумя револьверами под подушкой, днём он всё время просматривал или писал какие-то счета.

Часть мебели из усадьбы увёз сам пан, остальную Гиршгольд велел продать. Один из окрестных помещиков приобрёл обстановку гостиной, другой — столовую, третий — спальню. Библиотеку раскупили на вес какие-то евреи; американский орган попал к ксендзу, садовые диванчики и стулья перешли в собственность Гжиба, Ожеховскому за три рубля досталась большая гравиюра «Леда и лебедь»: перед ней он вместе со всей семьёй горячо молился. Паркет переехал в губернский город и украсил собой помещение

окружного суда, шёлковые обои раскупили портные, пустившие их на корсажи для деревенских щеголих.

Заглянув в усадьбу через несколько недель после отъезда пана, Слимак обомлел при виде полного запустения. Оконные стёкла были выбиты; в дверях, раскрытых настежь, не осталось ни одной ручки; половицы были выломаны, стены ободраны. Зал напоминал свалку, в будуаре пани жена арендатора Йоселя поставила клетки, в которых кудахтали куры; в кабинете пана, где поселилось несколько евреев, были свалены целые груды пил, топоров и лопат. Вся прислуга, которая, по условию, могла оставаться до дня святого Яна, шаталась из угла в угол, ничего не делая. Выездной кучер пил мёртвую, ключница лежала в лихорадке, один из конюхов и буфетный мальчик сидели в волостной тюрьме по обвинению в краже дверных ручек и печных заслонок.

— Кара господня! — прошептал мужик; его обуял ужас при мысли о неведомой силе, которая во мгновение ока разорила дом, стоявший веками.

Ему казалось, что над деревней и над долиной, где он родился и вырос, где почили навек простые люди — его предки, нависла незримая туча, из которой низверглась первая молния, разрушившая родовое имение его пана.

Через несколько дней в округу нахлынул народ. Это были пильщики и плотники, большею частью немцы, нанятые на спешную работу. По дороге, мимо хаты Слимака, они ехали и шли, то гурьбой, то в строю, как солдаты. Они разместились в усадьбе, выгнали из клетей прислугу, вывели последний скот из загонов и заняли все уголки. По ночам они жгли на дворе большие костры, а утром целой оравой маршировали в лес.

Вначале их работа была незаметна. Но уже скоро, поднявшись на холм и напрягая слух, можно было услышать неясный гул, долетавший из леса. И этот гул изо дня в день становился всё отчётливее, как будто кто-то пальцами барабанил по столу, и, наконец, совсем ясно стали слышны удары множества топоров и треск валившихся деревьев. Лес, казалось, стал ниже; его волнистые очертания менялись, исчезали верхушки, и в тёмнозелёной стене начинали просвечивать — сперва как будто щели, потом окна и, наконец, бреши, через которые проглянуло небо, удивлённое тем, что впервые с тех пор, как стоит мир, оно смотрит в долину с этой стороны.

Лес пал. Остались лишь небо да земля, а на земле кое-где то купа можжевельника, то орешник, то несколько молодых сосенок или ряды бесчисленных пней да ещё целые горы поваленных деревьев, с которых спешно обрубали сучья. Никого из всего этого зеленого царства не пощадил хищный топор.

Одно за другим погибали могучие деревья; их оплакивали лишь ночной туман да стонавшие птицы, согнанные с родного гнезда.

Старше леса и крепче дубов были огромные камни, во множестве разбросанные по окрестным полям. Мужики их не трогали, потому что ни один из них нельзя было сдвинуть с места и потому что они им ни на что не были нужны. К тому же в народе ходило поверье, что ещё в первые дни творения восставшие демоны швыряли этими камнями в ангелов, а поэтому их лучше не трогать, иначе на весь край может обрушиться беда. Так они и лежали, поросшие мохом, каждый на своём месте, среди густой травы. Разве только пастух, ночуя в поле, разведёт иной раз у камня костёр, или в полдень усталый пахарь

ляжет под ним отдохнуть, а подчас разыгравшаяся жадность толкала человека искать под камнем зарытый клад.

Теперь же и для них пришёл последний час. В то самое время, когда рубили лес, какие-то люди стали бродить возле седых камней. В деревне сначала думали, что немцы ищут клад, но вскоре Ендрек выяснил, что они сверлят камни.

— Ну, и дурачье эти швабы: охота им вернуть дыры в камнях, — перемывая посуду, сказала как-то Слимачиха, обращаясь к Собесской. — Холера их знает, для чего им это понадобилось?..

— Эх, кума, я-то знаю, для чего они это делают, — ответила бабка, мигая красными глазами.

— Для чего же? Разве что по глупости!

— Нет! — стала объяснять Собесская. — Они для того вертят, что они, вишь, слышали, будто в камне сидит жаба...

— Ну, а что дальше? — спросила Слимачиха.

— Вот, они и хотят посмотреть, правда ли это.

— Да им-то на что?

— А холера их знает! — ответила Собесская, да так убедительно, что Слимачиха вынуждена была признать вопрос исчерпанным.

Однако немцы жаб не искали; просверлив дыру, они закладывали туда два патрона, присыпали сверху песком и взрывали камни. Целый день продолжалась канонада; гул её отдавался в самых отдалённых уголках долины, возвещая всем и каждому, что даже скалы не могут устоять против немцев.

— Крепкий народ — эти швабы! — буркнул Слика, разглядывая раздробленную глыбу.

И он подумал о колонистах, которые, купив господское имение, хотели купить и его землю.

— Что-то их не видать, — прибавил он. — Может, и вовсе не приедут?

Но колонисты приехали.

Однажды — это было в начале апреля — Слимак, как всегда, вышел на рассвете из хаты помолиться и взглянуть, какая будет погода. Восток уже светлел, побледнели звёзды, и только зорька, словно драгоценный камень, сверкала на небе, а на земле щебетом встречали её проснувшиеся птицы.

Всматриваясь в туман, который, словно снег, выбелил луга и поля, мужик шептал молитву: «Слава в вышних богу и на земле мир». Вдруг откуда-то сверху, с полей, донёсся шум. Скрипели медленно едущие возы, громко разговаривали люди.

Побуждаемый тревогой и любопытством, мужик взбежал на холм, увенчанный сосной, и увидел необычайное зрелище. Тянулась длинная-длинная вереница возов, крытых парусиной, изпод которой то выглядывала какая-то голова, то высывалась мебель или земледельческое оружие. Люди в длинных синих кафтанах и в фуражках шли рядом с возами или сидели на козлах, упираясь ногами в вальки. За возами брели привязанные коровы или кучкой бежали свиньи. В самом конце вереницы катилась тележка, чуть побольше детской; в ней, касаясь ногами земли, лежал мужчина, а тележку тащили — по одну сторону дышла — пёс, по другую — женщина.

«Швабы едут, — подумал Слимак, но он тотчас отогнал эту мысль. — А может быть цыганы? — Нет... цыганы — те ходят в красном, а эти в синем да в жёлтом. А может дровосеки? Но дровосеки не тащат за собой скотину; да и к чему им сюда идти, раз леса уже нет?..»

Так бился мужик со своими мыслями, а вернее, — боялся одной: что это колонисты, купившие помещичью землю.

— Они или не они? — гадал он, не сводя глаз с дороги.

Между тем немцы спустились вниз и на минуту скрылись из виду. Мужик протёр глаза. Может, они растаяли в дневном свете, а может, провалились сквозь землю. Нет, куда там!.. Повалял ветер и снова донёс медленный стук колёс, гомон и скрип возов. Снова из-за холма показались морды лошадей, синие фуражки возниц, серый холст телег и головы немок в пёстрых платках. Земля шаг за шагом уходит назад под копытами тощих лошадей. С шумом и с криками въезжают они на последний холм; яркое солнце заливает их золотыми потоками света, песней встречают их жаворонки, которых осенью они будут ловить и есть.

Далеко позади, там, где уже не мелькали огромные тени возов и где в тумане чернел лес, послышался звон колокола. Сзывал ли он, как всегда, народ на молитву или возвещал о нашествии врага?..

Слимак оглянулся. В хатах, по другую сторону долины, двери были заперты, во дворах никого не было видно, и, наверное, никто бы не выбежал за ворота, если бы крикнуть: «Гляньте, мужики, сколько немцев валит!» Деревня ещё спала.

Теперь вереница возов, набитых крикливыми немцами, потянулась мимо хаты Слимака. Усталые лошади плелись медленно, несмотря на сыпавшиеся удары, коровы еле волочили ноги, свиньи, повизгивая, поминутно спотыкались. Только люди были довольны, они смеялись, громко переговаривались и рукою или кнутом

указывали на долину. Наконец возы спустились вниз, проехали мост и свернули налево, в открытое поле.

Лишь через несколько минут показалась тележка, запряженная собакой и женщиной, и остановилась у ворот хутора Слимака. Тяжело дыша, огромный пёс повалился на землю, мужчина с трудом приподнялся в тележке и сел, а женщина, сняв с шеи шлею и утирая со лба пот, устала на хату.

У мужика сердце защемило от жалости. Он спустился с холма и подошёл к путникам.

— Вы откуда будете и что вы за люди? — спросил он.

— Мы колонисты, идем из-за Вислы, — ответила девушка. — Наши купили здесь землю, вот мы и едем к ним.

— А вы-то купили землю?

Девушка пожала плечами.

— Видно это у вас обычай такой, что бабы мужиков возят? — продолжал спрашивать Слимак.

— Что же делать, раз лошади у нас нет, а пешком отцу не дойти.

— Это ваш отец?

Девушка кивнула головой.

— И такой хворый?

— Да.

Мужик призадумался.

— Это он, стало быть, побирается, потому и ездит?

— О нет, — ответила она. — Отец учит детишек, а я, когда время есть, шью на людей, а когда нечего шить, нанимаюсь работать в поле.

Слимак с удивлением поглядел на неё и сказал:

— Сами-то вы, видать, не немцы? Ишь, как чисто говорите по-нашему.

— Мы из немцев, — ответила девушка.

— Мы немцы, — в первый раз откликнулся человек в тележке.

Во время этого разговора из хаты выглянула и подошла вместе с Ендреком к воротам Слимачиха.

— Экий здоровый пёс! — воскликнул Ендрек.

— Ты лучше погляди, — обратился к нему Слимак, — как эта пани всю дорогу больного отца тащит в тележке. А ты, паршивец, небось, не повёз бы?

— Зачем мне везти? Лошадей у вас нет, что ли? — ответил мальчишка.

— И у нас была лошадь, а сейчас нету, — пробормотал мужчина в тележке.

Это был худой, бледный человек с рыжими волосами и рыжей бородкой.

— Вам бы передохнуть да поесть с дороги, — обратился Слимак к его дочери.

— Я не хочу есть, — сказала девушка, — а вот отец, пожалуй, выпил бы молока.

— Ендрек, сбегай за молоком, — распорядился Слимак.

Ендрек принёс молоко и подал девушке, которая напоила отца.

— Спаси вас бог! — вздохнул больной. — Добрые вы люди.

— Только бы от вас не было нам худа, — вполголоса проговорила Слимачиха.

— А что мы вам можем сделать? — спросил больной. — Землю у вас отнимем? Или скотину будем гонять на траву? Или воровать пойдём да разбойничать? У нас люди смирные, никому поперёк дороги не станут, только бы к ним не лезли. . .

— Купили же вы землю, — попрекнул его Сликак.

— А зачем её продал ваш пан? — возразил больной. — Если бы этой землёй, вместо одного пана, который ничего не делал, а только деньги мотал, если бы, говорю, этой землёй владело человек тридцать мужиков, наши бы сюда не пришли. И почему вы сами не купили у него всей деревней? Деньги у вас такие же, как у нас, и такие же права, как у нас. Вы тут живёте испокон века, а не подумали о том, что имение можно купить, покуда не пришли сюда колонисты из-за Вислы. А теперь, когда наши купили землю, вы недовольны.

Задохнувшись, он опустил голову на грудь, разглядывая исхудалые руки.

— Да вот один из ваших хочет выманить у меня землю, — сказал Сликак.

— То-то и есть, — подтвердила Слимачиха.

— Кто же это? — спросил больной.

— Я почём знаю, кто? — ответил Сликак. — Были они у меня уже два раза — один старик и один бородатый. Польстились на мою гору. Говорят, ветряную мельницу хотят на ней ставить.

— Это Гаммер, — вполголоса промолвила девушка, глядя на отца.

— А, Гаммер, — повторил больной. — Он и нам наделал хлопот, — прибавил он вслух. — Наши хотели идти за Буг. Там отдают землю по тридцать рублей за морг, а он потащил сюда, потому что у вас строят железную дорогу. Ну, наши и купили здесь землю по семьдесят рублей за морг, по уши задолжали теперь еврею, и бог знает, что из всего этого выйдет.

Тем временем девушка достала краюху чёрного хлеба, поела сама и покормила собаку,

глядя в ту сторону, где среди поля расположились лагерем колонисты.

— Поедем, отец, — сказала она.

— Поедем, — согласился больной. — Сколько с нас следует за молоко? — спросил он Слимака.

Мужик пожал плечами.

— Ежели бы мы хотели с вас деньги брать, — сказал он, — так не стали бы вас потчевать.

— Ну, спаси вас господь за вашу доброту, — проговорил больной.

— Счастливым путь! — ответили супруги.

Больной со стоном улёгся в тележку, девушка накинула шлею на правое плечо, через грудь под левую руку, собака поднялась с земли и встряхнулась, точно показывая, что она готова двинуться в путь.

— Спаси вас бог, будьте здоровы!.. — простился больной.

— Поезжайте с богом!

Тележка медленно покатила к лагерю.

— А чудной народ эти немцы, — сказал Слимак, обращаясь к жене. Сам-то какая голова, а едет в тележке, словно нищий.

— И она то же самое, — подтвердила Слимачиха. — Где это слыхано? Ведь, небось, сколько вёрст везла на себе старого... будто лошадь!

Обменявшись впечатлениями, супруги вернулись домой. Разговор с больным их успокоил. Немцы уж не казались им теперь такими страшными, как прежде.

После завтрака Овчаж отправился на гору пахать землю под картошку; вслед за ним Слимак тоже выскользнул из хаты.

— Ты куда? Тебе же плетень надо ставить! — окликнула его хозяйка.

— Ничего, не убежит! — ответил мужик и

поскорее захлопнул за собой дверь, боясь, как бы жена его не воротила.

Он, съёжившись, пробежал двор, стараясь казаться как можно меньше, и, крадучись, взобрался на холм, где уже потел над плугом хромой Матек.

— Ну, что швабы? — спросил он батрака.

Слимак уселся на краю косогора, так, чтобы со двора его не было видно, и осторожно закурил трубку.

— Сели бы вы сюда, — показал Матек кнутом на выступ возле себя, — и на меня бы пахнуло малость дымом.

— Да что там — дым! — ответил, сплёвывая, хозяин. — Вот кончу, дам тебе трубку, накуришься вволю. Мне незачем торчать па виду, — только бабе глаза мозолить.

Матек пошёл бороздой, понукая лошадей, а Слимак сидел на косогоре и смотрел. Он сидел, облокотившись на колено, положив голову на руку, так что шляпа у него съехала на затылок, и, потихоньку покуривая трубку — пф-пф, — смотрел...

Шагов за сто от него, на противоположном берегу реки, среди поля, немцы разбили лагерь. Слимак всё курил свою трубку, стараясь не упустить ни одного движения немцев.

Немцы уже выстроили квадратом фургоны, образовавшие как бы загон для лошадей и скотины, вокруг суетились люди. Один тащил переносную кормушку на четырёх ножках и ставил её коровам, другой насыпал зерно из мешка, третий с ведрами шёл за водой на реку. Женщины доставали из фургонов железные котелки и мешочки с сухарями, дети гурьбой бежали в овраг собирать хворост.

— Ну, и наплодили они ребят! — заметил Сликак. — У нас во всей деревне столько не наберётся.

— Словно вшей, — поддакнул Матек.

Мужик всё курил свою трубку и не мог надивиться. Колдовство это, что ли?.. Вчера ещё в поле было пусто и тихо, а нынче — чистая ярмарка! Люди на реке, люди в оврагах, люди на нивах. Рубят кустарник, несут вязанки хвороста, разводят костры, кормят и поят скотину. Один немец уже открыл лавку на возу и, видно, хорошо торгует; женщины толпой обступили его и тянутся кто за солью, кто за уксусом, кто за сахаром. Уже молодки-немки укрепили зыбки на кольях и одной рукой мешают в котле суп, а другой качают люльку. Нашёлся и коновал, осматривающий зашибленную ногу у лошадёнки, уже цырюльник бреет старого шваба на подножке фургона. В поле шум, суета, кипит работа, а в небе всё выше поднимается солнце.

Сликак повернулся к Овчажу.

— Матек, видишь, как они ловко работают? От нас, из хаты, до оврагов поближе, чем от них, а наши за хворостом ходят полдня. Эти же, псякрев, раз-раз — уж и обернулись...

— Ого-го!.. — ответил Матек, чувствуя, что это камушек в его огород.

— Да ты погляди, — продолжал Сликак, — как они всей деревней работают. Бывает, и у нас выходят всем миром, но всякий ковыряется сам по себе и норовит почаще отдохнуть, а то и другим помешать. А эти так и выются, как черти, точно один подгоняет другого. Тут ты хоть с ног будешь валиться, а не станешь лодырничать, раз один суёт тебе в руки работу, другой же дожидается и стоит у тебя над душой, чтобы ты скорее кончал. Ты погляди-ка да сам скажи.

Он отдал Овчажу недокуренную трубку и в раздумьи вернулся домой.

— Ловкий народ — эти швабы, — бормотал он, — ох, какой хитрый. . .

Около полудня из лагеря пришли два колониста и стали просить Слимака продать им масла, картофеля и сена. Масло и картофель он продал им, не торгуясь, но сена дать отказался.

— Ну, хоть возик соломы, — попросил один из них.

— Не, ни соломины не дам, у самого нет, — отвечал Слимак.

Колонист в гнев швырнул шапку оземь.

— А, старый шорт этот Гаммер! — крикнул он, — какой огоршение он нам устраиваль!.. Говориль, старый шорт, што ми тут найдём много овин и амбар, и сено, и всё найдём, а ми ничего не нашёл. . . В усадьбе сено нет, а во флигель сидель еврейский батрак и говориль: «Ми отсюда не будем уходиль!»

Когда колонисты с мешками картошки на спине выходили из ворот в сопровождении всей семьи Слимака, на дороге показалась бричка и в ней двое давно знакомых немцев: старик и бордатый. Это были Гаммеры. Колонисты, сбросив мешки, с криком остановили бричку.

О чём они говорили, Слимак не понимал. Но он видел, что колонисты очень рассержены и что они показывают руками то на его хату, то на усадебные постройки. Один раз они даже повернулись к нему, говоря по-польски:

— Самий глупий знает, что человек может спать очень плохо, но животный это не может и не выдержит в поле в холодный ночь!.. С такой порядок пройдёт один год, и всё будут брать шерти. . .

Потом они снова кричали по-немецки поочерёдно — то один, то другой, — даже в вспышках гнева сохраняя как будто организованность и порядок.

Зато оба Гаммера остались совершенно спокойными. Терпеливо и внимательно слушали они брань колонистов, лишь изредка вставляя словечко в ответ. А когда колонисты устали кричать, слово взял младший Гаммер. Его краткая речь, видимо, успокоила их гнев: они пожали руки отцу и сыну, вскинули на спину картофель и с прояснившимися лицами отправились в лагерь.

— Как поживаете, хозяин? — крикнул из брички старый Гаммер. — Ну, что, сторгуемся?

— Нет.

— Зачем вы к нему пристаёте? — нетерпеливо прервал его сын. — Он ещё сам к нам придёт.

— Нет, — повторил Слика, прибавив вполголоса: — Вот пристали, прохвосты!..

Бричка покатила дальше. Слика поглядел ей вслед, подумал и, наконец, сказал, обращаясь к жене:

— Ну и народ — эти швабы!.. Гаммеры — те, видно, господа, а эти, что картошку у нас брали, мужики, а ведь друг дружке руку дают, запанибрата. У нас, если кто поссорится, то не станет слушать другого, а эти, псякрев, хоть и сердятся, а друг дружку выслушают, поймут, всё у них и уладится.

— Да что ты, старик, всё только похваливаешь немцев, — прервала его жена, — а о том не думаешь, что они у тебя землю хотят отнять. Побойся ты бога, Юзек...

— Что они мне сделают? Пусть болтают, а я что знаю, то знаю. Разбоем они брать не станут.

— Кто их знает! — ответила баба. — Я вижу одно: их вон сколько, а ты один.

— На все воля божья! — вздохнул мужик. — Соображать-то они соображают, пожалуй, лучше моего, а вот насчёт упорства — куда им!.. Ты вот прикинь, — продолжал он, подумав, — экая сила дятлов налетит иной раз на дерево, и все его долбят. А что с этого?.. Дятел посидит-посидит, да и улетит, а дерево — оно и останется дерево. Так и мужик. Пан насядет на него и давай долбить, волость насядет — тоже долбит, немец насядет — опять долбит, а, всё равно, против мужика им не устоять.

Под вечер к Слимакам прибежала старуха Собесская.

— Ох, дайте-ка напёрсточек водки, — закричала она ещё с порога, — а то у меня дух заняло, так я к вам поспешала с новостями...

Ей налили напёрсток, который и великан не постеснялся бы надеть на свой палец; бабка выпила и начала:

— Ну, и дела у нас в деревне! — Господи Иисусе! настал судный день!.. Старый Гжиб уговорился с Ожеховским на тот случай, если колонисты не приедут, чтобы они — стало быть, Гжиб да Ожеховский — купили влуки четыре или пять усадебной земли... Дайте-ка ещё напёрсточек, а то внутри так и сосёт, даже говорить не могу.

Она опрокинула в себя второй напёрсток и продолжала:

— Тем временем, скажу я вам, колонисты внесли еврею половину денег за землю, а нынче, вишь, пришли сюда на постоянное жительство. Как увидел это мой Гжиб, схватился за свои лохмы, бросился к шинкарю и — ну его кистить: «Ах ты мразь, говорит, так ты и меня надул? Ты

что говорил? будто немцы в срок не заплатят, задаток их пропадёт, а землю куплю я?.. Посмотри же (а сам тащит его к окну), ведь немцы всей оравой пришли?» А шинкарь ему: «Ну, ещё неизвестно, долго ли они здесь просидят, потому что они всё время ссорятся с Гаммером и, наверное, с ним разойдутся». А тут как раз Ожеховский принёс весть, что Гаммеры приехали и что немцы с ними уже помирились.

«Гжиб, скажу я вам, до того остервенел, что даже морда у него посипела, он только кулаками стучит да орёт: «Я этих крыс выкурю отсюда!.. Приехали, — кричит, — на возах, а бежать будут босиком!..» Йосель оттащил его за рукав и повёл в чулан вместе с Ожеховским, там они чего-то сговаривались потихоньку».

— Дурак он, — сказал Слимак. — Раз уж он не успел во-время купить, нынче ему не одолеть немцев. Это народ оборотистый.

Разомлевшая от водки бабка, покачиваясь, смотрела на Слимака.

— Не одолеть?.. — говорила она. — Налейте мне ещё напёрсточек... Ну, он не одолеет, так шинкарь одолеет, а не шинкарь, так его шурин... Налейте-ка напёрсточек. Налейте, а то что-то мутит. Ох, много я чего навидалась в проклятой корчме... Если бы этот шинкарь не жил в нашей деревне, все бы об этом кое-что знали...

Тут она сначала забормотала, потом зашептала, наконец, свалилась с лавки и уснула на полу сном праведника.

— Что это она болтает? — спросила мужа Слимачиха.

— Известное дело, — пьяная, — ответил мужик. — Подслуживается к еврею, вот и думает, будто он может сделать всё, чего захочет.

Когда настала ночь, Слимак снова поднялся на холм поглядеть на лагерь колонистов. Люди уже забрались в свои фургоны, загнав скотину в огороженное пространство, и только табун лошадей пасся на лужайке возле оврага. Временами ярче вспыхивало пламя в догорающих кострах, ржала лошадь или раздавался окрик усталого часового.

Слимак вернулся домой, бросился на постель, но спать не мог. В темноте он совсем упал духом и с тревогой думал — сможет ли он один, живя на отлёте, противостоять целой ораве немцев?

«Ещё, пожалуй, нападут на меня... или подожгут...» — размышлял он, ворочаясь с боку на бок.

Вдруг, около полуночи, вдали прогремел выстрел. Слимак вскочил. Выстрелили второй раз. Он бросился во двор и наткнулся на перепуганного Овчажа. За рекой раздавались крики, ругань, топот лошадей.

Понемногу суматоха улеглась, но в лагере не спали до утра. На другой день Слимак узнал от колонистов, что какие-то неизвестные люди забрались ночью к ним в стадо. Мужик удивился.

— О таких штуках, — сказал он, — у нас ещё не слыхивали.

— Вы ведь своих лошадей запираете, — ответил один из колонистов. — А воры, видно, рассчитывали ещё на то, что мы с дороги проспим. Но нет, мы-то не проспим, — прибавил он смеясь.

Весть о нападении на лагерь колонистов мигом облетела округу, обрастая в каждой деревушке всё новыми подробностями. Рассказывали,

что появилась банда конокрадов, которые переправляли краденых лошадей чуть ли не в Пруссию, что немцы всю ночь сражались с ними и нескольких человек убили. Через несколько дней слухи эти дошли, наконец, до полицейского вахмистра. Он тотчас распорядился запрячь в бричку раскормленную кобылку, захватил с собой бочонок, два-три мешка и отправился производить следствие.

Немцы угостили его в лагере отличной водкой, настоенной на можжевельнике, и копчёной свиной, а Фридрих Гаммер объяснил, что, по его соображениям, к их лошадям подкрадывались двое бывших дворовых, которые остались без работы: конюх Куба Сукенник и буфетный мальчик Ясек Рогач.

— Оба они сидели, — заметил вахмистр, — за кражу дверных ручек и печных заслонок. Но были выпущены за отсутствием улики... А кто тут из вас в них стрелял? — прибавил он строго. — Имеется ли у вас разрешение на оружие?

Увидев, что дело принимает щекотливый оборот, Гаммер отвёл вахмистра в сторонку и представил ему такие убедительные объяснения, что тот сразу уехал. Он только порекомендовал бдительнее охранять лошадей и ещё раз повторил, чтобы колонисты, не имеющие разрешения, не держали оружия.

— А что, пан, дом вы скоро постройте? — спросил вахмистр, уезжая.

— Да через месяц, думаю, ферма будет готова, — ответил Гаммер.

— Очень хорошо!.. Прекрасно!.. Тогда вспрыснем.

Из лагеря вахмистр отправился в усадьбу;

при виде его веснушчатый представитель Гиршгольда так обрадовался, что тут же выставил бутылку крымского вина. Однако на вопросы, касающиеся кражи, он не мог ответить ничего удовлетворительного.

— Ой, пан, — сказал еврей, — я как услышал, что стреляют, сейчас же схватил в одну руку один револьвер, в другую — другой и всю ночь не смыкал глаз, опасаясь, что на меня нападут.

— А разрешение на револьвер у вас имеется?

— А как же? Конечно, имеется...

— На оба?

— Второй испорчен. Я ношу его только так, для вида.

— Сколько рабочих у вас в настоящее время?

— Тех, что возятся в нашем лесу?.. Иной раз бывает до ста и больше, иной раз до восьмидесяти. Как придётся.

— Паспорта у всех в порядке?

Представитель немедленно дал ему исчерпывающее объяснение относительно паспортов, после чего вахмистр стал прощаться. Усаживаясь в бречку, он сказал:

— Смотрите, пан, теперь берегитесь: раз уж завелись воры в деревне, они никого не пропустят. Ну, а в случае чего — первым делом сообщите мне.

Последние его слова так напугали представителя, что с этого времени он стал на ночь брать к себе во флигель двух евреев, которые до сих пор ночевали в доме.

Из усадьбы вахмистр повернул кобылку к хате Слимака. В то время как хозяйка пересыпала крупу в горшок, в дверях показалась тучная фигура вахмистра.

— Слава Иисусу Христу, — сказал он. — Ну, что у вас слышно?

— Во веки веков, — ответила Слимачиха, — да так, ничего.

Вахмистр посмотрел по сторонам.

— Ваш хозяин дома? — спросил он.

— А куда ему деваться? Ендрек, сбегай-ка за отцом.

— Отличная крупа. Сами драли?

— А как же.

— Насыпьте-ка мне с гарнец в мешочек. Я как буду в другой раз, заплачу.

— А мешочек, пане, есть у вас?

— Есть, там в бричке. Может, заодно и курочку продадите?

— Можно.

— Так выберите, какая помоложе, и положите туда же, под козлы.

Вошел Слимак, а баба занялась поручениями начальства.

— Что, хозяин, не слышали, кто это хотел у немцев лошадей украсть? — спросил вахмистр.

— Я почём знаю? — ответил Слимак, пожимая плечами. — Слышал я ночью, как два раза выстрелили, на другой день рассказывали, будто кто-то подбирался к их лошадям. А уж кто — не знаю.

— В деревне говорят, что Куба Сукенпик и Ясек Рогач.

— Не знаю. Слышал я, что они ищут себе работы, да найти не могут, потому что сидели за кражу.

— Водочки у вас не найдётся? Пылища так и дерёт глотку...

Слимак подал водку и хлеб с сыром. Вахмистр выпил, немного отдохнул и собрался уезжать.

— Вы тут, на выселках, остерегайтесь, — сказал он на прощанье, — а не то либо вас обворуют, либо самих же посадят за воровство.

— До сих пор бог миловал, — ответил Слика. — У нас ничего не воровали, да и мы никого не трогали; так оно, верно, и дальше будет.

Вахмистр направился к Иоселю. Шинкарь принял его с восторгом, велел отвести кобылку в конюшню, а гостя пригласил в самую лучшую горницу, похваляясь тем, что все свидетельства у него в полном порядке.

— А вывески, как это полагается, над воротами нет, — заметил гость.

— Сейчас будет, если пан-вахмистр велит. Сейчас будет! — ответил шинкарь, стараясь за усиленной вежливостью скрыть внутреннее беспокойство.

За бутылкой портера вахмистр упомянул о нападении на лагерь.

— Тоже нападение! — насмешливо сказал Иосель. — Немцы постреляли для устрашения, а люди говорят, что на колонистов напала целая банда. Ведь у нас никогда таких вещей не случилось.

Вытерев платком усы и румяное лицо, вахмистр сказал:

— Банда, не банда, а, как ни как, Куба Сукенник и Ясек Рогач вертелись около лошадей.

Иосель поморщился и прищурил глаз.

— Как это они могли вертеться, — ответил он, — когда в эту ночь они ночевали у меня.

— Ночевали? — переспросил вахмистр.

— Да, — небрежно ответил Иосель. — Ожеховский и Гжиб сами видели, как уже с вечера оба они были пьяны, как скоты. И что им де-

лать, — прибавил он, подумав, — как не пить? Если нет у мужика постоянной работы, то всё, что он заработает днём, он к ночи, конечно, пропьёт.

— Среди ночи они свободно могли удрать, — заметил вахмистр.

— Может и удрали. Хотя ночью конюшня у меня заперта, а ключ всегда у Мишуреса.

Разговор перешёл на другие темы. Вахмистр просидел с часок у Иоселя, а когда кобылка его отдохнула, велел запрягать. Уже сидя в бричке, он сказал шинкарю:

— А ты, Иосель, присматривай за Сукенником и Рогачом. . .

— Чтò я им — отец, или разве они у меня служат? — спросил еврей.

— Не то, что служат, а как бы они тебя не обворовали; это такой уж народ. . .

— Я буду иметь в виду.

Разместив мешки и бочонок так, чтобы они не мешали, вахмистр повернул домой. По дороге он задремал, и в полудрёме ему всё мерещились то Сукенник и Рогач, то шинкарь Иосель. Он видел Рогача с железными печными заслонками в руках, видел Сукенника с медными ручками, то их обоих вместе среди табуна лошадей, и всякий раз где-то около них бархатную ермолку или сладко улыбающуюся физиономию Иоселя. Минутами, словно из тумана, всплывало лицо молодого Гжиба или седая голова его отца. Тогда вахмистр вдруг просыпался и в изумлении озирался вокруг. Но, кроме кобылки, белой курицы под козлами да придорожных деревьев, ничего не было видно.

— Тьфу! — сплюнул он, — экий бред. . .

В деревне день ото дня исчезала надежда на скорый уход немцев с помещичьей земли. Сна-

чала рассчитывали, что они не внесут в срок деньги Гиршгольду, но они внесли. Потом поговаривали, будто они ссорятся с Гаммерами, но они помирились. Предполагали, что они испугаются воров, подбравшихся к их лошадям, но они не только не испугались, но сами нагнали страху на конокрадов.

— А всё-таки им тут не по себе: не видать, чтобы они строились. Землю и ту ещё не размежевали.

Это замечание высказал однажды вечером в корчме Ожеховский и запил его огромной кружкой пива. Но не успел он рот утереть, как что-то загрохотало и к дому в краковской бричке подкатил землемер. Трудно было предположить, что это кто-нибудь другой, — так туго была набита его бричка колышками, мерными лентами и другими принадлежностями. Да и Гжиб, который раньше имел с ним дело, сразу его узнал; узнали и другие мужики — по его обвислым усам и красному, как барбарис, носу.

Когда расстроенный Гжиб провожал до дому Ожеховского, тот сказал, стараясь его утешить:

— А что, кум, может он — землемер, то есть — не к нам в деревню приехал, а так, завернул по пути переночевать?

— Дал бы бог, — ответил Гжиб. — Ох, хотел бы я, чтобы поскорей поженились наши дети и остепенился этот щенок, Ясек.

— Пу, купим им землю в другом месте, — предложил Ожеховский.

— Ни к чему это. Если за этим разбойником не смотреть в оба, он и землю продаст и сам пропадёт ни за что.

— Моя Павлинка за ним присмотрит.

— Вы, кум, ещё не знаете, — печально сказал Гжиб, — какой это пёс. И вы, и я, и Павлинка —

все трое будем смотреть, и то не усмотрим. Хоть бы этот шелопай одну ночь дома переночевал. Иной раз случается, что я по неделе его не вижу!..

Мужики распрощались, и оба легли спать, надеясь в душе, что землемер попал в деревню только проездом. Однако на следующий день им пришлось убедиться в своей ошибке. Чуть свет землемер встал, взял из корчмы связку кольев, жестяную трубку с планом, оплетённую флягу с самой крепкой горелкой и отправился на помещичьи поля.

В течение нескольких дней он расхаживал взад и вперёд в сопровождении целой ватаги немцев. Одни из них несли — впереди или позади него — длинные жерди, другие тянули мерную ленту, кто-то сооружал ему из колышков табурет, иные бесцеремонно заглядывали ему через плечо. Он гонял людей направо и налево, записывал у себя в тетрадке, чертил на доске, а когда припекало солнце, раскрывал над головой зонт или, при переходе на новый участок, жадно тянулся к своей оплетённой фляге.

Мужики издали присматривались ко всем этим манёврам и молчали. Наконец на четвёртый день заговорил Вишневский:

— Если бы я, псякрев, выдул столько водки, так, пожалуй, смерил бы лучше, чем сам землемер!

— Оттого он и землемер, — отозвался Войтасюк, — что башка у него крепкая.

Слимак тоже видел землемера, видел, как после его отъезда немцы сняли парусину с нескольких фургонов, запрягли в них лошадей и разъехались на все четыре стороны.

«Может, уезжают?» — подумал он.

Но они вернулись через несколько часов, медленно двигаясь с тяжёлою кладью, и принялись разгружать её: в одну кучу — бревна, в другую — доски, в третью — щебень. И так, в течение двух дней, они свозили лес, камень и известь, сваливая их в отдельные кучи на холме близ лагеря, в какой-нибудь сотне шагов от хутора Сливака.

В то же время все три Гаммера обходили холм, отмечая колышками квадратную площадку размером около двух моргов.

Через несколько дней в лагере вдруг началось какое-то волнение. Из лесу показалось человек двадцать плотников в синих брюках и куртках, с пилами, свёрлами, топорами. Одновременно навстречу им из лагеря вышла группа кололистов-каменщиков с мастёрками и ведёрками, а позади, на некотором расстоянии, сбившись в кучу, шли женщины, дети и колонисты-мужчины, разодетые по-праздничному. Все три группы собрались у подножья холма, где на одном возу стояла бочка пива, а на другом была навалена груда хлеба и колбасы.

Старик Гаммер был в выцветшей куртке из манчестера, старший его сын, Фриц, — в чёрном сюртуке, на младшем, Вильгельме, была пунцовая жилетка с красненькими цветочками. Все трое казались очень озабоченными. Отец встречал гостей, перебегая от плотников к каменщикам, от каменщиков к женщинам; Фриц складывал в кучу толстые колья, а Вильгельм откупоривал бочку с пивом.

На хуторе Сливака эти приготовления первым заметил Овчаж и тотчас же дал знать в хату. Вся семья бросилась на холм: впереди Ендрек, потом Сливак с женой, позади Магда со

Стасеком. Они стояли на косогоре и с любопытством ждали, что произойдёт в лагере, на том берегу.

— Верно вам говорю, дом будут строить, — сказал Слимак, — ишь, сколько рабочих нагнали.

В эту минуту старик Гаммер, поздоровавшись, наконец, со всеми гостями, взял один кол и стал вбивать его в землю деревянным молотком.

— Гох!.. Ура!.. — закричали плотники и каменщики.

Гаммер поклонился, взял другой кол и понёс его прямо на север.

За ним следовал Фриц с молотком, а за Фрицем толпа колонистов, женщин и детей, которых вёл какой-то мужчина. Присмотревшись, Слимаки узнали того учителя, которого привезла в тележке его дочь с собакой.

Вдруг учитель высоко поднял шапку, мужчины обнажили головы, и толпа на ходу запела торжественный гимн:

Нам бог твердыня и оплот,
В нём мощь и упование,
Спасёт он верный свой народ
В минуту испытанья.

При первых звуках песни Слимак снял шапку, Слимачиха перекрестилась, Овчаж смиренно опустился в сторонке на колени. Стасек, дрожа от восторга, широко раскрыл рот и глаза, а Ендрек мигом спустился с горы, перешёл вброд реку и бегом помчался к лагерю.

Глубокую задумчивость Слимака внезапно прервал крик Стасека.

— Поют, мама, поют, — повторял мальчик окрипшим голосом, трясясь всем телом и плача.

Вдруг он побледнел, губы у него посинели, и он упал наземь.

Родители в испуге подняли его и осторожно понесли домой, обрызгивая его лицо водой и уговаривая успокоиться. Они знали, что мальчик необыкновенно чувствителен к музыке, что в костёле всякий раз во время торжественных богослужений он смеётся и плачет, но в таком состоянии они ещё не видели его никогда.

Только дома, когда пение в лагере смолкло, Стасек затих и уснул.

Переходя реку, Ендрек вымок до пояса, промочил шляпу и рукава рубашки, перепачкался в песке на берегу, и хотя в мокрой одежде ему было холодно, он не замечал этого, так как весь был поглощён невиданным зрелищем.

«Чего это они все ходят вокруг холма да поют? — думал он. — Видно, нечистого отгоняют, чтобы к ним в хату не лез. У швабов, известное дело, ни зелья, ни освященного мела нет. Поэтому они и вбивают колья по углам поля. А что дубовый кол против чорта верней, чем мел, это верно... А может, они так заколдуют это место, что за ночь у них хата сама собой вырастет?..»

Но он тут же отбросил эту мысль, как нелепую. Ендреку уже исполнилось пятнадцать лет, и он отлично знал, что одним пением, без работы, хаты не выстроишь.

Его поразило, что немцы ведут себя по-разному. Расхаживали по полю, распевая гимн и поминутно спотыкаясь на неровной земле, только старики, женщины и дети. А молодёжь — каменщики и плотники — стояла двумя ватагами на холме, с громким хохотом подталкивая друг дружку и покуривая трубки. Один раз даже вся процессия остановилась по их вине. Когда Вильгельм Гаммер, орудовавший над бочкой пива, поднял стакан вверх, молодёжь так гаркнула

«гох!» и «ура!», что старик Гаммер даже оглянулся, а больной учитель погрозил пальцем.

Процессия медленно приближалась к Ендреку; он уже мог различить пискливые детские голоса, скрипучее подвигивание старух и глухой бас Гаммера. И вдруг среди этого нестройного хора послышался чудесный женский голос, чистый, звучный и невыразимо волнующий. Сердце у него так и дрогнуло. В его воображении звуки превращались в образы: ему казалось, что поверх мелкой поросли над засохшими стеблями вознеслось прекрасное дерево — плакучая ива.

Вглядевшись в толпу, он догадался, что пела дочь учителя, которую он увидел впервые, когда она везла в тележке отца. Но тогда его больше занимал огромный пёс, а не она. Сейчас же её голос перевернул ему душу, и он позабыл обо всём. Исчезли поля, немцы, груды брёвен и камня — остался лишь голос, заполнивший собой всё. Что-то дрожало у мальчика в груди, ему тоже захотелось петь, и он вполголоса начал:

Христос воскресе из мертвых,
Смертию смерть поправ...

Эта мелодия больше всего подходила к песне немцев.

Долго ли это продолжалось, он не помнил, весь погрузившись в мечты. Разбудили его новые возгласы «гох!» и «ура!». Кричали гости, собравшиеся у воза с бочкой, когда Вильгельм Гаммер стал подносить им кружки пива. Ендрек разглядел в толпе коричневое платье дочери учителя и машинально подвинулся ближе.

Тут ему пришлось сразу отрезвиться. Какой-то молодой немец указал на Ендрека, другой сорвал с головы у него шляпу, третий толкнул в середину толпы; парни, громко смеясь, стали

перебрасывать его из рук в руки. Промокший мальчишка, запачканный песком, босой, в посконной рубахе, был похож на пугало. В первую минуту, растерявшись, он перелетал от одного немца к другому, как измазанный грязью мяч. Но вдруг он встретил серые глаза дочери учителя, и в нём проснулась дикая энергия. Он пнул босой ногой какого-то плотника, рванул за куртку каменщика, как молодой бычок, боднул головой в живот старика Гаммера и, когда вокруг него стало просторнее, остановился, сжимая кулаки и высматривая, куда бы броситься, чтобы пробить себе дорогу.

Поднялся крик. Одни, потягивая пиво, хохотали над мальчишкой; другие, — те, кого он толкнул, — хотели было его поколотить. К счастью, старик Гаммер узнал его и спросил:

— Ты чего тут скандалишь, малый?

— А зачем они меня швыряют!.. — ответил Ендрек, готовый заплакать.

Немцы о чём-то затараторили, но Гаммер взял мальчика за руку и отвёл в сторону. Тут его заметил учитель и крикнул:

— Ты из той хаты, за рекой?

— Да.

— Что ты тут делаешь?

— А что? Я пришёл поглядеть, как ваши молятся, а эти прохвосты давай меня тормошить..

Он вдруг замолк и покраснел, заметив устремлённые на него серые глаза дочери учителя. Она держала в руке стакан пива и, подойдя к мальчику, подала его ему.

— Ты промок, — сказала она, — выпей.

— Не хочу! — ответил Ендрек и смутился.

Ему показалось, что резко отвечать такой прекрасной пани не совсем хорошо.

— Где ты промок? — спросила она с любопытством.

— В реке, — ответил он тихо. — Бежал к вам сюда через брод.

— На, выпей, — настаивала она, протягивая ему стакан пива.

— Чего доброго, пьяный буду, — ответил мальчик.

Наконец он выпил, взглянул в её смуглое лицо и опять густо покраснел. По губам девушки скользнула печальная улыбка.

В эту минуту заиграли скрипки и контрабас. Тяжело подпрыгивая, к дочери учителя подлетел Вильгельм Гаммер и повёл её танцевать. Уходя, она ещё раз взглянула на Ендрека своими грустными глазами.

Ендрек сам не мог понять, что с ним делается. Страшный гнев и боль сдавили ему горло и ударили в голову. Не то, чтобы ему хотелось броситься на Вильгельма Гаммера и изорвать на нём его цветистую жилетку, но он готов был зареветь в голос. . . Он круто повернулся, решив уйти.

— Уходишь? — спросил его учитель.

— Пойду.

— Поклонись от меня отцу.

— А от меня скажи, что в день святого Яна я отниму у него луг, — вмешался старик Гаммер.

— А разве этот луг ваш? — ответил Ендрек. — Тятя не у вас, а у пана брал его в аренду.

— Ого, пан! . . — засмеялся Гаммер. — Мы теперь тут паны, и луг теперь мой.

Ендрек ушёл. Подходя к дороге, он заметил какого-то мужика, притаившегося за кустом и смотревшего, как веселятся немцы. Это был Гжиб.

— Слава. . . — начал было Ендрек.

— Кого это ты славишь? — перебил его в

гневе старик. — Только уж не бога, а дьявола, раз вы братаетесь с немцами. . .

— Да кто с ними братается? — с удивлением спросил Ендрек.

У мужика горели глаза и вздрагивала на лице морщиная кожа.

— А что же, вы не братаетесь? — сказал он, поднимая кулаки. — Не видел я, что ли, как ты неся к ним, через воду, словно пёс, из-за кружки пива? Не видел я разве, как твой отец с матерью молились на горе заодно со швабами? Дьяволу молились! Господь бог вас уже наказал; вишь, Стасека как скрутило. Но, игоди! Этим ещё не кончится. . . Отступники! псы поганые! . .

Он повернулся и пошёл к деревне, проклиная весь род Слимаков.

Ендрек побрёл домой; он был удивлён и расстроен. В хате он застал больного Стасека, и страх сдавил ему сердце. Он тотчас рассказал отцу о своей встрече с Гжибом.

— Хоть стар, а глуп, — сказал Сликак. — Что ж, я в шапке, что ли, буду стоять, как бык, когда люди молятся, будь они хоть швабы?

— А на Стасека это они навели порчу своей молитвой, — продолжал Ендрек.

Сликак нахмурился.

— Чего там навели? — ответил он помолчав. — У Стасека всегда так было: запоёт баба в поле, его так и трясёт.

На этом разговор окончился. Ендрек повертелся в хате, но ему стало тут тесно, и он убежал к оврагам. Долго он там бродил, без дороги, без цели. То взбирался на холмы, откуда было видно, как немцы гурьбой копали котлован под фундамент, то опять спускался в овраг или пробирался через колючий кустарник.

Где бы он ни был, с ним рядом всюду шла

ть — то была дочь учителя, её смуглое лицо, серые глаза и исполненные грации движения. Иногда, точно откуда-то из глубины, ему слышался то её голос, — сильный и глубокий, — то хриплый голос старика Гжиба, посылающего проклятья.

— Может быть, это опа наколдовала? — шептал он в тревоге и снова думал о ней.

VIII

Никогда ещё Слимак не испытывал такого чувства удовлетворения, как этой весной. Он ото-спался, наконец; посмотрелся всякой всячины, да и денежки так и текли к нему в сундук.

Прежде, бывало, день у него тянулся страшно долго. Нароботается, намучается мужик и едва только бросится в постель да заснёт, как камень, глядь — а уж баба срывает с него одеяло и кричит:

— Вставай, Юзек, день на дворе...

— Какой там день? .. — удивлялся мужик, — я только что лёг.

Вставать до смерти не хотелось, все косточки ныли, но делать было нечего, он протирали глаза, зевал так, что у него в затылке хрустело, и поднимался.

Бывало так тяжело, что подчас хотелось лечь скорее в могилу и упокоиться вечным сном. А тут ещё жена пилит: «Ну вставай! .. да умойся... оденься... смотри, не то опоздаешь, опять у тебя вычтут...»

Он одевался, выводил из конюшни своих лошадёнок, таких же усталых, как он сам, и тащился на работу — в усадьбу или в местечко развозить евреев. Иной раз до того его разморит, что дойдёт он до порога и скажет: «А вот

возьму, да и останусь дома!..» Но он побаивался жены, а кроме того жаль было заработка: без него в хозяйстве концов с концами не свяжешь.

А сейчас — другое дело, сейчас Слимак спит себе вволю, сколько вздумается. Случается, жена по привычке дёрнет его за ногу, приговаривая: «Вставай же, Юзек, вставай!» — Тогда мужик, приоткрыв один глаз, чтобы не разогнать сон, буркнет в ответ: «Отвяжись ты!» — и спит себе хоть до семи часов, когда в костёле звонят к ранней обедне.

Да и на самом деле, вставать ему было незачем. Весенние полевые работы давно уже кончил Матек, евреи из местечка перебрались поближе к постройке, в усадьбу тоже никто не звал, потому что усадьбы уже не было.

Иногда по несколько дней мужик совсем ничего не делал. Покуривая трубку, шатался он по двору или ходил осматривать дружные всходы на полях. Однако самым любимым его развлечением было подняться на холм, лечь под сосной и смотреть, как из земли вырастает, словно гриб, немецкая колония.

К концу мая Гаммер уже совсем построился, у других соседей Слимака — Трескова, Геде и Пифке — закончилась постройка ферм. Приятно было взглянуть на их хозяйство. Каждая ферма стояла посреди поля, и каждая была похожа на другую, как две капли воды. У дороги большой сад, обведённый дощатым четырехугольным забором; к забору с одной стороны примыкает крытый дранкой дом из четырёх просторных комнат, за домом — огромный двор, со всех сторон окружённый строениями.

Все постройки были несравненно выше, длиннее и шире мужицких; вид у них был чистенький, аккуратный, но в то же время жёсткий,

суровый; так казалось, должно быть, оттого, что на мужицких хатах и сараях крыши были четырехскатные, а у немцев — двухскатные.

Зато в немецких домах окна были большие, в шесть стёкол, и двери столярной работы. Ендрек, который постоянно тёрся среди немцев, рассказывал, что в горницах везде настланы полы и что кухни у них отдельные, а печи с железными плитами.

Лёжа под сосной, Слимак присматривался к их хозяйству и мечтал, что когда-нибудь и он построит себе такой же дом, только крышу поставит другую. Но перой среди этих мечтаний вдруг что-то заставляло его вскочить на ноги. Ему хотелось куда-то итти, взяться за любую работу, ему было тоскливо и стыдно, что он ничего не делает, им овладевала внезапная тревога, как будто кто-то спрашивал его: «а что дальше?»

Иногда охватывала тоска по усадьбе, по тем полям, где ещё недавно он ходил за плугом и где сейчас выросла колония. То вдруг одолевал его страх: казалось, что ему не устоять, когда за него примутся немцы; ведь вырубил же они лес и какие камни взорвали; да это что: они и самого помещика выгнали...

Но он скоро собирался с духом и успокаивался. Живёт же он с этими немцами рядом почти два месяца, а ничего дурного они ему не сделали. Работают около своего дома, следят, чтобы скот не лез в чужое поле, и даже ребятишки у них не озорничают, а учатся в доме Гаммера, где поселился больной учитель.

— Ничего, степенный народ, — говорил себе Слимак, — с ними лучше, чем было при помещике.

Лучше потому, что с первого же дня они много покупали у Слимака и хорошо ему платили.

Шутка ли: за это время он продал им двух телят, тринадцать поросят, одиннадцать гусей и шестнадцать мер зерна, а уж птицы, масла, картошки — этого и не счесть. Даже связка заплесневелых грибов — и та пригодилась, и за неё ему заплатили.

Меньше чем за месяц Слимак получил с них рублей сто без всякого труда, а за эти деньги в усадьбе целый год пришлось бы гнуть спину.

Правда, жена не раз говорила ему:

— Неужели ты думаешь, Юзек, что они всегда будут у тебя всё покупать? У них тоже своё хозяйство, да и получше твоего. Не надолго эта прибыль, не дольше, как до осени; ну, скажем — до зимы, а там они и на ломаный грош у тебя не купят.

— Там видно будет, — отвечал мужик.

Но про себя он думал, что если бы немцы у него и вовсе не покупали, он всё равно зарабатывает на тех, что строят дорогу, только бы они поближе подошли. Он даже делал кое-какие закупки. Отобрал для себя двух боровков у Проховского, у Вишневого несколько гусей, а когда немцы стали реже спрашивать масло, велел жене собирать его и солить.

— Ты не бойся, — говорил он, — всё разберут дорожники. Забыла, что нам инженеры говорили?

За время своих поездок по торговым делам он несколько раз встречал Иоселя, и всякий раз тот насмешливо поглядывал на него и улыбался.

«Злобится на меня, — думал Слимак. — Боится, как бы я дорогу ему не перебежал».

Однажды шинкарь остановил его.

— Ну, Слимак, — сказал он, — сделаем с вами дело.

— Чего ещё?

— Постройте на своей земле хату для моего шурина.

— А что он будет делать?

— Он будет торговать с дорожниками. А нет, сами увидите, что немцы всё у вас заберут из-под носа.

Слимак подумал и ответил:

— Нет, не хочу еврея на своей земле. Сколько вы народу заели; пусти только вас к себе.

— С евреем не хотите жить, — сердито сказал Иосель, — а с немцами уже молитесь вместе. Ну, посмотрим, что вы на этом выгадаете.

«Чует старый пёс большие барыши!» — сказал себе Слимак, глядя на еврея, который поблел от злости.

И, не торопясь, продолжал делать закупки. Раз он купил четверть пшена, в другой раз полмеры ячневой крупы, ещё как-то миску сала.

Шатаясь по окрестным деревням (свои мужики ничего не хотели ему продавать), он узнал, что продукты очень подорожали. А когда он спрашивал мужиков и хозяек, отчего они столько запрашивают, ему отвечали:

— Чего ради мы будем вам отдавать по дешёвке, раз не нынче-завтра нам больше дадут.

— Кто ж это вам даст?

— Да те же немцы из вашей деревни.

— Так они у вас покупают? — заинтересовался Слимак.

— И уже с давних пор... Чуть чего побольше отложишь на продажу, сейчас же наезжает немец, ещё раньше еврея, и платит, причём никогда не торгуется. А муки сколько мелют для них на мельнице!.. Всё равно, как на войну.

«Гм! — подумал Слимак, — хлебà-то ещё в поле, а народу у них много, вот они и скупают по деревням».

Торговые операции Сликама и братанье с немцами чрезвычайно не нравились мужикам его деревни. По воскресным дням у костёла мало кто отвечал ему теперь: «Во веки веков». Стоило Сликаму подойти к стоявшим кучей мужикам, как кто-нибудь начинал громко заговаривать об отступниках от святой католической веры, которые могут навлечь на людей гнев божий.

Даже Собесская всё реже забегала к ним в хату, да и то украдкой, а один раз, выпив водки, сказала:

— Чего-то болтают у нас, будто вы совсем перекрестились в швабы... Верно, — прибавила она, помолчав, — господь бог везде один, а всё-таки, что там ни говори, — поганый народ эти швабы!..

Чтобы прекратить сплетни, Сликама, по совету жены, заказал в воскресенье обедню и в тот же день вместе с ней и Ендрекком исповедался у викария. Но и это не помогло. Тотчас же Гжиб у костёла, а вечером Йосель в корчме растолковали мужикам, что не стал бы Сликама молиться с таким усердием, кабы не было у него столько грехов.

— Видать, натворил он дел, раз уж он с бабой ходил на исповедь!.. — гуторили мужики, потягивая пиво.

В конце мая Овчаж сообщил Сликаму, что уже несколько дней подряд, ещё до зари, немцы посылают куда-то пустые подводы. Целый день подвод не бывает дома, а возвращаются они поздно вечером. Затем Овчаж подсмотрел, как Вильгельм Гаммер возит из дому мешки муки, крупу и свиные туши. Сначала едет через ту деревню, где костёл, потом сворачивает в овраг, а уж куда дальше — не разглядеть.

Известия эти снова заставили Сликама вставать раньше и следить с холма за происходящим в окрестностях. Он убедился, что, действительно, чуть свет — из всех немецких колоний выезжают подводы, а куда... этого он не мог сообразить.

Зато, глядя как-то в поле, он заметил чуть правее костёла, у горизонта, какую-то жёлтую точку. К вечеру эта точка увеличилась и на другой день уже казалась чёрточкой; постепенно она росла и, наконец, превратилась в жёлтую полосу, подвигающуюся к Бялке. Одновременно он узнал от Ендрека, что подводы немцев, возвращаясь с работы, испачканы песком и глиной.

— А ты не спросил, куда они ездят? — поинтересовался Сликама.

— Спросить-то спросил, но меня сейчас же прогнал Фриц Гаммер, тот бородатый, — ответил мальчик.

Сликама вдруг догадался.

— Эге! — вскрикнул он, — теперь-то я знаю, где они пропадают! Видно, начали строить железную дорогу... Так оно и есть, тут думать нечего!..

— Чудно, отчего это к нам не пришёл ни один дорожник чего-нибудь купить, — вмешалась Слимачиха.

— Они ещё далеко. Да я сам к ним поеду, — ответил Сликама.

— Ах, прохвосты эти швабы! — прибавил он, подумав. — Ишь, как таятся, чтобы кто-нибудь другой не заработал...

— Да поезжай скорей! — закричала хозяйка. — Теперь только и можно заработать как следует...

Мужик обещал поехать завтра. Но он проспал, затем провозился целое утро, а напоследок

сказал, что ехать уже поздно. Только на другой день жена кое-как выгнала его из дому.

По дороге мужик завернул в ту деревню, где был костёл. Там все уже знали, что в какой-нибудь миле от них с прошлой недели копают рвы и насыпают песок под железнодорожное полотно.

Оказалось тут несколько подёнщиков, которые хотели было наняться на земляные работы, но приняли только одного, да и тот через три дня вернулся, надорвавшись.

— Собачья работа, нашим мужикам не под силу, — говорили Слимаку в деревне. — Хотя, если у кого есть лошади, стоит поехать; с подводой там зарабатывают рубля по четыре в день.

«Четыре рубля? — думал Слимак, подгоняя лошадей. — Об этаких заработках в усадьбе и не слыхивали!..»

С час он кружил окольными дорогами, пока не выехал, наконец, к месту работ. Уже издали он увидел огромные, как холмы, кучи глины, на которых копошилось не меньше сотни людей. Народ был всё нездешний, рослые, бородатые мужики в цветных рубахах. На редкость сильные. Одни копали глину, другие вывозили её в тяжёлых тачках, которые не всякая лошадь сдвинула бы с места.

Слимак покачал головой.

— Ого! — бормотал он, — нашему брату этого наверняка не одолеть.

Он с изумлением смотрел на горы и пропасти, в такой короткий срок вырытые руками людей.

Подъехав ближе, он обратился было к одному из тачечников, но тот ему даже не ответил, — так он был занят своей тяжёлой работой. К счастью, его заметил какой-то еврей в коротком

сюртучке, стоявший в кучке людей, не принимая участия в работе.

— Чего тебе, хозяин? — осведомился тот.

— Да я приехал спросить... — залепетал, решавшись, мужик, тербя шапку в руках, — приехал спросить, не потребуется ли панам супы или сала?..

— Дорогой мой, — ответил еврей, — у нас есть свои поставщики. Хороши бы мы были, если бы нам пришлось покупать у мужиков каждую мерку крупы!

«Важные, видно, господа! — подумал смутившийся Слимак. — У мужиков не хотят покупать, верио, всё берут у шляхты».

Еврей уже уходил. Вдруг Слимак, поклонившись ему в ноги, снова спросил:

— Скажите, пан, будьте столь милостивы, не найду я у вас работёнки с подводой?

Еврею понравилось его смирение.

— Поезжай, голубчик, — сказал он, — в ту сторону, где возят песок и гравий; там тебя, может быть, возьмут.

Мужик поклонился ещё ниже, сел на подводку и, проехав часть пути оврагами, снова добрался до железнодорожного полотна, где насыпали огромный песчаный вал. Тут он увидел десятки подвод и среди них возы немецких колонистов.

Они тоже его заметили, и перед ним тотчас же очутился Фриц Гаммер. Он был, очевидно, надсмотрщиком.

— Ты откуда взялся? — сердито спросил он мужика.

— Хочу наняться на работу.

Немец нахмурил брови.

— Ничего ты тут не заработаешь, — сказал он.

Но видя, что Слимак оглядывается по сторонам и ждёт, он подошёл к писарю и с минут о чём-то с ним говорил.

Писарь поспешно пошёл к мужику, уже на ходу крича ему:

— Не надо нам подвод! не надо... И этих много... Нечего тут дожидаться, только дорругу другим загораживаешь. Сворачивай в строю!..

Приказание было отдано самым резким топом, так что оробевший мужик совсем растерялся.

Слимак повернул лошадей с такой быстротой, что едва не перевернул подводу, и ещё быстрее уехал. Ему казалось, что он оскорбил какие-то высшие власти, которые вырубали здесь лес, убрали помещика, нагнали в деревню колонистов, а теперь даже землю выворачивают наизнанку, вырывая пропасти там, где были горы, и сооружая новые горы на равнине.

Он ехал домой, нахлёстывая лошадей, а в голове проносились тревожные мысли: ему казалось, что вот-вот кто-то схватит его за шиворот и бросит в тюрьму с криком: «Как же ты смел, хам этакий, просить работу, за которую взялись немцы?..»

Не меньше часу проблуждал он по оврагам, пока, наконец, выбрался в открытое поле. Оглянулся назад, там высятся жёлтые холмы нарытой глины, поглядел вперёд — виден костёл соседней деревни. Это отрезвило мужика.

«Ведь ходили же мужики этой деревни наниматься, и никто на них не сердился», — подумал Слимак.

Затем ему вспомнилось, что песок и гравий возили не только немецкие, но и мужицкие подводы. Стало быть, мужикам тоже можно работать

на железной дороге, не только швабам. А если так, то почему же его прогнали, да ещё так быстро, что и осмотреться не дали?

Потом ему вспомнился Фриц Гаммер, его сдвинутые брови, его сговор с писарем, и он уяснил себе, что происходит. Вначале он не хотел верить, но вскоре нашёл новые основания для подозрений. Для чего колонисты тайком уезжали из дому? Видно, для того, чтобы Слика не подглядел. А для чего Фриц Гаммер проехал Ендрека, когда тот спросил батраков, куда они ездят? Опять-таки для того, чтобы Слика не узнал о выгодной работе.

— Ах вы, собачьи сыны! — ругнулся мужик, впервые почувствовав отвращение к немцам. Его не удивляла их жадность к барышам, он до глубины души был возмущён тем, что они хотят скрыть такую очевидную вещь, как работа на железной дороге.

— Хитрые! — твердил мужик, и сердце его кипело от гнева.

Вернувшись домой, Слика коротко сказал жене, что работы ещё не получил. Потом решил сходить в колонию к Гаммеру.

Подходя к новенькой ферме, Слика заметил нескольких немцев, копавших грядки в огороде, а возле плетня группу мужчин. Там был старик Гаммер, два колониста и веснучатый еврей, представитель Гиршгольда. По их жестам и пылающим лицам Слика догадался, что они о чём-то оживлённо разговаривают, а может быть, и ссорятся.

Гаммер тоже узнал мужика, но он, видимо, не хотел этой встречи. Он повернулся спиной к дороге, вошёл со своими спутниками во двор и скрылся на гумне.

— Ишь, какой умный! — проворчал Сликамак. — Знает, зачем я пришёл... Так я же тебя всё равно поймаю и всё выложу прямо в глаза!

Но с каждым шагом решимость его ослабевала и, наконец, совсем исчезла.

«У него ведь вся повадка барская, — думал мужик о Гаммере, — а я что? — бедняк. Скажу ему слово, но если он ударит меня, куда я сунусь жаловаться?»

— Придётся итти домой, — прошептал он.

Однако страх потерять заработок не позволил ему вернуться ни с чем. Он колебался. Ступит несколько шагов, а потом обопрётся о забор, словно смотрит, как пемки копаются в огороде. Таким образом он понемножку добрался до дома Гаммера, но войти во двор у него пехватило смелости.

В доме колониста было открыто одно окно, и оттуда доносился гул, напоминавший жужжание пчёл в улье. Мужик подвинулся ближе и увидел большую комнату, а в пей целую ораву детишек, рассаженных по лавкам. Один что-то громко и крикливо рассказывал, остальные бормотали вполголоса. Посредине комнаты прохаживался больной учитель с линейкой в руке, время от времени покрикивая:

— Still!

Случайно взглянув в окно, учитель заметил мужика и подал ему какой-то знак. Через мгновение дети забормотали ещё громче, а в комнате появилась дочь учителя с книжкой, повторявшая звучным, глубоким голосом:

— Still!

«Видно, командует им «смирно», — подумал мужик.

Вдруг он услышал позади себя тяжёлые шаги и кашель. Он оглянулся: перед ним стоял учитель.

— Что, пришли посмотреть, как я детей
? — спросил учитель, улыбаясь.

— Бог с ними совсем! — ответил мужик. —
пришёл сказать вашему Гаммеру, что он —
годец, он не позволил мне наняться на работу.

И он рассказал, как, по наговору Фрица Гам-
мера, его прогнали с железной дороги.

Учитель покачал головой.

— То же самое Гаммеры проделывают и с
нашими, — сказал он. — Как раз в эту самую ми-
нуту Тресков и Фабриций объясняются с Гам-
мером, потому что он их отстранил от поставок
на железную дорогу и потому еще, что предста-
витель Гиршгольда пристаёт к ним с ножом к
горлу, требуя денег за землю.

— Пусть себе Гаммеры ругаются между собой
и с евреем, — ответил мужик. — Но я-то чем
виноват, за что они меня-то хотят погубить? Че-
рез их хитрость я теперь гроша ломаного не за-
работаю. Мне, что же, с голоду, что ли, по-
дыхать?.. Да за что?

— Правду сказать, вы им крепко в печонках
засели, — подумав, сказал учитель.

— А что я им сделал?

— Ваша земля расположена как раз посреди
земель Гаммера, а это ему портит всё хозяй-
ство, — продолжал учитель. — Это бы ещё ни-
чего, но Гаммер рассчитывал, что вы ему прода-
дите хотя бы гору с сосной, где он хочет по-
строить мельницу для Вильгельма.

— На что им мельница-то сдалась, раз у них
столько земли?

— Заработают больше. А если Гаммер не
построит мельницы, то на будущий год её, на-
верное, построит Геде для своего племянника.

— Почему же Гаммер не ставит на своей
земле?

— Да у них вся земля в низине. Самая плодородная во всей колонии. Они с умом выбирали, — говорил учитель, — но мельницу на ней не поставишь. . .

— Далась им эта мельница! — сердито перебил Слимак, стукнув кулаком по забору.

— Это большое дело, — понизив голос, ответил учитель. — Если бы у Вильгельма Гаммера сейчас была мельница, он через две недели женился бы на дочери мельника Кнапа из Воли и взял бы за ней двадцать тысяч рублей. . . Двадцать тысяч рублей! . . А если этих денег не будет, Гаммеры могут обанкротиться. . . Потому-то вы им и стали поперёк горла, — закончил учитель. — Но если вы продадите им свою землю, они и вам хорошо заплатят и сами избавятся от неприятностей.

— Не продам, — отрезал мужик. — Я их не звал сюда и не хочу погибать ради их выгоды. — Стоит мужику уйти с родной земли — тут ему и крышка. . .

— Беда будет, — сказал учитель, разводя руками.

— Ну, и пускай. А по своей воле не стану я ради них погибать.

С этими словами Слимак простился с учителем и отправился домой; у него пропала всякая охота видеть Гаммера. Только сейчас он понял, что помириться они не могут и что выиграет тот, кто дóльше вытерпит.

— На всё воля божья! — решил мужик и всю дорогу шептал молитвы.

Неясное предчувствие говорило ему, что для него настали тяжёлые времена.

Через несколько дней после разговора с учителем Слимака на заре разбудил Овчаж.

— Вставайте, хозяин! — запыхавшись, гово-

Фил батрак. — Вставайте да выходите скорей, реки пароду собралась целая куча.

Слимак вскочил, наскоро оделся и бегом бросился в овраг, откуда доносились какие-то голоса. С четверть часа он пробирался сквозь кусты, покрывавшие овраги и холмы, и выбрался, наконец, в равнину. Здесь, у реки, он увидел толпу рабочих с лопатами и тачками, подводы колонистов и возы мужиков деревни. Среди них оказался Вишнеvский.

Слимак кинулся к нему.

— Что тут творится? — спросил он.

— Плотину будут строить, а потом мост через Вялку, — ответил Вишнеvский.

— А вы почему здесь?

— Нас нанял Фриц Гаммер возить песок, вот мы и здесь.

Только теперь Слимак заметил в толпе обоих Гаммеров — Фрица и старика — и подошёл к ним.

— Хорошие соседи, — сказал он с горечью. — На деревню не поленились итти за подводами, а меня на работу не позвали. . .

— Переберёшься в деревню, тогда и тебя будем звать, — сказал Фриц и повернулся к нему спиной.

Неподалеку, среди рабочих, стоял какой-то человек, судя по виду, начальник. Слимак приблизился к нему и, сняв шапку, проговорил:

— Где же тут справедливость, — скажите, пан, сделайте милость, — чтобы немцы богатели на железной дороге, а я ломаного гроша не заработал, хотя живу я тут же под рукой? Прошлый год приходили к нам в хату два пана и обещали, что я нивесть сколько заработаю, когда начнут строить дорогу. Вот вы начали строить, а я ещё и одров своих ни разу не вывел из конюшни. Этому немцу мало его семи влук земли,

он ещё и на заработок льстится. Я маюсь на своих десяти моргах, я место потерял, потому что не стало у нас усадьбы, хожу теперь, словно пищий, и прошу Христа ради какой-нибудь работёнки. А ведь у меня жена с ребятишками, батрак, работница и кое-какая скотина. Что же, нам теперь всем подыхать с голоду оттого, что немцы на нас остервенились? Ну, где же тут справедливость: скажите, пан, сделайте милость?

Всё это Сликама выпалил одним духом, не переставая кланяться в землю. Начальник вначале смотрел на него с удивлением, но скоро понял в чём дело и обратился с вопросом к Фрицу Гаммеру.

— Почему вы не взяли его на работу?

Фриц выступил вперёд и, нагло глядя на незнакомца, ответил:

— А вы, пан, согласны внести за меня неустойку, если в один прекрасный день я не доставлю подвод?.. За подводы не вы отвечаете, а я. Я беру людей, в которых уверен, что они меня не подведут.

Начальник прикусил губу от гнева, но промолчал. Подумав, он сказал Сликаму:

— Ничем, братец, я тебе помочь не могу. Зато всякий раз, когда я буду приезжать в ваши края, ты будешь отвозить меня обратно. На этом много не заработаешь, но всё же это лучше, чем ничего. Ты где живёшь?

Сликама показал ему дымок, поднимающийся за оврагом, объяснив, что это и есть его хата. А когда пан повернулся к рабочим, которые ждали его распоряжений, мужик па прощанье повалился ему в ноги.

Видя, что больше нечего дожидаться, Сликама пошёл домой. По дороге его остановил старик Гаммер.

— Ну, что, — спросил старик, — теперь вы видите, выгодно ли это не продавать нам землю? Я знал, вам не устоять против нас. А теперь будет ещё хуже, потому что Фриц очень рассердился на вас.

— Господь бог сильнее Фрица, — ответил мужик.

— Подумайте, — убеждал его Гаммер, — я вам заплачу по семьдесят пять рублей за морг.

— Я и вдвое не возьму, — отрезал Слимак.

— Смотрите, худо вам будет, здесь на месте вы ничего не заработаете. Вам нужно или работать в усадьбе, или иметь много земли. За Бугом вы сможете купить не меньше двадцати моргов на те деньги, что получите от меня.

— Я за Буг не пойду. Пускай другие идут, кому там нравится.

Они расстались. Оба были в сильном раздражении. Когда Слимак, уже подходя к оврагу, повернул голову, он увидел Гаммера. С трубкой в зубах, засунув руки в карманы, старик стоял на том же месте, мрачно глядя ему вслед. Гаммер, направляясь в колонию, в свой черед оглянулся назад и увидел на вершине холма Слимака: скрестив руки на груди, он грустно улыбался, покачивая головой.

Оба они боялись друг друга и оба старались догадаться, что каждый из них затекает и почему каждый из них так ожесточён.

Стоило Слимаку подняться на холм и посмотреть, как идут работы, один вид железнодорожной насыпи всякий раз вызывал в нём мрачные мысли. Этот песчаный вал казался ему высунутым языком какого-то гигантского чудовища, которое притаилось в бору, где-то на восточном краю горизонта, и вот-вот приползёт сюда — и сожрёт его скот.

Постепенно промежутки между холмами заполнялись, образовался длинный песчаный вал, прямой, как стрела. В любое время дня насыпь напоминала о себе: в полдень она сверкала так ярко, что резало глаза; ночью она чуть поблёскивала, как линия, проведённая фосфором по стене.

Овчаж тоже дивился насыпи. Работа строителей казалась ему нарушением установленных богом порядков.

— Слыханное ли дело, — говорил хромой батрак, — насыпать в поле столько песку, да ещё воду зажать. Вот поднимется Бялка в половодье и ни за что не поместится в дыре, которую ей оставили.

Только теперь Слимак заметил, что концы насыпи обрываются у самой воды по обеим сторонам реки. Но поскольку берега возле моста были облицованы камнем, это обстоятельство не представляло, на его взгляд, никакой опасности, по крайней мере, для него.

— Это так, — соглашался Овчаж. — Но по ту сторону вала вода всё-таки может затопить поля, а нам ничего не сделает.

Однако мужик призадумался, заметив, что Гаммеры на своём берегу поспешили соорудить насыпи во всех низменных местах, словно опасаясь, что в случае наводнения вода устремится на их поля.

— Умные швабы! — похвалил их мужик. — Не худо бы и на нашем берегу то же самое сделать.

И он замечтался о том, как после сенокоса он сразу же валом отгородит своё поле от лугов Гаммера и укрепит плетнём подножье холма, чтобы в случае чего туда не хлынула вода. Ему даже казалось, что уже сейчас, когда у него столько досуга, можно было бы поставить пле-

ть, но, как всегда, он стал откладывать со дня на день, и так дело и кончилось одними намерениями.

Не мог он предвидеть, как страшно он будет наказан.

Выло начало июля, сенокос окончился, в полях созревали хлеба, люди готовились к жатве. Сликама собрал сено, перетащил его к себе во двор, чтобы оно лучше просохло, а тот луг, который прежде арендовал Сликама, немцы огородили частоколом. Лето в тот год было знойное, роились пчелы, засыхали нивы, больше обычного обмелела Бялка, а на железнодорожной насыпи трое рабочих умерло от солнечного удара. Старики опасались, что во время жатвы надолго зарядит дождь, и со дня на день ждали грозы с градом, тем более, что кое-где в дальних деревнях град выпал.

И гроза разразилась.

В тот день утро было жаркое и душное; птицы запели и сразу умолкли, свиньи не стали есть и, томясь от зноя, попрятались в тени между строениями. Порывами дул ветер, то горячий и сухой, то прохладный и влажный; поминутно меняя направление, он гнал со всех сторон густые облака, которые в верхних слоях неслись на запад, а в нижних — на север.

Около десяти часов большую часть неба к северу от железнодорожной насыпи заволокли тяжёлые тучи; они быстро меняли окраску, превращаясь в серые и свинцовые, а кое-где в совсем чёрные. Казалось, что там, вверху, загорелась сажа и огромные хлопья ее летают над землёй, не находя места, где бы осесть. Порой толщу туч раздирало в клочья, и тогда сквозь щели пробивалось солнце, бросая на потемневшие поля грустный осенний свет. Порой туча

опускалась до самой земли, так что в ней совершенно тонули верхушки деревьев дальнего леса. Но тут же под неё подкатывал ветер и с такой силой взметал её вверх, что от убегающих облаков отрывались целые полосы и рваными лохмотьями повисали над землёй.

Вдруг за костёлом показалось рыжее облачко и быстро полетело вдоль железнодорожной насыпи. Западный ветер подул сильнее, одновременно сбоку в него ударил южный ветер; на насыпи, на дороге, на всех тропинках поднялась густая пыль, раскинувшиеся по небу тучи глухо зарокотали.

Заслышав отдалённые раскаты, рабочие побросали свои инструменты, спустились с насыпи и, выстроившись двумя длинными шеренгами, двинулись — одни к усадьбе, другие к баракам в поле. Запятые на стройке колонисты и мужики, ссыпав песок с подвод, спешили разъехаться по домам. С полей гнали скот, женщины из огородов устремились под кровлю, всё опустило.

Удары грома — один за другим — возвещали нашествие всё новых полчищ, которые, захватив большую часть неба, постепенно закрывали солнце. Казалось, что при виде чёрных туч, пронизанных молниями, земля притаилась и в ужасе следит за бурей, как куропатка, когда над ней кружит ястреб. Кусты тёрна и можжевельника тихо шелестели, как будто предупреждая об опасности; потревоженная на дороге пыль снималась с места и скрывалась в хлебах. Молодые колосья, шелестя, жались друг к другу, вода в реке помутилась. Гудел дальний лес.

Не менее часу продолжался ливень; наконец, запыхавшись, буря захотела передохнуть, и тогда послышался шум Бялки; она уже вышла

из берегов. По дорогам во всю ширину текла грязная вода, по склонам гор журчали ручьи, луга затопило, по другую сторону насыпи разлилось озеро.

Но через минуту снова потемнело, на горизонте сразу в нескольких местах засверкали молнии, дождь усилился, молния ударила в дорогу. Бешеный ветер гнал косые потоки дождя, размётывал их и рвал; мир потонул в водяной пыли.

У Сликама во время грозы все собрались в передней горнице. Овчаж зевал, сидя на краю лавки, подле него Магда баюкала завёрнутую в зипун сиротку, тихонько напевая: «аа-а!..» Хозяйка, недовольная тем, что дождь погасил огонь в печке, ходила из угла в угол, а Сликама, поглядывая в окно, гадал, побьёт ли ливнем его хлеба?.. Один только Ендрек был весел; он минутно выбегал на дождь и, промокая до нитки, со смехом влетал в хату, уговаривая Магду и Стасека идти вместе с ним.

— Идём, Стасек! — говорил он, дёргая брата за руку. — Дождь тёплый — красота!.. Правда, вымочит тебя, зато как весело!..

— Не тронь его, — отозвался отец, — видишь, ему неможется.

— Да и сам не бегай по двору, всю хату мне затопчешь, — вмешалась мать.

В эту минуту ударил гром.

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его, — зашептала хозяйка.

Магда перекрестилась. Овчаж протёр глаза, но снова задремал, а Сликама буркнул:

— Где-то близко...

Ендрек с улыбкой прислушивался к раскатам грома.

— Вот так грохочет!.. Ух, а сейчас-то как!.. — кричал он. — Ежели из десяти ружей сразу вышальить, и то бы такого грохоту не было! Ничего себе, разошёлся господь бог..

— Поттише ты, дурак, — возмутилась мать, — смотри, ещё в тебя ударит..

— А пусть, — хвастливо ответил мальчик. — Вот возьмут меня в солдаты, там ещё того пуще будут стрелять, и то мне ничего не сделается.

И он опять выскочил из дому, чтобы через минуту вернуться мокрым от головы до пят.

— Этот щенок ничего не боится, — говорила повеселевшая мать, поглядывая на мужа.

Слимак пожал плечами.

— Что ж он баба, что ли?..

Овчаж дремал, время от времени машинально отгоняя мух. На дворе попрежнему лил дождь, гром, не переставая, гремел, молнии загорались сразу по всему небу.

В кругу людей со стальными нервами, где один думал о своём урожае, другой спал, а третий радовался непогоде, находилось существо, которое до глубины души потрясал ужас грозы. Это был Стасек, деревенский мальчик и всё же болезненно восприимчивый.

Он, как птицы, предчувствовал надвигающуюся бурю и уже с утра бродил по дому, вялый и тревожный.

Стасек не боялся грозы, но страдал от неё и, страдая, размышлял: почему и откуда берутся на свете такие страшные вещи?

Ему было плохо. Время от времени он закрывал глаза, чтобы не видеть молний, но тогда ему казалось, что он видит молнии внутри себя, и ему становилось невыносимо страшно. Иногда он затыкал уши, чтобы не слышать грома, но это было бесполезно при его остром слухе. И он

слонялся, как помешанный, из горницы в боковушку, из боковушки опять в горницу; то он смотрел в окно, то ложился на лавку или ни с того, ни с сего вдруг открывал дверь в сени. Ему было плохо, плохо везде, но особенно здесь, где никто даже не смотрел на него.

Ему хотелось поговорить с Овчажем, но Овчаж спал. Спросил он о чём-то Магду, но та баюкала сиротку и была поглощена своим делом. Он взглянул на Ендрека, который немедленно же пожелал вытащить его на дождь. Разбитый, измученный, он прижался к матери, но мать сердилась, что дождь ей залил огонь, и с раздражением оттолкнула его.

— Отвяжись ты от меня! Вуду я с тобой няньчиться, когда у меня обед пропаёт. . .

Он снова пошёл в боковушку и лёг на сундук, но голые доски жгли его. Он встал, вернулся в горницу и облокотился на колени отца.

— Тятя, — тихо спросил он, показывая на ливень за окном, — отчего оно такое злое?

— Да кто ж его знает!

— Это боженька делает, чтоб была буря?

— Он, а то кто же?

Мальчик обхватил его ноги: так ему было чуточку легче и спокойнее, но как раз в эту минуту отец уселся поудобнее и невольно оттолкнул Стасека.

Отвергнутый всеми, он заметил Бурека под лавкой и полез было туда. Собака сильно промокла, но мальчик прижался к пей головой и обнял её обеими руками.

К несчастью, это заметила мать.

— Вы посмотрите только, — закричала она, — что этот мальчишка вытворяет сегодня! А ну, отойди от собаки; не то, смотри, тебя ещё громом убьёт!.. Бурек, пошёл прочь, пошёл в сени!..

Собака, видя, что хозяйка ищет полено, поджала хвост и скорей прошмыгнула в дверь, а Стасек среди людной хаты снова остался совсем один, один со своей тревогой. Наконец мать заметила, что с ним неладно, но, думая, что ребёнок проголодался, она дала ему краюшку хлеба. Мальчик взял хлеб, откусил кусочек, но не стал есть и вдруг заплакал.

— Господи, боже мой, да что с тобой, Стасек? — крикнула мать: — Боишься ты, что ли?..

— Нет.

— Так чего ж ты разнюнился?

— Томит меня чего-то, — прошептал мальчик, показывая рукой на грудь.

Слимак, которого мучила тревога за урожай, погладил его по голове и сказал:

— Ну, не горюй, не горюй... Хоть бы и вздумалось господа богу погубить наш хлеб, авось, не помрём с голоду.

И, обернувшись к жене, прибавил:

— Он хоть и меньше вас всех, да умный; вишь, как убивается о хозяйстве.

Буря понемногу затихла, и внимание Слимака привлёк необычайный шум, доносившийся с реки. Мужик наскоро разулся и поднялся с лавки.

— Ты куда? — спросила жена.

— Пойду погляжу, — ответил он, — там что-то неладно.

Он вышел и через несколько минут, запыхавшись, вернулся обратно.

— Ну, что, а ведь угадал! — крикнул он с порога.

— Хлеб у нас побило?.. — в испуге спросила жена.

— Хлеб только тронуло, — ответил он, — а вот у дорожников плотину прорвало...

— Господи Иисусе!..

— Вода так и хлещет, затопила весь луг, подступает к нашему двору... Да ещё эти прохвосты-немцы поставили запруду на своем берегу, вот у нас и выело дырку в горе.

— Господи помилуй!.. И велика дыра-то?

— Не очень велика, а печки с две будет. И то жалко.

— В конюшню вы не заглядывали? — спросил Овчаж.

— А как же? В конюшне — вода, в коровнике — вода, у нас в снях и то полно воды. Дождь уже проходит, и небо проясняется. Воду надо вычерпать, а то как бы скотина не захворала.

— Сено смотрел?

— Всё вымокло, но пошлёт бог ведро, — выдохнет.

— Магда, растапливай печь!.. — приказала хозяйка, — Ендрек, бери ковш и лоханку, вычерпывай воду в снях, а вы с Овчажем бегите к скотине. Найдёнка пусть тут останется, на лавке.

— Дай ключ от амбара, — сказал Сливак, — и возьму черпалку.

Когда солнце выглянуло из-за туч, весь дом Сливака был в движении. В нечке пылал огонь, хозяйка с Магдой и Ендреком вычерпывали воду в снях, а хозяин с батраком выгребали воду из конюшни.

В это самое время по другую сторону реки собралась толпа немцев. Они заметили плывущие по реке дрова и решили их выловить. Вооружившись длинными шестами и засучив штаны до колен, они пошли вброд, осторожно подвигаясь к середине реки.

По мере того как затихала буря, Стасек успокаивался. У него уже не разламывалась голова,

не кололо в руке, не бегали мурашки по всему телу. Время от времени ему ещё казалось, что гремит; он напрягал слух: нет, не гром. Это отец с Овчажем убирают воду в конюшне и стучат черпалками о порог.

В сенях тоже шум, беготня: это Ендрек, вместо того чтобы черпать воду, поднял возню с Магдой.

— Ендрек, тебе говорят, уймись! — кричит мать, — вот, попадётся мне что-нибудь под руку, я тебе наставлю синяков.

Но Ендрек ещё пуще хохочет, да и по голосу матери слышно, что она хоть и сердится, а весела.

Стасек приободрился. Что, если выглянуть во двор? Только... вдруг он опять увидит над хатой такую же страшную тучу, как перед грозой?.. Э, чего там!.. Он приоткрыл дверь, высунул голову и, вместо тучи, увидел небесную лазурь; изодранные облака неслись куда-то на восток, за горы и леса. Из сарая вышел петух, захлопал крыльями и запел; словно в ответ ему, из-за хаты вдруг глянуло солнце. На кустах, на нивах, в траве засверкали капли росы, похожие на стеклянные бусинки; в тёмных сенях легли золотые полосы, чёрные лужи отражали ясное небо.

Стасека охватило беспричинное веселье. Он выскочил во двор и стал бегать по лужам, радуясь, что из-под ног у него снопами летят радужные брызги. Потом, увидев обломок доски, он бросил его в лужу, взобрался на него с палкой в руке и вообразил, что плывёт.

— Ендрек, поди сюда! — позвал он брата.

— Не смей ходить, пока воду не вычерпаешь! — крикнула мать.

Между тем по другую сторону реки немцы продолжали охоту за дровами. Когда им удалось выловить полено покрупней, они громко смеялись и кричали «ура!». А когда сразу подплыло несколько поленьев, ими овладел такой энтузиазм, что они хором запели «Стража на Рейне».

Стасек соскочил со своей доски. Он впервые в жизни услышал хор, большой хор мужских голосов. В упоении радостью и солнечным светом, ему казалось, что он грезит. Он забыл, где он и кто он: мальчик слушал, окаменев от восторга.

После короткой паузы, прерывавшейся смехом и всплесками воды, немцы снова запели.

Стасек не слышал слов, не понимал мелодии; он только ощущал мощь человеческих голосов. Ему чудилось, что из-за холмов и из-за реки набегают какие-то волны, обнимают его невидимыми руками и, словно баюкая, тянут к себе. Он хотел сбегать домой, позвать Ендрека, но не мог даже повернуть головы. Он не хотел двинуться с места, но что-то толкнуло его вперёд. И он пошел, как замороженный, сначала медленно, потом всё быстрее, наконец, побежал бегом и исчез за холмом.

А голоса на другом берегу продолжали петь.

Вдруг пение оборвалось, и раздались крики: — Держись!.. Держись!..

Слимак и Овчаж давно прекратили работу в конюшни и с ковшами в руках прислушивались к песне немцев. Внезапная тишина и следовавшие за ней крики удивили их, а батрака словно что-то ударило.

— Сбегайте туда, хозяин, — сказал он, отставляя ковш, — чего это они орут!..

— Э... мало ли что им в голову взбредёт, — ответил Слимак.

— Держись! — кричали за рекой.

— А всё-таки сбегайте, — настаивал батрак, — мне-то с моей ногой не поспеть, там что-то есть...

Слимак бросился к реке; за ним, хромая, заковылял Овчак. Когда он уже поднимался на холм, его догнал Ендрек и спросил:

— Что там приключилось? Где Стасек?

До ушей Овчака издали донеслись какие-то слова. Он остановился и услышал чей-то сильный голос с того берега:

— Так-то вы за детьми смотрите... Польские скоты!..

Вдруг на склоне холма показался Слимак, держа в объятьях Стасека. Голова мальчика покоилась на плече отца, правая рука безжизненно повисла.

У Слимака посинели губы, глаза были широко раскрыты. Ендрек, скользя по грязи, загородил ему дорогу.

— Что это со Стасеком, тятя? — вскрикнул он в испуге.

— Утонул, — ответил мужик.

Сжимая кулаки, Ендрек подступил к отцу.

— С ума вы спятили, что ли? — крикнул он. — Он сидит у вас на руках...

Ендрек дёрнул Стасека за рубашку. Голова мальчика запрокинулась назад, свешиваясь на руку отца.

— Говорю тебе, утонул... — прошептал Слимак.

— Что вы болтаете! — вскрикнул Ендрек, — он только что был во дворе!..

Мужик не отвечал. Он снова положил го-

лову Стасека к себе на плечо и, поминутно спотыкаясь на ходу, направился к хате.

У порога стояла Слимачиха. Одной рукой она держала ковш, другой прикрывала глаза от солнца, стараясь разглядеть идущих.

— Что вы там опять натворили? — спросила она. — Что? Опять с Стасеком нехорошо?.. Несчастье с этими швабами и их бесовскими молебствиями!.. Опять на ребёнка нашло!..

Подойдя к мужу, она приподняла голову Стасека и заговорила дрожащим, срывающимся голосом:

— Эй, Стасек... Да что он опять глаза закатил... Ну, Стасек... очнись... погляди на меня... Магда, дай воды!..

— Хватит с него воды, — пробормотал Слимач, прижимая к себе сына.

Женщина отшатнулась.

— Что такое?.. — спросила она с нарастающим ужасом. — Отчего он весь мокрый?

— Сейчас из воды его вытащил!..

— Как из воды?.. — вскричала женщина. — Из реки?..

— Из ямы под горой, — ответил мужик. — Воды там всего по пояс, но для него довольно!..

— Упал? В воду упал?! — простонала мать, хватаясь за голову. — Что ж ты его держишь на руках?.. Надо из него воду выкачать!.. Матек!.. бери его за ноги!.. Переверните его!.. Ох, дурачье-мужики!.. Рохли вы!..

Но батрак не шевелился. Тогда она сама схватила ребёнка за ноги и выхватила его у отца. Стасек повис вниз головой, руки его тяжело ударились о землю, из носа показалась кровь.

Теперь Овчаж, словно опомнившись, вырвал у неё ребёнка и, подложив ему руку под спину,

пои́с в хату, на лавку. За ним пошпи все, кроме Магды. Как помешанная, она закружилась по двору и вдруг, вскинув руки, побежала по дороге, громко заголосив:

— Спасите!.. Спасите Стасека!.. Кто в бога верует!..

Потом снова повернула к хате, но не вошла, а бросилась на завалинку и, съёжившись так, что голова касалась колен, судорожно зарыдала:

— Спасите!.. Кто в бога!..

Войдя в хату, Слимак достал из чулана зипун, надел его и снова вышел из дома. Он хотел куда-то бежать, но не знал куда и метался по двору, размахивая руками.

Какой-то голос внутри кричал: «Отец, отец, если бы ты во-время огородил гору плетнем, не утонул бы твой ребёнок».

Мужик ответил: «Не моя тут вина!.. Это немцы заворожили его пением..»

На дороге затарахтела телега. На минутку остановилась у ворот и проехала дальше. Из-за угла слышались чьи-то тяжёлые шаги и кашель: во двор вошёл учитель с палкой в руке, без шапки.

— Ну, как мальчик? — крикнул он Слимаку. Не дождавшись ответа, он вошёл в хату.

— Как мальчик? — спросил он ещё с порога.

Стасек лежал на лавке; мать сидела подле него, положив его голову к себе на колени, и шептала:

— Вот он помаленёчку и отходит: ведь кровь потекла... нет, как будто потеплее стал...

— Ну, как? — снова спросил учитель, дёрнув Овчажа.

— Да я почём знаю?.. — вполголоса отве-

тил батрак. — Она говорит, будто ему лучше, а малый как лежал, так и лежит.

Учитель бросил палку в угол и приблизился к лавке.

— Дай мне гусиное перо... — приказал он Ендреку.

Тот остолбенел и только пожал плечами.

— Ну, соломинку, что ли, или трубочку...

— Нет у меня никакой трубочки, — проворчал Ендрек.

Учитель осмотрел Стасека и велел матери встать. Всклипывая, она покорно отошла на середину горницы и, разинув рот, уставилась на учителя. Старик выдвинул лавку, снял со Стасека мокрую рубашку, потом с трудом вытянул изо рта его язык и подвязал лыком к нижней челюсти.

— Господи Иисусе! Что это он делает... — бормотала мать.

Слимак время от времени заглядывал со двора в окошко и поскорей отходил — он был не в силах смотреть на бледное тело сына.

Между тем учитель, положив руки Стасека вдоль бёдер, поднял их вверх, завёл за голову и снова прижал к бёдрам. Опять поднял, опять опустил и так поднимал их и опускал без конца, желая вызвать у ребёнка дыхание. Слимак через окошко следил за его движениями, Ендрек в остолбенении застыл у печки, мать всклипывала. Наконец, не совладав с собой, она сбросила платок и, схватившись за волосы, стала биться головой о стену, приговаривая:

— И зачем я тебя на свет родила!.. Сыночек ты мой золотой... Сколько он у меня хворал, сколько мучился — и всё ничего. А тут — надо же случиться беде — утонул!.. Только что был в хате... все его видели, и вдруг такая

беда — утонул!.. Господи милостивый, за что ты меня наказал? Подумать только, ребёнок потонул в глиняной яме, как щенок, и хоть бы кто его вытащил, хоть бы кто его спас!..

Тело её скользнуло вдоль стены, и, упав на колени, она стала причитать душераздирающим голосом.

С полчаса хлопотал учитель над бездыханным телом Стасека. Поднимал и опускал ему руки, надавливал на грудь и слушал, не забьётся ли сердце. Но мальчик не подавал признаков жизни. Наконец, убедившись, что ему ничем нельзя помочь, старый учитель накрыл останки ребёнка каким-то платком, перекрестился, прошептал молитву и вышел из хаты. Вслед за ним молча выскользнул Овчаж.

Во дворе учителя остановил Слимак. Он был точно пьяный.

— Зачем вы пришли сюда? — заговорил мужик сдавленным голосом. — Мало вам моего горя?.. Мало того, что ребёнок мой погиб от вашего пения: чего вам надо?.. Душу его погубить, пока она не улетела па тот свет, или нас, ещё живых, хотите вы проклясть, чтобы мы тоже сгнули?..

— Что вы говорите, Слимак?.. — спросил учитель, в ужасе глядя на него.

Мужик закачал головой и вскинул руки, словно ему нечем было дышать.

— Не сердитесь, пане, — сказал он. — Вы добрый человек, я знаю. Спаси вас господь за всё...

И он вдруг поцеловал учителю руку.

— Только вы... ступайте отсюда... Это через вас, немцев, пропал мой Стасек! Первый раз заморозили его — он только сомлел, а нынче

так околдовали, что он утонул... Утонул мой сыночек!.. — простонал мужик.

— Побойся бога! — воскликнул учитель, — что ты говоришь? Разве мы не такие же христиане, как вы? Или мы не отрекаемся от дьявола и его дел, подобно вам?..

Мужик смотрел ему в лицо безумным взглядом.

— Как же он утонул?

— Мог поскользнуться. Я не знаю.

— Яма мелкая, воды в ней мало, он бы выскочил... Только вот затмение на него нашло от ваших песен... Второй уж раз на него нашло... Верно, Овчаж?

Овчаж кивнул головой.

— А не бывало у мальчика судорог? — спросил учитель.

— Нет.

— И никогда он ничем не болел?

— Сроду не болел!

Овчаж покачал головой.

— Он с самой зимы хворал, — вдруг произнёс батрак.

— Разве? — спросил Слимак.

— Верно говорю, — продолжал Овчаж. — С самой зимы, как простыл, — он ещё тогда целую неделю лежал, — так с тех пор хворал. Пробежит, бывало, шагов сто, да и устанет и сейчас же скажет: «Матек, душит меня!..» А нынешней весной взбежал он как-то на гору, когда я пахал, и тут же сомлел... Я даже на реку бегал за водой; долго он в себя не приходил.

— То же самое было, — рассказывал Овчаж, — когда немцы место себе выбирали для дома; Стасек сомлел не от пения, а оттого, что чересчур быстро поднялся на гору; он устал...

— Что же ты мне ничего не сказал? — прервал его Слимак.

— Говорил я хозяйке, а она налетела на меня: «Что ты, говорит, смыслишь?.. Всю жизнь, говорит, проходил за скотом, дурак-дураком остался, а туда же: толкует, будто фельдшер...»

— Вот, видите, — сказал учитель. — У мальчика, несомненно, было больное сердце, и это бедняжку погубило. Куда бы он ни упал — в воду или на землю — он всё равно бы умер, у него остановилось бы сердце. Не мы в этом виноваты, ни при чём тут и молитвы наши христианские.

Слимак внимательно слушал и постепенно приходил в себя.

— Кто его знает, — бормотал он, — может, и правда, что Стасек умер своей смертью...

Он постучал в окно и вызвал жену. Через минуту она показалась на пороге.

— Чего? — спросила она, вытирая опухшие от слёз глаза.

— Ты что же мне ничего не сказала, что Стасек с зимы хворал? Бегать не мог; чуть устанет, передохнуть не может и сейчас же сомлеет?

— Ох, хворал, — подтвердила мать, — но только чем бы ты ему помог?

— Помочь бы не помог, а значит, Стасеку не миновать было смерти.

Мать тихо заплакала.

— Ох, не уйти ему было от смерти, — всхлипывая, приговаривала она, — ни так, ни этак. А нынче в грозу он, бедняжка, чуял беду; ходил по хате сам не свой и ко всем жался... Кабы я взяла это в толк, я бы не выпустила его из хаты... В погреб заперла бы его... Так бы и ходила за ним, куда бы он ни ступил...

— Он и в хате бы умер, если бы пришёл его час, — заметил учитель.

— Правильно, — вздохнул Слимак, — кого господь бог призовет, того уж не удержат отец с матерью. . .

Учитель удалился, а опечаленные родители остались с Овчажем во дворе, вздыхая и плача. В душе они уже покорились судьбе и теперь толковали о том, что без воли божьей даже у малого ребёнка волос с головы не упадет.

— Зверю лесному и то ничего не делается без воли божьей, — говорил Слимак. — В иного зайца сколько раз из ружей налят, собаками его травят, а он уходит целехонек, ежели господу богу вздумается. Но пробьет его час, он и в чистом поле пропадет. Любой щенок его схватит или пастух угодит камнем по башке — вот и будь здоров!

— Или взять хоть меня, — откликнулся Овчаж. — И воз с дровами меня придавил, и в больницу меня свезли, и работу не мог найти, а всё живу, раз ещё не пробил мой час. А как придет, спрячусь я хоть в алтаре, всё равно мне погибнуть.

— И не только ты, — прибавил Слимак. — Самое важное начальство, самый богатый пан, — запишись он хоть в каменном дворце с железными ставнями, а придет пора, не миновать ему смерти. Так вот и со Стасеком.

— Сыночек ты мой! . . Помощник ты мой! . . — заплакала мать.

— Ну, помощника бы из него не вышло. За скотиной ходить, и то ему трудно было.

— Ох, трудно, — подтвердил Овчаж.

— Да и за плугом бы не пошел. . .

— Ох, не пошел бы. . .

— Мужик он был бы никудышный. . .

— Именно, никудышный. Ни сил у него, ни здоровья.

— Такой уж он был особенный ребёнок, — заметил Слимак. — Не лежала у него душа к хозяйству, всё бы ему бродить по оврагам да по бережку, смотреть бы да думу думать. . .

— А то ещё с собой начнёт разговаривать, — вмешался Овчаж, — с птицами или с травой. Я сколько раз слышал, — вздохнул Овчаж. — Бывало, скажешь ему: «Ох, не жилец ты на белом свете! . . Среди панов вышел бы ты в люди, всем на диво бы вышел, а среди мужиков не выжить тебе, бедняжке. . .»

Так толковали мужики о неисповедимых путях господних. К вечеру хозяйка вынесла на крыльцо кринку простокваши и краюху хлеба, но никто не захотел есть. Ендрек первый, чуть дотронувшись до еды, заплакал и убежал в горы, Слимак и смотреть не стал на пищу. Даже Овчаж ни к чему не притронулся и побрёл к себе в конюшню, бормоча на ходу:

— Боже мой! Этакий барин, этакий помещик! . . Пять моргов земли отписали бы ему отец с матерью, а вот — утонул! . .

Вечером Слимак перенёс Стасека на кровать в боковушку. Мать положила два пятака, чтобы закрылись глаза, и засветила лампадку перед божьей матерью. Муж с женой, Ендрек и Магда — все вповалку улеглись на полу в горнице, но уснуть не могли. Бурек выл всю ночь напролёт. Магду лихорадило, Ендрек то и дело поднимался с соломы и заглядывал в боковушку: ему всё казалось, что Стасек очнулся и шевелится.

На рассвете Слимак стал мастерить гробик. Работал весь день: пилил доски, строгал, сколачивал — и так у него ладилось дело, что он даже ухмыльнулся от удовольствия. Но как вспомнил, для чего он столярничает, такая тоска его взяла,

что он бросил работу и убежал на дорогу, не зная, куда деваться.

На третий день Овчаж запряг лошадей в телегу, поставил на неё гробик со Стасеком и медленно двинулся к костёлу. За телегой шли Слимак с женой и с Магдой, а впереди всех Ендрек. Придерживая гроб, чтобы не качало, он прислушивался: не очнётся ли любимый братик, не откликнется ли? Он даже несколько раз постучался к нему.

Но Стасек молчал. Он молчал, когда подъехали к костёлу и ксендз окропил его святой водой. Молчал, когда родной отец, помогая старику-могильщику, копал могилу, а мать и Ендрек с плачем прощались с ним в последний раз. Он молчал и тогда, когда тяжёлые комья земли посыпались на его гробик...

Даже Овчаж обливался слезами. Один только Слимак отвернулся: он прикрыл лицо зипуном, словно римский сенатор, не желая, чтобы другие видели, как он плачет.

В эту минуту что-то снова шепнуло у него в сердце: «Отец, отец! Огородил бы ты во-время гору плетнём, не утонул бы твой сын...»

Но Слимак отвечал себе: «Не моя в том вина: ему было суждено умереть, он и умер, когда пришёл его час...»

IX

Наступила осень. Там, где недавно золотились нивы, грустно серело жнивье; в оврагах краснели кусты; аисты, покинув овины, улетели на юг.

В лесу, если ещё и остались птицы, их не было видно, в поле тоже — ни души, разве лишь кое-где, на немецком берегу, две-три бабы в синих юбках копали последнюю картошку. Даже

на железной дороге закончились главные работы. Насыпь уже возвели, рабочие с тачками и лопатами разбрелись, теперь появились паровозы, подвозившие рельсы и шпалы.

Вначале на западном краю насыпи был виден один черный дым, валивший как из винокурни; через несколько дней на линии жёлтых холмов показалась труба, а немного позднее та же труба, но насаженная на огромный котёл.

Котёл на возу катился без помощи лошадей и, кроме того, тащил за собой ещё несколько возов, груженных лесом, железом и людьми. Там, где он останавливался, люди соскакивали на землю, укладывали на насыпи бревна, прибывали к ним рельсы, и котёл снова катил вперёд.

Овчаж изо дня в день присматривался к движению паровозов и даже сказал Слимаку:

— Вишь, как ловко!.. Покуда едут с горы, пускают один груз, без лошадей. Оно и верно: к чему зря скотину гонять, раз придумали такое средство.

Но однажды паровоз с вереницей вагонов остановился против оврага. Люди сбрасывали рельсы и шпалы, а он стоял, пыхтел и пускал дым. Простоял с час. Овчаж целый час смотрел на него, раздумывая, как же теперь паровоз сдвинуть с места?

Вдруг, к величайшему изумлению батрака, паровоз пронзительно свистнул и вместе с вагонами пошёл назад, без чьей-либо помощи. Лишь теперь, словно сквозь туман, Матек вспомнил, как когда-то галицийские косцы рассказывали ему о машине, которая ходит сама. Ещё пропили тогда его кровные деньги, на которые он хотел купить себе сапоги.

— Верно, ходит-то она сама, но зато и тащится, как старуха Собесская, — утешал себя Овчаж.

В душе он, однако, сильно опасался, что все эти заграничные фокусы не кончатся добром для всей округи.

И хотя рассуждал он неправильно, но опасения его оправдались. Вместе с появлением первого паровоза в округе началось воровство, о котором прежде тут и не слыхивали.

От горшков, просыхающих на заборе, и запасных колёс во дворе — всё вплоть до птицы в курятниках и лошадей в конюшнях стало вдруг исчезать. У колониста Геде из амбара утащили свиную тушу; мужика Мартинчака, когда он навеселе возвращался от исповеди, какие-то люди с вымазанными сажей физиономиями сбросили с телеги и поехали на ней сами, должно быть, прямо в пекло. Не пропустили воры даже бедного портняжку Йойну Недопежа: в лесу напали на него и вырвали кровных три рубля.

Слимаку первый паровоз тоже не принёс ничего хорошего. Кормов для скота нельзя было достать; а между тем зерна у него никто не покупал, в погребе стояло в кадушках и горкло непроданное масло; птицу они ели сами, потому что на неё тоже не находилось желающих. Всю деревенскую торговлю с местечком и железной дорогой захватили в свои руки немцы; никто смотреть не хотел на мужицкое зерно и на мужицкие молочные продукты.

Слимак сидел в хате, ничего не делая (да и где было работать, раз не стало усадьбы?), располагался у печки, покуривал трубку и думал: всегда ли будет так трудно с сеном? Неужели к нему никогда не приедут купцы за зерном, яйцами и маслом? Неужели никогда не кончится воровство? А тем временем, пока он обстоятельно обсуждал эти вопросы, немцы разъезжали повсюду и продавали свои продукты. Воры тоже

продолжали воровать всюду, где люди не держали ухо остро или не заводили надёжных замков на амбарах и сараях.

— Ой, дело к худу идёт! — говорила Слимачиха.

— Ну, как-нибудь обойдётся, — отвечал мужик.

О бедном Стасеке понемногу стали забывать. Разве изредка мать положит, бывало, на стол лишнюю ложку и, опомнясь, вытрет фартуком слёзы; или Магда, кликая Ендрека, впопыхах назовёт его Стасеком; или ещё Бурек начнёт бегать по всему двору, словно ища кого-то, а не найдя, припадёт мордой к земле и заскулит. Но с каждым днём это случалось всё реже.

Ендрек сильнее всех ощущал смерть брата. Он не любил теперь сидеть дома и, если не было работы, шатался по полям. Иной раз забредёт в колонию, к старому учителю, и там, из любопытства, заглянет в книгу. Он и раньше знал половину букв, так что учитель без труда обучил его остальному, а когда он прошёл всю азбуку, дочка учителя, просто для развлечения, стала учить его читать. И паренёк, запинаясь, читал, подчас нарочно ошибаясь, чтобы она его поправила, или вдруг забывал буквы, чтобы она, склонившись над книжкой, коснулась его плечом.

Когда Ендрек принёс букварь домой и показал всё, что он знает, Слимачиха на радостях послала дочке учителя двух кур и три десятка яиц, а Слимак, повстречав учителя, пообещал дать ему пять рублей, если Ендрек будет читать молитвы, и прибавить ещё десять, если мальчик научится писать. С наступлением осени Ендрек стал бывать в колонии ежедневно, а то и по нескольку раз в день. Он или учился, или смотрел через окошко на дочку учителя, прислушиваясь

к её голосу, что немало сердило одного из батраков, племянника Гаммера.

В обычное время отлучки Ендрека были бы замечены, но сейчас родители были поглощены другим. С каждым днём они убеждались, что сена у них мало, а коров много... Об этом не говорилось, но все в доме только об этом и думали. Думала хозяйка, видя, что в подойнике всё меньше и меньше молока; думала Магда, — её томили дурные предчувствия, и она всё ласкала своих любимиц; думал и Овчаж, отрывая у своих лошадок охапку сена, чтобы подкинуть её коровам. Но больше всех, должно быть, думал Слимак и, вздыхая, подолгу простаивал у коровника.

Так надвигалось несчастье среди всеобщего молчания, которое нарушил сам Слимак. Однажды ночью он вдруг вскочил и уселся на постели.

— Что ты, Юзек? .. — спросила жена.

— Ох! .. Приснилось мне, что у нас совсем кончилось сено и вся скотина передохла.

— Во имя отца и сына... Типун тебе на язык! ..

— Нет, нехватит нам сена на пять голов, ничего не поделаешь, — сказал мужик. — Я и так и сяк прикидываю, но всё понапрасну.

— Что же ты будешь делать?

— Кто его знает? ..

— А может... ..

— Придётся одну продать, — закончил мужик.

Слово было сказано. Дня через два Слимак, зайдя в корчму за горелкой, намекнул Йоселю насчёт коровы; и уже в понедельник к нему явились два мясника из местечка.

Слимачиха — та и говорить с ними не захотела, а Магда расплакалась. Пришлось выйти во двор Слимаку.

— Ну как, хозяин? — начал один из мясников, — вы хотите продать корову?

— Да кто его знает...

— Это которая? — покажите-ка.

Слимак молчал; тогда отозвался Овчаж:

— Уж ежели продавать, так Лысую...

— Приведите её, — настаивал мясник.

Матек пошёл в загон и через минуту привёл несчастную корову. Она, казалось, была удивлена, что её вывели во двор в необычное время.

Мясники осмотрели Лысую и, посоветовавшись о чем-то, спросили цену.

— Кто его знает... — снова сказал Слимак.

— Чего тут много толковать? Сами видите, корова старая. Пятнадцать рублей дадим.

Слимак снова умолк, и снова его выручил Овчаж, вступивший в торг с мясниками. Евреи кричали во весь голос, ругались на чём свет стоит, тянули и дергали корову во все стороны и, наконец, перессорившись друг с другом, дали всенадцать рублей. Один накиннул веревку на рога, другой хватил её палкой по спине — и в путь...

Корова, видимо, почувяла кровавую развязку и не хотела двинуться с места. Сначала она повернула было к стойлу, но мясники оттащили её к воротам; потом она заревела так жалостно, что Овчаж побледнел, и, наконец, уперлась в землю всеми четырьмя ногами. Глаза её, выкатившиеся от ужаса, тоскливо глядели на хозяина.

Из хаты донёсся плач Магды, хозяйка не решилась даже выглянуть во двор, а Слимаку, при виде задыхавшейся, загнанной коровы, чудилось, будто она шепчет:

— Хозяин, хозяин, гляди-ка, что это со мной делают... Угоняют меня отсюда, на убой гонят!.. Шесть лет я у вас прожила; всё, что

надо было, делала. Спаси же меня от гибели!..
Хозяин... хозяин!..

Слимак молчал. Поняв, что её ничто не спасёт, корова в последний раз оглянулась по сторонам и — побрела за ворота.

Когда она, шлёпая по грязи, выбралась на дорогу, за ней потащился и Слимак. Он шёл в отдалении, сжимая в кулаке деньги, и думал:

«Стал бы я тебя продавать, кормилица ты моя, благодетельница, кабы не боялся пушей беды?.. Не я виноват в твоей гибели. Господь бог прогневался на нас и по очереди посылает на смерть».

Время от времени корова, словно не веря самой себе, оглядывалась назад, на свой дом. И Слимак снова шёл за нею следом, всё ещё колеблясь в душе: не отдать ли деньги и не отобрать ли скотину? Он спас бы её, даже доплатил бы, если бы в эту минуту кто-нибудь предложил ему сена на зиму.

На мосту мужик остановился и, опершись на перила, тупо уставился на воду. Ох, не ладится что-то в хозяйстве!.. Работы нет, зерна никто не покупает, летом умер его сын, осенью погибает скотина: что-то принесёт зима?

И снова промелькнуло у него в голове:

«Сейчас ещё можно выкупить беднягу!.. А к вечеру будет поздно».

Вдруг позади себя он услышал голос старика Гаммера.

— Вы не к нам идёте, хозяин?

— Пошёл бы, — сказал Слимак, — кабы вы продали мне сена.

— Тут сено не поможет, — проговорил старик, не вынимая трубки изо рта, — всё равно, мужику не устоять перед колонистами. Продайте мне свою землю: и вам будет лучше и мне...

— Нет.

— По сто рублей дам за морг!..

Слимак руками развёл от удивления и, покачав головой, сказал:

— Да что вы, пан Гаммер! бес вас, что ли, мутит?.. Мне и так тошно, что по вашей милости пришлось скотину продать, а вы ещё хотите, чтоб я всё своё добро вам продал! Да я до порога не дойду, помру на месте, ежели мне придётся из хаты уходить, а коли выйду за ворота, так прямо и везите меня на погост. Для вас, немцев, перебираться с места на место ничего не стоит: такой уж вы бродяжный народ — сегодня тут, завтра там. А мужик — он осёл, или вот как камень у дороги. Я тут каждый уголок наизусть знаю, любым лазом впотьмах пройду, каждый комок землицы своей рукой перестрогал, а вы говорите: «Продай да ступай на все четыре стороны!» Куда я пойду? Да я за костёл заеду и то, как слепой, тычусь, и боязно мне, что всё тут кругом чужое. Гляну на лес — не такой он, как дома; гляну на куст — такого я у нас не видал; земля тут тоже другая, да и солнце у вас всходит и заходит по-иному... А что я буду делать с женой да с мальчишкой, если мне придётся уходить? Что я отвечу, если заступят мне дорогу отец с матерью и скажут: «Побойся бога, Юзек, где ж мы тебя найдём, когда нас станут здóрово донекать па том свете? Дойдёт ли твоя молитва до наших могил, когда ты заберёшься бог весть куда, на край света?..» Что я им скажу, что я скажу Стасеку, который из-за вас здесь голову сложил?

Гаммер слушал, дрожа от гнева, и чуть было не швырнул свою трубку наземь.

— Что ты тут сказки рассказываешь! — закричал он. — Мало разве ваших мужиков продали

хозяйства, ушли на Волынь и живут там сейчас, как паны? Отец к нему придёт с того света! Слыхано ли это? Ты смотри, как бы из-за твоего упрямства тебе самому не погибнуть и меня не сгубить! Из-за тебя у меня сын отбился от рук, нет денег платить за землю, соседи меня изводят... Ты что же — думаешь, что в твоей дурацкой горе клад зарыт? Я хочу её купить, потому что это лучшее место для ветряной мельницы. Я даю по сто рублей — цена небывалая, — а он мне рассказывает, что в другом месте он жить не может!.. Verfluchter!..

— Сердитесь не сердитесь, а я своей земли не продам.

— Нет продашь! — крикнул Гаммер, погрозив ему кулаком, — да я её у тебя не куплю!.. А ты здесь не проживёшь и года...

Он повернулся и пошёл домой.

— И мальчишке своему скажи, чтобы он не смел шляться в колонию, — прибавил старик, останавливаясь. Не для вас я привёз сюда учителя.

— Эка важность! Ну, и не будет ходить, раз вы ему воздуха жалеете в хате, — проворчал Сликак.

— Да, для него мне и воздуха жалко, — выходил из себя Гаммер. — Отец дурак, так пусть и сын будет дураком.

Они расстались. Мужик до того обозлился, что даже о корове подумал вдруг с раздражением.

— Пусть ей там глотку перережут, коли так, — бормотал он про себя.

Но, сообразив, что корова ничем не виновата в его ссоре с Гаммером, снова вздохнул.

Из хаты доносились вопли. Это плакала Магда, оттого что хозяйка отказала ей от места.

Слимак молча уселся на лавку, а жена продолжала толковать девушке:

— Харчей-то у нас хватит — это что говорить, но где я для тебя денег возьму на жалованье и на подарки? Ты сама посуди: девка ты взрослая, на новый год тебе надо прибавить жалованья, а нам не то что прибавить, нам просто нечем платить. К тому же тебе сейчас и делать у нас нечего, раз корову продали... Ты, стало быть, завтра или послезавтра сходи к дяде, — продолжала хозяйка, — расскажи про нашу беду: покупать, мол, у нас ничего не покупают, заработка никакого нет, а корову пришлось мясникам отдать. Всё расскажи, поклонись ему в ноги и проси, чтобы он тебе хорошее место подыскал. И чем скорей, тем лучше. А, бог даст, полегчает, ты к нам опять воротись.

— Ого! — пробормотал Овчаж, слушая из угла. — Нет, уж раз уйдешь, не вернёшься.

И, помолчав, прибавил:

— Скоро, видно, и я у вас кончу хозяйствовать. За коровой Магда, за Магдой я.

— Полно, Матек, живи себе да живи, — прервала его хозяйка. — За лошадьми всё равно кому-нибудь надо ходить, а не отдадим тебе нынче жалованья, получишь всё сразу на будущий год. Магда — другое дело. Она девка молодая, ей и того и другого надо, что же ей сохнуть в нужде?

— Это-то верно, — подтвердил, поразмыслив немного, Овчаж. — Я даже так скажу: хорошо ещё, что вы в своём горе подумали о том, чтобы её девичий век не заедать.

Слимак молчал, удивляясь уму жены, которая сразу смекнула, что Магде уже нечего у них делать. И в то же время его охватил ужас при мысли, что хозяйство так быстро разваливается.

Долгие годы они работали, откладывая на третью корову и на работницу, а одного дня оказалось достаточно, чтобы обеих прогнать из дому.

«Либо я столярничать начну, либо ксендза спрошу, что делать, либо уж сам не знаю что... Только что же мне ксёндз-то скажет?... Даже если я обедню закажу за добрый совет, так обедню мне ксёндз пропоёт, а совета всё равно не даст. Да и откуда ему его взять? А может, потом оно и само образуется? Наверное, образуется. Господь бог — он как отец: начнёт бить, так бьёт, — кричи, не кричи, — пока он себе руку не отмахает. А там — смотришь — опять смиловится, надо только терпения набраться и оттерпеть своё».

Так размышлял Слимак, покуривая трубку. Жаль ему было Магду, ещё жальче корову, вспомнились ему и луг, и Стасек, и пугавшие его немцы, но что было делать? Только терпеливо ждать, куда всё само собой образуется.

Вот он и ждал.

В начале ноября Магды уже не было у Слимаков; она ушла к дяде, а от дяди на новое место. В хате и след её простыл; только изредка хозяйка спрашивала себя: правда ли, что тут в горнице бродил Стасек, что у этой печки возилась какая-то Магда, а в загоне стояли три коровы?..

Между тем в окрестностях участились кражи. Слимак каждый день собирался купить в местечке щеколды и замки для амбара и овина или хотя бы вытесать шесты и на ночь закладывать ими двери.

«Воруют у других, так и меня могут обворовать», — думал мужик и даже протягивал руку за топором, чтобы вытесать по крайней мере засовы.

Но всегда оказывалось, что либо топор далеко, либо рукой до него никак не достать, и на этом он успокаивался.

Иной раз, наслушавшись рассказов о кражах, мужик натягивал свой зипун и лез в сундук за деньгами, чтобы купить щеколды. Но при мысли о том, что придётся в такие времена тратиться на покупку, его начинало мутить. Он скорее убирал деньги на дно и снимал зипун — подальше от соблазна.

— Придётся обождать до весны, — говорил он. — А на это время — авось господь нас помилует и упасёт от убытка; да и Овчаж с Буреком укараулят. Ого! Их не проведёшь...

Словно в подтверждение этих слов, Бурек выл и лаял ночи напролёт, а Овчаж поднимался по нескольку раз и, накинув на плечи зипун, обходил двор.

Однажды, в тёмную ночь, когда с неба сыпал мокрый снег, а на земле ледяная каша стояла по щиколотку, Бурек вдруг бросился куда-то к оврагам и залился отчаянным лаем. Овчаж вскочил с своей подстилки и, смекнув, что кто-то находится за амбаром, разбудил Сликама. Вооружившись кольями и топором, спотыкаясь и скользя в слякоти, они пошли на лай. Вдруг собака заскулила, словно её ударили.

— Воры, — шепнул Матек.

Одновременно послышались шаги: было похоже, что двое несут какую-то тяжесть.

— На-на!.. Ноди сюда!.. На-на!.. — подманивал кто-то собаку, но, почуввав за собой хвост, она бросилась с ещё большей яростью.

— Поймаем их, — спросил Матек Сликама, — или не стоит связываться?

— Кто ж их знает, сколько их там, — ответил Сликама.

В эту минуту в колонии Гаммера зажглись огни, на дороге послышался конский топот и крики:

— Хватай! Лови!

— Держи!.. — заорал Овчаж, а Слимак, высунувшись вперёд, гаркнул:

— Эй, вы, что за люди?..

В нескольких шагах от него на землю упала какая-то тяжесть, а из темноты донёсся голос:

— погоди, швабский сторож!.. Ты ещё узнаешь, что мы за люди..

— Лови, лови! — крикнул Слимак.

— Бей его! — завопил Овчаж.

И они вслепую двинулись к оврагу. Но воры уже бросились наутёк, ругая Сликама на чём свет стоит.

Тотчас же примчались верхами немцы, а Ендрек выскочил во двор с зажжённой лучиной. Все столпились за амбаром и в красном пламени лучины разглядели в грязи заколотого борова.

— Эге, наш боров! — воскликнул Фриц Гаммер.

— Утащили у вас? — спросил Слимак.

— Закололи и утащили, хотя в доме горел свет.

— Смелые бестии! — заметил Овчаж.

— А мы думали, — отозвался с лошади батрак Гаммера, — что это вы воруете.

И захохотал.

— Хорошо же вы нас благодарите за помощь! А чтоб вам... — проворчал Слимак.

— Пойдём за ними, — взволнованно проговорил Фриц, — может, ещё кого-нибудь поймаем.

— Ну, и ступайте, — сердито ответил Слимак. — Вишь, какие!.. У себя в хате говорят, что мы воруем, а здесь просят, чтобы мы из-за них башку подставляли.

— Я пойду с ними, тятя, — попросился Енд-рек.

— Сейчас же ступай домой и Бурека тащи за загривок, — крикнул отец. — Ведь этакого борова им спасли! Из-за него воры нам угрожают, а они говорят, будто мы воруем!..

Фриц Гаммер успокаивал их и даже выругал батрака, но мужики вернулись домой. Правда, вместо них подоспело несколько мужчин из колонии, но у Гаммера пропала охота гнаться за ворами, и немцы, захватив борова, впотьмах, по грязи вернулись к себе на ферму.

Через несколько дней явился вахмистр, выслушал колонистов, допросил Слимака, навестил Поселя, обшарил овраг со всех сторон, вспотел, вымазался в грязи, но — никого не нашёл. Однако в результате этих поисков он пришёл к совершенно правильному выводу, что воры давно удрали. Потом, приказав Слимачихе положить ему в бричку горшок масла и жёлтую с черными крапинками курочку, он вернулся домой.

На некоторое время кражи прекратились, однако Слимак, помня угрозу воров, постоянно думал о том, что надо бы поставить щеколды в амбаре и овине, а кроме того вытесать засовы для конюшни. Оба эти дела он откладывал со дня на день, памятуя пословицу: «что скоро, то неспоро» и дожидаясь либо изобретения более усовершенствованных дверных запоров, либо наступления хорошей погоды.

— Надо бы купить щеколды, — говорил он, — да чего зря сапоги трепать по такой грязи?

Между тем установилась зима. На холмы лёг плотный покров толщиной с добрых пол-аршина; Бялка покрылась льдом, твёрдым как кремень, дороги стали ровные и гладкие, господь бог одел ветви деревьев в снеговые сорочки, а Слимак

всё ещё размышлял о засовах и щеколдах. Он так накуривал своей трубкой, что в горнице дым стоял столбом, закидывал ногу на ногу, сидел за столом, подперев голову то правой, то левой рукой, и всё думал. И однажды вечером, когда он подходил к концу своих размышлений, в хату влетел Ендрек в сильном волнении. Мать возилась у печки и не обратила на него внимания, но отец, несмотря на скудное освещение, сразу заметил, что у Ендрека изорван зипун, растрёпаны вихры и подбит глаз.

Словно невзначай, он оглядел с одной и с другой стороны запыхавшегося мальчишку, додумал до конца свою думу, вытряхнул пепел из трубки, сплюнул и сказал:

— Кажись, паренёк, кто-то тебя по морде съездил?.. И, пожалуй, разика три..

— Я ему больше надавал, — хмуро ответил Ендрек.

Мать, в эту минуту выходявшая в сени, не слышала их разговора. Отец же не спешил с допросом, потому что прочищал проволокой свой забитый чубук. Продув его хорошенько, он снова начал:

— Кто ж это тебя так угостил?

— Да этот прохвост Герман, — буркнул Ендрек, поводя лопатками так, словно его что-то кусало.

— Тот, что у Гаммера живёт? — спросил отец.

— Он самый.

— А что ты делал у Гаммера, тебе ведь было велено туда не ходить?

— Да так, в окошко к учителю заглянул, — ответил сильно покрасневший парень и поспешно прибавил: — А это чортово семя выскочил из кухни да и давай орать: «Ты что, говорит, подглядываешь в окна, воровать пришёл?» — «Что

же я у тебя украл?» — спрашиваю его. «Пока, говорит, ничего, а наверняка украдёшь». И как заорёт: «Уходи вон отсюда, не то дам тебе в зубы!» А я говорю: «Попробуй!» А он: «Ну вот, и попробовал». Я ему: «А ну, попробуй ещё!» А он: «Вот тебе и ещё...»

— Прыткий шваб! — проворчал Сликамак. — А ты ему ничего?

— А что мне делать? — возмутился Епдрек. — Взял полено да и раскровянил ему морду. А этот подлец в один момент свалился на землю. Я хотел было ему ещё всыпать, чтобы не представлялся, но тут выскочили из хаты эти, как их там... Фриц — тот даже ружьё схватил; ну, я и задал дёру.

— И не догнали тебя?

— Так они и догнали, когда я улепётывал, словно заяц.

— Горе с этим мальчишкой, — откликнулась мать, прослушав его историю. — Дождётся он, что швабы его поколотят.

— Что они ему сделают, — ответил отец. — На ноги он попроворнее их; ну, и удерёт, когда понадобится.

Он набил трубку и снова принялся раздумывать о ворах, засовах и щеколдах.

Однако на завтра, ровно в полдень, к хутору подошли Фриц Гаммер, его брат Вильгельм и батрак Герман. У батрака вся голова была обвязана тряпкой, и только чуть-чуть был виден один глаз. Все трое остановились у ворот, и Фриц закричал, подзывая Овчажа:

— Эй, ты!.. Скажи хозяину, чтобы вышел.

Сликамак услышал крик и выбежал из хаты, застёгивая на ходу пояс на рубашке.

— Чего вам? — спросил он.

— Идём в суд с жалобой на твоего разбойника! — сердито ответил Фриц. — Вот, погляди, как он изувечил Германа... У меня есть свидетельство от фельдшера о том, что раны опасные, — сказал он, показывая мужику лист бумаги. — За это он посидит в тюрьме, ваш Ендрек...

— На дочку учителя вздумал заглядываться... Пусть-ка теперь из-за решётки поглядит... — невнятно бубнил Герман, у которого всё лицо было обмотано повязкой.

Слимак слегка встревожился.

— Постыдились бы, — сказал он, — из-за таких пустяков ходить в суд. Ведь Герман тоже дал ему раза два по морде, а мы в суд не идём.

— Ну да! Дал, в самый раз... — бубнил Герман. — А где у него следы?.. Где кровь?.. Где свидетельство фельдшера?..

— Хороши! — говорил Слимак. — Когда мы борова спасли, так ни один из вас вахмистру не сказал, что это мы. А чуть парнишка — просто так, в шутку — стукнул Германа палкой, вы уже в суд бежите...

— Видно, у вас одна цена борову и человеку, — отрезал Фриц. — А у нас не разрешается увечить людей... Вот посидит в тюрьме, так отучится разбойничать, хамская морда!..

И все трое отправились в волость.

После этого случая Слимак забыл о ворах, засовах и щеколдах и стал раздумывать о том, что сделает суд с его Ендреком. Нередко он призывал на совет Овчажа.

— Знаешь, Матек? — говорил он. — Я так смекаю, что ежели в суде поставят нашего мальчика, стало быть Ендрека, против этакого верзилы, как Герман, так, может, нашему ничего не будет?

— Ну, конечно, ничего не будет, — поддакивал батрак.

— А всё-таки, — продолжал Слимак, — любопытно бы знать, какое могут дать наказание за побои?

— Головы не снимут, — отвечал Овчаж, — да и ничего особенного ему не сделают. Помнится, когда Шимон Кравчук избил до крови Вуйтика, так Шимона на две недели посадили под арест. А Потоцкую, анджеёву жену, за то что изувечила горшком Макологвяпку, всего только оштрафовали.

Слимак призадумался и, помолчав, сказал:

— Это верно. У нас тоже, бывало, подерутся люди, но никого из них за это не сажали. Я только того боюсь, что немец-то, пожалуй, подороже мужика.

— С чего же это нехристь будет дороже?

— Нет, как там ни говори... Ты вспомни, как их сам вахмистр обхаживает. С Гжибом он никогда так не разговаривал, как с Гаммером.

— Это правда, но и вахмистр тоже: посмотрит по сторонам, да с глазу на глаз и скажет, что немец — мразь.

— Ведь у немцев свой царь, — заметил Слимак.

— Ну, ихний царь против нашего ничего не стоит. Я наверняка знаю: когда я лежал в больнице, был там один солдат, он мне всегда говорил: «куда ему!..»

Последнее замечание несколько успокоило Слимака. Тем не менее, он не переставал размышлять о наказании, которому мог подвергнуться Ендрек, и в ближайшее воскресенье вместе с женой и сыном отправился в костёл, чтобы узнать мнение людей, более опытных в судебных делах.

Дома остался один Овчаж — забавлять сиротку и присматривать за горшками в печке.

Было уже часа два или три, когда во дворе яростно залаял Бурек; он хрипел и бесновался так, словно его кто-то дразнил. Овчаж выглянул в окно и увидел возле хаты незнакомого человека, одетого по-городскому. На нём был длинный заячий тулуп, из-под надвинутой на брови шапки почти не видно было лица.

Батрак вышел в сени.

— Чего вам?

— Сделайте милость, хозяин, — ответил незнакомец, — выручите из беды. Тут, неподалеку от вашей хаты, у нас сломались сани, а у меня нынешней ночью украли топор из кузова, так что сам я не могу их починить.

Овчаж с недоверием посмотрел на него.

— А вы откуда, издалека? — спросил он.

— Шесть миль отсюда. Едем с женой к родным ещё за четыре мили. У меня с собой хорошая водка, я вас угощу и колбасы дам, только выручите, пожалуйста.

Упоминание о водке несколько ослабило подозрительность Матека. Он ещё несколько раз покачал головой, помешкал немного, но в конце концов, ради спасения ближнего, оставил сиротку в хате и, прихватив топор, пошёл за путником.

Действительно, неподалеку стояли сани, запряжённые в одну лошадь, а в санях сидела и ёжилась какая-то баба, закутанная ещё плотнее, чем ее муж. Увидев Овчажа, баба плаксивым голосом стала его благословлять, путник же поступил гораздо учтивее и сразу же вышел с Матеком из большой бутылки.

Батрак, отказавшись для приличия, приложился к бутылки так, что его даже слеза прошибла,

и затем принялся чинить сани. Работы оказалось немного, всего-то на полчаса, но благодарность путников не имела границ. Баба дала Овчажу кусок колбасы и четыре баранки, а муж до того расчувствовался, что воскликнул:

— Немало я ездил по свету, но такого славного мужика, как ты, брат, ещё не встречал! За это я хочу дать тебе что-нибудь на память. Нет ли у тебя, братец, бутылки?

— В хате, пожалуй, найдётся, — ответил Матек дрогнувшим от радости голосом, чувствуя, что ему оставят водки.

Путник согнал бабу с сиденья и достал чёрную бутылку из толстого стекла.

— Пойдём, — сказал он батраку. — Так и быть, подари мне, брат, из милости несколько гвоздей, на случай, если опять сломаются сани, а я тебе за твою помощь дам такого зелья, что куда до него водке!.. Тут тебе вместе и водка и лекарство.

Они бодро зашагали к хате, и незнакомец продолжал:

— Голова ли, живот ли у тебя заболит, ты сейчас же опрокинь рюмку этого питья. Сон ли пропадёт, горе ли у тебя какое, лихорадка ли замучает, глотни только моего питья, и вся хворь, как пар, из тебя выйдет. Ты смотри — береги это питьё, — говорил путник, — не давай его кому попало: это тебе не сивуха. Ещё мой дед-покойник выучился его готовить у монахов в Радечнице. Даже от дурного глаза помогает, всё равно, как святая вода.

Незаметно они дошли до хутора. Матек отправился в хату за гвоздями и бутылкой, а незнакомец остался во дворе, небрежно оглядывая дворовые постройки и отгоняя Бурека, который бросался на него, как бешеный. В другое время

ярость его заставила бы Овчажа призадуматься, но теперь он не мог заподозрить гостя, который за пустячную работу поднёс ему водки и колбасы да ещё обещал оставить чудесное питье. Поэтому батрак вынес из хаты пузатую бутылку и, ухмыляясь, подал её путнику, а тот, не скупясь, отлил ему своего зелья, снова напомнив, чтобы тот не угощал им кого попало да и сам бы пил только в особых случаях.

Наконец они распрощались. Незнакомец побежал к саням, а Овчаж заткнул бутылку тряпицей и спрятал её в конюшне под кормушкой. Его так и разбирала охота попробовать каплю чудесного питья, но он пересилил себя, подумав:

«Мало ли что! человек может ведь и захворать. Лучше оставим про всякий случай».

Тут Матек выказал незаурядную силу воли. Как на беду, Слимаки замешкались в костёле, и бедняге не с кем было словом обмолвиться. Он пообедал, просидев за столом дольше обыкновенного, убаюкал сиротку, потом опять её разбудил и начал ей рассказывать про больницу, где ему починили сломанную ногу, и о путниках, которые так щедро его угостили. Но, несмотря на все старания отвлечься, из головы у него не выходило спрятанное под кормушкой снадобье монахов из Радечницы. Куда бы он ни смотрел, везде ему мерещилась пузатая бутылка. Она выглядывала из-за горшков в печке, зеленела на стене, поблёскивала под лавкой, чуть ли не стучалась в окно, и бедный Матек только жмурился и говорил про себя:

— Отстань ты! Пригодится на чёрный день.

Перед самым закатом Овчаж услышал издали вссёлую песню. Он выбежал за ворота и увидел возвращавшееся из костёла семейство Слимака.

Они остановились на горе, и казалось, их тёмные силуэты спустились на снег с багрового неба. Ендрек, задрав голову и закинув за спину руки, шагал по левой стороне дороги; правой стороной пробиралась хозяйка в расстёгнутой синей кофте, из-под которой виднелась сорочка, еле прикрывавшая грудь; сам хозяин, в шапке набекрень, подобрав полы зипуна, словно собираясь плясать, шёл, пошатываясь из стороны в сторону, и распевал во всю глотку:

За овинном, за амбаром
Что ты льнёшь ко мне задаром?
Заору благим я матом, —
Прибегут папаша с братом...
Хоть сердись, хоть не сердися,
Как упрусь я, ты смиришься.

Глядя на это веселье, батрак даже засмеялся от удовольствия, но не над пьяными, а потому, что очень уж им хорошо было в эту минуту.

— Знаешь, Матек!.. — завопил издали Слимак, заметив стоявшего у ворот батрака, — знаешь, Матек, ничего нам швабы не сделают!..

Он подбежал к Овчажу и грузно оперся на его плечо.

— Знаешь, Матек, — продолжал хозяин, направляясь вместе с ним к хате, — встретили мы в костёле Ясека Гжиба. Прохвост порядочный, но хороший парень! Как сказали мы ему, что Ендрек вздул Германа, он на радостях поставил нам целую кварту водки и клялся истинным богом, что на суде Ендрека отпустят... А уж Ясек понимает в этом толк, недаром он писал в канцелярии, да и сам не раз бывал под судом за всякие штуки. Ого! Этот уж понимает...

— Пусть только эти прохвосты засадят меня в каталажку, уж я их подожгу!.. — выпалил сильно раскрасневшийся Ендрек.

— Не болтай ты зря! — накинулась на неё мать. — Ещё когда-нибудь они в самом деле погорят, на тебя и подумают...

В таком настроении они вошли в хату и уселись за стол. Но сегодня всё как-то не ладилось: хозяйка, подавая щи, больше пролила на стол, чем в миску; у хозяина совсем пропал аппетит, а Ендрек забыл, в какой руке полагается держать ложку. Он переключивал её из одной руки в другую, облил зипун и, наконец, ошпарив ногу отцу, с досадой отправился спать. Примеру его не замедлили последовать родители, и через несколько минут вся семья Слимака спала, как убитая.

Овчаж остался в одиночестве, опять ему не с кем было слово сказать, и опять ему вспомнилась пузатая бутылка под кормушкой. Напрасно он старался прогнать эту мысль, мешая догорающие угли в печке или заправляя фитиль в потрескивающей лампе. От храпа Слимака его стало клонить ко сну, а носившийся в хате запах водки наполнял его сердце невыразимой тоской. Тщетно он пытался рассеять невесёлые думы: как мотыльки над огнём, они кружились над его головой. Позабудет он о больнице, — из головы не идёт горе покинутой найдёнки; позабудет о бедной сиротке и тут же начинает тужить о своей горькой доле.

— Ну, ничего не поделаешь, — пробормотал батрак, — надо и мне ложиться спать...

Он завернул ребёнка в тулуп и пошёл из хаты. В конюшне он улёгся на свой тюфяк и, ощущая на себе теплое дыхание лошадей, закрыл было глаза — всё напрасно. Сон не приходил, потому что рано ещё было спать.

Наконец, ворочаясь с боку на бок, он нечаянно задел рукой бутылку с питьём монахов. Он отодвинул её, но бутылка, нарушая закон инер-

ции, всё назойливее лезла ему в руки. Он хотел покрепче заткнуть её тряпицей, но непонятным образом тряпка осталась у него в руках, а когда он машинально поднёс бутылку к глазам, чтобы посмотреть, что там творится, горлышко удивительного сосуда само прыгнуло ему в рот, и Матек, даже не думая, что делает, проглотил изрядную толику целебного снадобья.

Проглотил и поморщился в темноте: питьё оказалось не только крепким, но и тошнотворным. Ни дать ни взять — лекарство.

«На что польстился», — подумал Овчаж и, закупорив бутылку, сунул её поглубже под кормушку.

В то же время он решил в будущем быть воздержаннее и без надобности не потреблять этого питья, которое отнюдь не отличалось приятным вкусом.

Он прочитал молитву, и ему сразу стало теплей и приятней. Ему вспомнилось возвращение Слимаков из костёла: странное дело — они, как живые, встали у него перед глазами. Ендрек вдруг куда-то исчез (в эту минуту Овчаж не был уверен, существовал ли вообще на свете какой-то Ендрек!), Слимак отправился спать, но куда-то далеко-далеко, и с ним осталась только хозяйка — в синей расстёгнутой кофте, из-под которой виднелись нитки бус, спустившаяся сорочка и белая грудь.

Овчаж закрыл глаза и даже придавил их пальцами, чтобы не глядеть. Но, несмотря на это, он всё-таки видел Слимачиху, и она улыбалась, так странно улыбалась. Он накрыл голову тулупом — напрасно! Женщина всё стоит и смотрит на него так, что у него огонь пробегает по всему телу. Кровь бурно колотится в жилах, словно горячий вар. Матек повернулся к стене и вдруг (о страш-

ная минута!) почувствовал, что кто-то стоит подле него и шепчет: «Подвинься...» Он подвинулся так, что дальше было некуда, и опять услышал тот же голос: «Ну, подвинься...» — «Куда же подвинуться, раз тут стена?» — спрашивает Матек... «Подвинься же!» — шепчет тихий нетерпеливый голос, и в то же время тёплая рука обнимает его за шею.

И вот Овчажу кажется, что его подстилка закачалась. Летит... летит... летит... Боже, куда же он падает?.. Нет, он не падает, он несётся по воздуху, лёгкий, как пёрышко, как дым. Он открывает глаза и видит: над снежными холмами в тёмном небе искрятся звёзды. Откуда же небо?.. ведь он лежит в запертой конюшне? А всё-таки небо видно. Но каким образом?.. Нет, его снова не видно, опять кругом темнота. Он хочет двинуться и не может. Да и зачем двигаться, раз ему и так хорошо? И есть ли на свете хоть что-нибудь, ради чего стоило бы ударить пальцем о палец? Нет, ничего такого не существует или, вернее, есть, по только одно: это сон, который в эту минуту им овладел, сон настолько глубокий, что ему никогда бы не хотелось просыпаться. Ах, как трудно дышится, но он засыпает... засыпает... засыпает...

Он спал без сновидений, должно быть, часов десять. Разбудило его ощущение боли. Матек почувствовал, как кто-то сильно его встряхнул, потом ткнул ногой в бок и в голову, наконец дёрнул за руки, рванул за волосы и заорал над ухом:

— Ну, вставай, вор проклятый, вставай!..

Овчаж попробовал встать, но, вместо этого, повернулся на другой бок. Тотчас же удары по голове и встряхиванье возобновились с ещё боль-

шей силой, и чей-то сдавленный голос (так показалось батраку) снова закричал:

— Вставай ты!.. Чтоб тебе сквозь землю провалиться!..

Матек поднялся и сел. Голова его отяжелела, как камень, глаза резало от дневного света, и он их снова закрыл, подперев голову рукой. Он попытался собраться с мыслями; в первую минуту ему показалось, что он угорел.

Но вот снова ударили кулаком по лицу — раз и ещё раз. Матек с трудом открыл глаза и увидел, что бьёт его Слимак.

— За что вы меня бьёте? — в изумлении спросил Матек.

— Где лошади, вор проклятый?.. — ревел взбешённый Слимак.

— Лошади?.. — пробормотал Матек.

Он пополз на четвереньках со своей подстилки, вылез во двор и опять повторил:

— Лошади... Какие лошади?

И вдруг его вырвало. После этого он немного пришёл в себя и поглядел на конюшню. Как будто там чего-то нехватает. Он потёр себе лоб, стараясь разбудить ленивую мысль, и снова поглядел. Конюшня была пуста.

— А лошади где? — в свою очередь спросил Овчак.

— Где?.. — крикнул Слимак. — Ты своих дружков спроси, куда они их угнали, — вор!..

Батрак в изумлении развёл руками.

— Я лошадей не угонял, — сказал он. — Всю ночь я не выходил отсюда... Что-то со мной неладно, видно я захворал...

Он покачнулся, но удержался, схватившись за косяк.

— Нечего тут болтать!.. Чего дурака валяешь, не видишь разве, что лошадей у меня укра-

ли? . . . — говорил, вскипая гневом, Слимак. — Ведь ворам надо было ворота отомкнуть да через тебя лошадей провести.

— Никто тут ворот не отпирал и лошадей через меня не проводил, накажи меня бог, коли я вру! — сказал Овчаж, ударяя себя кулаком в грудь.

И вдруг заплакал.

В эту минуту из-за амбара прибежали Ендрек и Слимачиха.

— Тятя! — кричал мальчик, — Бурек околел, лежит под забором. . .

— Воры его отравили, — прибавила мать, — видно, что пена у него шла. . . Так и замёрзла на морде.

Овчаж не мог держаться на ногах и присел на пороге.

— Да и с этим что-то сделалось, — сказал Слимак, — стал совсем полоумный. Насилу его добудился. . . Да ещё хворь к нему привязалась. . .

— Пусть бы его черти скорей побрали! — крикнула Слимачиха, грозя кулаком. — Спал в конюшне и дал лошадей украсть. . . Чтоб ему ни дна ни покрывки, когда подохнет!

Ендрек нагнулся за камнем, чтобы швырнуть в Овчажа, но родители удержали его. Присмотревшись получше, они заметили, что батрак изменился до неузнаваемости. Лицо у него посерело, губы стали бледные, как у покойника, глаза запали.

— Может быть и его отравили? — шепнула хозяйка.

Слимак пожал плечами, не зная, что отвечать. Затем стал допрашивать батрака, не был ли кто вчера в их отсутствие и не угощал ли его.

Медленно, с усилием, ничего не тая, Матек рассказал о путнике, которому он починил сани, а также о снадобье монахов из Радечницы и заключил, всхлипывая:

— Видать, дали мне какого-то поганого зелья, чтобы лошадей увести...

Но Слимак, вместо того чтобы пожалеть его, снова впал в бешенство.

— А ты взял у него и выпил? — кричал он. — И не пришло тебе в голову рассказать мне об этом, когда мы вернулись из костёла, а?

— Как тут было рассказывать, — ответил Матек, — когда вы сами малость подвыпили?..

— А тебе что до этого?.. — заорал Слимак. — Твоё собачье дело не подглядывать, пьян я или не пьян, а если я и напился, то смотреть в оба, чтобы чего-нибудь не утащили... Ты же такой вор, как и они, — даже хуже их, потому что я тебя взял, когда ты с голоду подыхал, а ты за это что со мной сделал, неверный ты человек!..

— Ох, не говорите так! — простонал Овчак.

Он сполз с порога и повалился в ноги Слимаку.

— За вами осталось, — всхлипывал он, — моё зажитое жалованье... Возьмите его себе... Ещё тулун у меня есть, хоть худой, а всё-таки... есть, зипун да сундучок... Всё заберите себе, только не говорите так... Уж кто был вернее собаки, а и её отравили.

Но Слимак в остервенении оттолкнул его.

— Что ты мне голову дуришь! — яростно закричал он. — Сундук мне свой отдаёт да жалованье, а лошади стоили не меньше восьмидесяти рублей... За целый год я не скопил столько, чтобы можно было лошадей купить... Восемьдесят рублей, господи Иисусе!.. Восемьдесят рублей отдать из-за этого прощелыги... Будь ты мне

сын родной, а не бродяга приبلудный, и то бы я тебе не простил... Оба мальчика, хоть они мне и дети, того мне не стоили...

Гнев его возрастал. Дрожа от бешенства, сжимая кулаки, он вопил:

— Да чего мне беспокоиться! Ты виноват, что пропали лошади, ты их и находи, а нет, — я в суд подам жалобу, что ты украл... Ступай, куда хочешь, ищи, как знаешь, но без лошадей на глаза ко мне не показывайся. Убью! Себя загублю, а убью... До того ты мне омерзел из-за этой кражи, что вот схвачу топор и башку тебе раскрою. И щенка своего забирай, зоськина ублюдка, а то сдохнет. Уходите прочь отсюда! С лошадьми вернёшься — всё тебе прощу. А если без них придешь, лучше вешайся, а мне на глаза не попадайся.

— Я буду искать, — сказал Матек, надевая трясущимися руками рваный тулуп. — Авось, господь бог мне поможет...

— Чорта проси, чтобы он тебе помог, раз через твою подлость я теперь разорён, — пробормотал Слимак, повернулся и ушёл.

— А сундук оставь, — сказал Ендрек.

— Так-то он нам отплатил за нашу доброту! — прибавила хозяйка, вытирая фартуком слёзы.

Все трое пошли в хату. И хоть бы кто-нибудь на него ласково поглядел, а ведь он, может быть, уходил навсегда.

Матек остался один, неторопливо собираясь в путь. Он надел на сиротку свой жилет, потом укутал её в лоскут зипуна и прикрыл сверху плахтой. Затем подпоясался кушаком и разыскал во дворе толстую палку.

У него сильно болела голова, а слабость была такая, как после тяжёлой болезни. Но он уже

мог думать и понимал, что произошло. Матек не сердился на Слимака за то, что тот избил его и выгнал из дому, — что поделать: хозяин был прав; батрака не смущало и то, что с этой минуты он лишается крова: у таких, как он, крова никогда не бывает. Его даже не тревожило будущее, как его собственное, так и сироткино, — что ж: мир велик, а господь бог везде. Его мучило другое: жаль было украденных лошадей.

Для Слимака лошади были просто — рабочая сила, но для Овчажа это были друзья и братья. Кто во всём свете тосковал по нём, кто с радостью встречал его, когда он входил в конюшню, кто с ним прощался, когда он уходил, если не Войтек и Гнедой? Столько лет они прожили вместе, вместе терпели нужду, помогали друг другу, кони были утешением его в одиночестве — и вот не стало этих друзей! Кто-то украл их, угнал на голод, на муку, и он, Овчаж, это допустил. . .

Матеку показалось, что он слышит их ржанье. Смекнули бедняги, что с ними случилось, и теперь зовут на помощь. «Иду! Иду!» — бормотал батрак. Он взял ребёнка на руки и, опираясь на палку, заковылял со двора. Матек даже не обернулся в воротах: будет время взглянуть, когда он вернётся с лошадьми.

За амбаром, вытянувшись, лежал Бурек, но Овчажу было не до него: он заметил следы лошадей, отпечатанные на снегу, как на воске. Вот большое копыто Гнедого, а вот сломанное копыто Войтека, там подальше воры сели на лошадей и поехали шагом. До чего осмелели! Но Овчаж найдёт вас, пусть он и хром и слаб, потому что теперь в нём проснулось мужицкое упорство. Если бы вы убежали на край света, он пойдёт и на край света; если бы вы укрылись

под землёй, он руками разроет землю; если бы вы взлетели на небо, он и на небо попадёт и до тех пор будет молча стоять у небесных врат, до тех пор будет докучать своим смиреньем святым, пока они не разбегутся по небу и не приведут ему лошадей. '

С поля следы свернули на дорогу, ведущую к костёлу, но не исчезли. Матек отлично их видел и читал по ним всю историю этого путешествия. Тут вот Гнедой споткнулся, тут Войтек в испуге шарахнулся в сторону, а вон там вор слез с Гнедого и поправил на нём уздечку. Ишь, какие господа эти воры! Уж и воровать ходят в новых сапогах; шляхтич — и тот бы не постыдился выехать в таких на охоту...

Не доходя до костёла, Матек сообразил, что воры свернули с большой дороги; гораздо хуже было то, что они разъехались в разные стороны: тот, что ехал на Гнедом, взял вправо, а тот, что на Войтеке, — влево. Овчаж с минуту подумал и свернул налево; может быть потому, что следы Войтека были заметнее, а может быть и оттого, что он больше любил эту лошадь.

Около полудня, продолжая идти по следу, Матек очутился неподалеку от деревни, где жил кум Слимака, староста Гроховский. Крюк был небольшой, и Матек решил зайти к Гроховскому, рассчитывая, что ему дадут поесть, потому что он успел проголодаться, да и сиротка уже несколько раз начинала плакать у него на руках.

Старосту он застал дома как раз в то время, когда его ругала жена — просто так, без особой причины. Огромный мужик сидел у стены, на лавке, опершись одною рукой на стол, другою на окно, и слушал бабью брехню с таким вниманием, как будто ему в волости читали рапорт. Однако внимание это не было искренним:

всякий раз, как голова жены устремлялась вслед за горшками в печку, Гроховский потягивался, зевал или ударял себя по голове кулаком, с такой гримасой, как будто эта болтовня ему уже давно осточертела.

При чужих жена уступала старосте, дабы не подрывать его авторитета. Поэтому Гроховский радостно встретил Овчажа, велел его покормить чем-нибудь горячим, а девочке 'дать молока. А когда батрак тут же сообщил, что у Слимака украли лошадей и что он, Матек Овчаж, идя по следам воров, зашёл посоветоваться со старостой, Гроховский попотчевал его копчёной свиной и водкой. Он готов был даже составить протокол, но, к несчастью, дома у него, как он выразился, не было канцелярских принадлежностей и бумаги.

Затем он пригласил Матека для секретного разговора в боковушку, где они с час просовещались. Оказалось, что Гроховский давно уже выслеживает воровскую банду и даже знает её вожаков, но пока ничего поделать не может. Никто из них не пойман с поличным, и, что ещё хуже, какие-то влиятельные люди ставят ему палки в колёса. Он назвал Матеку фамилию путника, который за починку саней угостил его питьём радечницких монахов, и объяснил, что ехавшая с ним баба, его жена, вовсе не баба и не жена, а всего навсего — брат Иоселева шурина, переодетый в женское платье.

Теперь Матеку стало ясно, почему молодой Гжиб вчера, после обедни, с такой охотой угощал обоих Слимаков и напоил их 'допьяна, но он поклялся старосте, что до поры до времени рта не раскроет.

— Если подать в суд, — кончил Гроховский, — ничего мы не поделаем с этими прохво-

стами. Надо самим с ними справиться; следует их подстеречь в укромном местечке и первым делом установить, кто ворует. Тогда и лошади найдутся; ты о них не горюй.

Овчаж обнял его ноги и сказал:

— Всё сделаю, что прикажете, староста, хоть бы пришлось мне голову сложить.

— Ты сделай так, — сказал староста. — По следу за моей хатой незачем идти, я и без того знаю: он ведёт к Иоселеву шурина. Но любопытно мне знать про другой след, направо от дороги; не приведёт ли он нас к кому-нибудь из колонистов или к тому еврею, что караулит остаток леса. Иди ты, брат, по этому следу как можно дальше, а в случае на что набредёшь, сейчас же дай мне знать. Воровское гнездо невелико, к завтраму ты обернёшься.

— И лошадей назад заберём? .. — спросил Матек.

— Из кишок у них вытянем, — ответил староста, и глаза его грозно блеснули.

Было уже около двух часов, когда Матек, распрощавшись, ушёл. Гроховский намекнул было, что не худо бы оставить сиротку у них, но жена так на него накинулась, что он умолк. Овчаж опять закутал девочку в зипун и в плахту, посадил её на левую руку, палку взял в правую и пошёл.

Выйдя вновь на большую дорогу, он сразу отыскал следы Гнедого и, пройдя с часок, сообразил, что конюшня у воров должна быть где-то поблизости, потому что следы тут смешались. Сперва он отошёл от дороги, потом к ней приблизился, потом опять удалился, свернул в лес и, наконец, очутился в овраге, по другую сторону железнодорожной насыпи. Мороз всё крепчал, но Матек так разгорячился от ходьбы,

что не замечал холода; по, небу время от времени проносились тучи: тогда на землю сыпался снег, но вскоре снова переставал. Матек торопился, чтобы не занесло следов. Он всё шёл, смотрел под ноги, не обращая внимания, что становится темно и снег валит всё гуще.

Он очень устал, то и дело присаживался, но ненадолго. Ему всё слышалось ржанье Гнедого, и он срывался с места. Один раз оно раздалось так громко (а может быть, Матеку, у которого трещала голова, это только показалось), — что Матек покинул след и, собрав последние силы, пошёл прямо на голос. Чем скорей он бежал, тем явственнее слышалось ржанье; он карабкался на холмы, продираясь сквозь мешавший ему кустарник, падал, опять поднимался и шёл на голос.

Наконец ржанье умолкло, и тогда Матек увидел, что он находится в овраге, по колена в снегу, и что наступила ночь.

С большим трудом он взобрался на холм, чтобы осмотреться кругом и не заблудиться. Но увидел лишь снег и рассеянные кое-где кусты. Снег справа и слева, снег позади, впереди и под ногами, а вокруг темнота. Из-за туч не видно ни звёздочки, на западе погасла вечерняя заря. Куда ни глянь, темнота, да снег, да чёрные пятна кустов.

Матек попробовал спуститься с холма. Но в одном месте ему показалось чересчур круто, в другом — не продраться сквозь заросли. Наконец он набрёл на удобный спуск; нащупывая дорогу палкой, он сделал несколько шагов и — упал с высоты нескольких аршин. Счастье ещё, что снегу в этом месте было по пояс, а то он разбился бы насмерть вместе с ребёнком.

Сиротка испугалась и тихонько захныкала (голосок у неё был всё такой же слабенький), а в сердце Матека закралась тревога.

«Заплутать-то я не заплутал, — думал он, — места тут всё знакомые, наши же овраги. Да как выбраться отсюда?..»

И он снова двинулся, но уже оврагами, то по колено в снегу, то по щиколотку, а иной раз и повыше колена. Так он шёл с полчаса, пока не выбрался на обхоженное место. Матек присел на корточки, пошарил рукой и узнал свои собственные следы.

— Вот уж путаная дорога! — пробормотал он и направился по другому проходу в оврагах.

Он снова побежал и через некоторое время открыл вдруг какую-то выемку в снегу под горой, но сообразил, что это то самое место, где он недавно свалился с обрыва.

Вдруг послышался какой-то шорох, он насто-рожил ухо. — Нет, это шелестят ветви над голо-вой. Вверху поднялся ветер, снова сгустились тучи; сухой, колючий снег осыпал Матека, впи-ваясь в руки и в лицо, как рой комаров.

«Неужели пришёл мой последний час?..» — подумал Овчаж. — Ну, нет... — прошептал он, — мне надо ещё лошадей найти, чтобы меня вором не считали.

Он укутал сиротку, которая крепко уснула, хотя на руках ей было неудобно и тряско, и снова побрёл оврагом, просто так, без цели, лишь бы йтти.

— Не такой я дурак, чтобы садиться, — бор-мотал он. — Чуть только сядешь, так и замёрз-нешь, а уж я лошадей и воров не брошу... .

Колючий снег валил всё гуще, облепил Мате-ка с головы до ног.

Слушая завыванье ветра на вершинах холмов, мужик радовался, что вьюга не застала его в поле: здесь, в оврагах, всё-таки было теплее.

— Да тут и вовсе тепло, а садиться-то я не сяду, так и прохожу до утра, а то, пожалуй, замёрзнешь.

Было ещё далеко до полуночи, когда ноги совсем отказались повиноваться Матеку; он уже был не в силах вытаскивать их из снега. Матек остановился и стал топтаться на месте. Но и это его утомляло. Тогда он добрался до какого-то обрыва и прислонился спиной к глинистому откосу.

Это место ему показалось отличным. Оно слегка возвышалось над оврагом, и — главное — в нём оказалось небольшое углубление, как раз в человеческий рост; со всех сторон его окружали кусты, так что снег тут не очень досаждал. Вдобавок, нечаянно поскользнувшись, Матек наткнулся на широкий камень, высотой с табуретку, лежавший в выемке с правой стороны.

— Ну, засиживаться я не стану, — говорил Матек, — не то ещё замёрзну. А присесть можно. Правда, спать на морозе не годится; лежать — то же самое, — прибавил он про себя, — но посидеть можно.

Он смело уселся, натянул шапку на уши, плотнее закутал продолжавшую спать сиротку и решил, что сначала он минутку отдохнёт, потом минутку потопчется на месте, потом снова отдохнёт, снова потопчется и так дождётся утра.

— Только бы не уснуть, — бормотал он.

В его углубление снег не пропикал; здесь, казалось, было даже теплее. Окоченевшие ноги стали как будто отходить, и теперь Матек чувствовал уже не холод, а что-то другое: словно какие-то муравьи ползли по его подошвам. Про-

бравшись через пальцы, они забéгали по всей стопе; потом переползли на сломанную ногу, потом на здоровую и дошли до коленей.

Вдруг неизвестно откуда взявшийся муравей стал ходить у него по носу. Матек хотел его стряхнуть, но тогда целый рой накинудся на ту руку, где спала сиротка, а потом на другую. Овчаж их не отгонял, потому что это покалывание не позволяло ему уснуть и потому что оно было почти приятно. Он даже ухмыльнулся, почувствовав, что хитрое насекомое добирается уже до пояса, и ему как-то не приходило в голову: откуда здесь муравьи? Он знал, что сидит в овраге, среди кустов; поэтому немудрено, что тут есть муравейник, а что сейчас зима — он, видимо, позабыл.

— Только бы не уснуть... Только бы не уснуть, — повторял он.

Но под конец у него явилась мысль: а почему бы не уснуть? Уже ночь, он в конюшне... Ну, да, в конюшне; сюда вот-вот придут воры. И Матек ждёт, сжимая в руке страшную дубину, а чтобы не проспать, он не ложится и сидит на чурбане.

— Ого!.. вот слышится чей-то шопот... Это — воры. Вот они уже отворили ворота в конюшню, виден снег на дворе. Матек припал к стене, сжимает свою дубинку... Он им задаст!..

Но воры, видно, смекнули, что Матек не спит, и ушли. Какое там — ушли! попросту удрали и топчут так, что земля гудит. Овчаж засмеялся и подумал, что теперь ему можно уснуть или, по крайней мере, спокойно подремать. Он уселся поудобнее, забившись в уголок, и обеими руками прижал сиротку к груди — чтобы не упала. Ему нужно хоть минутку поспать: очень уж он устал.

Потом он сразу же встанет, потому что ему надо что-то сделать, но что?

— Что мне надо было сделать?.. — вспоминал он. — Пахать?.. Нет, уже вспахано... Лошадей напоить?.. Ну, да, лошади...

После полуночи ветер разогнал тучи, и на небе показался краешек луны. Тусклый свет ударил прямо в глаза Матеку, но мужик не шевельнулся. Вскоре луна скрылась за холмом, снова налетели тучи со снегом, но Матек попрежнему не шевелился. Он сидел в выемке, опершись головой на снег, и обеими руками обнимал сиротку.

Наконец взошло солнце, но Матек и теперь не шевелился. Казалось, он в изумлении смотрит на железнодорожное полотно, оказавшееся шагах в пятидесяти от него.

Солнце уже высоко поднялось, когда на путях показался стрелочник. Заметив мужика, он окликнул его, но Матек молчал; тогда стрелочник спустился с насыпи и издали, ещё не доходя до него, несколько раз крикнул: «Эй, эй, отец! Напились ты, что ли?..» Наконец, словно не веря собственным глазам, он подошёл и рукой дотронулся до Матека.

Лицо у мужика затвердело, как камень; сделалось твердым, как камень, и личико ребёнка; иней запорошил ресницы мужика, а на губках младенца блестела замёрзшая слюна.

У стрелочника руки опустились. Он хотел кричать, но, вспомнив, что кругом нет ни души, повернулся и побежал назад. Тут же, за холмом, он увидел стлавшиеся по небу весёлые дымки той деревни, где находилось волостное правление. Стрелочник поспешил туда.

Несколько часов спустя он приехал в санях со старостой и стражником, чтобы убрать тела.

Но так как Матек замёрз, сидя на морозе, невозможно было разжать его руки и разогнуть ноги: так его и перенесли в сани в сидячем положении. Так его и везли дорогой, так он и подъехал к волостному правлению, с головой, откинутой на задок саней, с лицом, обращённым к небу, словно, покончив расчёты с людьми, он хотел поведать богу свои обиды и горести.

Когда мрачное шествие остановилось, перед канцелярией собралась кучка мужиков, баб и несколько евреев, а в стороне от них — старшина, писарь и староста Гроховский. Узнав, что замёрз какой-то мужик с ребёнком, Гроховский сразу догадался, что это — Овчаж, и с грустью рассказал собравшимся историю батрака.

Слушая его, мужики крестились, бабы причитали, и один только Ясек Гжиб, сын богача Гжиба, покуривал шестигрошовую сигару и усмехался. Он стоял, засунув руки в карманы барашковой куртки, выставлял вперёд то одну, то другую ногу, обутую в сапоги выше колен, пускал дым из сигары и усмехался. Мужики неодобрительно посматривали на него и ворчали, что ему, мол, и покойники стали нипочём. Но бабы хоть и негодовали, а не могли на него сердиться: и правда, парень был, как картинка. Высокий, широкоплечий, ловкий, лицо — кровь с молоком, глаза, словно васильки, русые усы и борода, как у шляхтича. Этому красавцу-парню впору бы управляющим быть или хоть винокурором, а мужики между собой шептались, что этот прохвост рано ли, поздно ли, а подохнет под забором.

— Нехорошо сделал Слимак. Как это он выгнал беднягу да ещё с сироткой в такую стужу? — отозвался старшина, внимательно осмотрев мертвецов.

— Очень даже нехорошо, — загудели бабы.

— Обозлился человек, что лошадей у него украли, — вмешался один мужик.

— Лошадей — ясное дело — ему не вернуть, а что две души здесь погублены — так погублены! — крикнула какая-то старуха.

— У немцев выучился! — прибавила другая.

— Теперь будет его совесть грызть до самой смерти! — сказала третья.

У Гроховского стало тяжело на душе, и он сказал:

— Эх, не в том дело, что Слимак его выгнал, дело в том, что Матек хотел выследить воров, которые лошадей у нас уводят.

И с отвращением, хотя и незаметно, он бросил взгляд на Ясека Гжиба. Тот вскинул на него глазами и огрызнулся в ответ:

— Так и со всяким будет, кто вздумает чересчур усердно за конокрадами гоняться. И их не поймают и сам пропадёт.

— Ничего, дойдёт и до них черёд.

— Не дойдёт!.. Уж очень они народ ловкий, — возразил Ясек Гжиб.

— Бог даст, дойдет, — настойчиво повторил Гроховский.

— А вы не говорите так громко, а то как бы и вас не обворовали, — засмеялся Ясек.

— Может и обворуют, но пусть сначала богу помолятся, чтобы послал мне крепкий сон.

Во время этого разговора стражник ушёл в правление, волостной писарь с большим вниманием разглядывал покойников, а старшина поморщился так, словно раскусил зерно перца. Наконец он заговорил, показывая на сани:

— Надо бы этих бедняг сразу отвезти в суд. Там начальник и фельдшер, пусть сделают с

ними, что полагается. . . Ты поезжай, — обратился он к владельцу саней, — а я с писарем догоню вас. Это в первый раз у меня в волости случилось, чтобы люди так вот замёрзли. . .

Владелец саней почесал затылок, но делать было нечего, приходилось повиноваться. Да и до суда было не так далеко: всего версты две. Он подобрал вожжи, стегнул лошадей, а сам пошёл рядом с саними, стараясь пореже оглядываться на своих седоков. Вместе с ним отправился староста и ещё один мужик, которому нужно было выяснить в суде дело о порче ведра в чужом колодце. Увидев, что они тронулись, стражник вышел из канцелярии и догнал их верхом.

В то время как старшина отправлял из волости в суд покойников, уезд по этапу выслал в волость «дурочку Зоську». Через несколько месяцев после того, как она оставила ребёнка на попечение Овчажа, её посадили в тюрьму. За что? — Зоське не было известно. Её обвиняли в нищенстве, в бродяжничестве, в распутстве, в покушении на поджог, и всякий раз, когда раскрывалось новое преступление, её переводили из тюрьмы в предварилку или из предварилки в тюрьму, затем из тюрьмы в больницу, из больницы снова в предварилку — и так целый год.

Ко всем этим странствиям Зоська относилась с полным равнодушием. Но когда её переводили в новое помещение, она в первые дни беспокоилась, получит ли она там работу. А потом снова впадала в апатию и большую часть суток спала — на топчане или под топчаном, в коридоре или на тюремном дворе. Впрочем, ей это было совершенно безразлично.

Но время от времени Зоське вспоминался брошенный ребёнок, её тянуло на волю, и тогда

она впадала в бешенство. Один раз в таком состоянии она целую неделю не ела, в другой раз хотела удавиться платком, в третий — едва не подожгла тюрьму. Тогда её отправили в больницу и, вылечив застарелую рану на ноге, по прошествии нескольких месяцев (в течение которых она познакомилась ещё с двумя или тремя тюрьмами) выслали по месту рождения, под надзор.

И вот Зоська шла из уезда в родную деревню под конвоем двух мужиков, из которых один нёс пакет с предписанием. Шла она по морозу в рваном зипуне, на одной ноге у неё был башмак, на другой — сандалия, голова была повязана дырявым, как решето, платком. Но ни сильный мороз, ни вид знакомых мест не производили на неё никакого впечатления. Глядя куда-то вдаль, она обгоняла своих конвоиров и, подоткнув полы зипуна, шла быстрым шагом, словно спеша домой. Когда она чересчур забежала вперёд, конвоир ей кричал: «Ты куда разлетелась?» Она тотчас останавливалась и стояла, как столб, посреди дороги, пока ей снова не приказывали итти.

— Видать, совсем одурела, — сказал один из сопровождавших её мужиков, тот, что нёс пакет из уезда.

— Она отроду такая была, а вот насчёт чёрной работы — ничего, не хуже других, — ответил другой, знавший Зоську издавна, так как сам был из той же волости.

И они заговорили о другом. До волостного правления оставалось не более версты, из-за покрытых снегом холмов уже виднелись почерневшие трубы хат, когда навстречу Зоське и её конвоирам показался стражник верхом, а за ним сани

с трупами Овчажа и ребёнка. Зоська, попрежнему опережая конвоиров, прошла мимо, по мужики, заметив необычное зрелище, остановили её и вступили в разговор со старостой.

— Господи помилуй! — воскликнул один, — а кто такой этот бедняга?

— Овчаж, батрак Слимака, — ответил староста. — Зоська! — окликнул он арестантку, — а ведь это твоя дочка с Овчажем!

Зоська, подойдя к саням, сперва равнодушно смотрела на трупы. Но постепенно взгляд её становился разумнее.

— Что это на них нашло? — спросила она.

— Замёрзли.

— С чего же это они замёрзли?

— Слимак прогнал их из дому.

— Слимак?.. Слимак прогнал из дому?.. — бессмысленно повторяла она, перебирая пальцами. — А ведь верно, это — Овчаж, а это, видать, моя дочка... Моя!.. Только немного выросла с тех пор... Да где это слыхано, чтоб малое дитя заморозить?.. Впрочем, ей на роду был худой конец написан... А ведь как бог свят, моя это дочка!.. Гляньте!.. Моя дочка, ну вот её и убили...

Мужики, покачивая головой, прислушивались к лепету Зоськи. Наконец староста сказал:

— Ну, пора в путь, будьте здоровы. Поедем, кум Мартин!

Кум Мартин, подобрав вожжи, взмахнул кнутом, но в эту минуту Зоська вдруг потянулась было в сани к покойникам.

— Ты что делаешь? — гаркнул конвоир, схватив её за зипун.

— Да это моя дочка! — вскрикнула Зоська, бросаясь к саням.

— Ну, и что ж, что твоя? — сказал староста. — Тебе один путь, ей — другой...

— Моя, моя дочка!.. — вонила Зоська, обеими руками держась за сани.

Лошади вдруг тронули, Зоська упала па снег, успела ухватиться за полозья, и сани поволокли её за собой.

— Будет тебе беситься! — заорал конвоир и побежал за Зоськой со старостой и другим мужиком.

— Моя дочка!.. Отдайте мне мою дочку!.. — кричала помешанная, не отпуская полозьев.

Мужики с трудом её оторвали, и сани тронулись. Она захотела подняться и бежать за ребёнком, но один из конвоиров сел ей на ноги, а другой удержал за руки.

— На что тебе, дура? — убеждали они её. — Ребёнка не воскресишь...

— Моя дочка!.. Слимак её заморозил!.. Чтоб его бог наказал!.. Чтоб ему самому так замёрзнуть!.. — кричала Зоська, вырываясь из рук конвоиров.

Но по мере того как сани удалялись, голос ее слабел, посиневшее от гнева лицо принимало медный оттенок, и в глазах исчезал лихорадочный блеск.

Наконец она успокоилась и впала в обычную апатию. А когда затихло шуршанье полозьев, она поднялась с сугроба и равнодушная, как прежде, быстро зашагала к волостному правлению, лишь изредка тяжело вздыхая.

— Уж и позабыла, — пробормотал мужик, несший пакет.

— Иной раз дураку-то лучше на свете, — ответил ему спутник.

Потом они оба умолкли, слушая, как скрипит снег под ногами.

Потеря лошадей довела Слимака чуть не до безумья. Правда, он избил, истоптал ногами и выгнал из дому Овчажа, но это ещё не исчерпало его гнева. Ему было душно в хате; он выбежал во двор и зашагал взад и вперёд, сжимая кулаки, бледный, с налитыми кровью глазами, высматривая, на чём бы сорвать злобу.

Ему вспомнилось, что нужно подкинуть сена коровам. Он вошёл в загон, растолкал скотину, и когда одна из потревоженных коров отдала ему ногу, он схватил вилы и безжалостно избил обеих коров. Потом, совсем обеспамятев, он бросился за амбар и, увидев Бурека, стал топтать ногами твёрдый, как дерево, труп собаки, ругаясь на чём свет стоит.

— Кабы ты, собачий сын, не польстился на хлеб из чужих рук, я бы не потерял лошадей. Теперь будешь тут костенеть и гнить до весны, проклятая тварь!.. — крикнул он напоследок и ещё раз ткнул труп ногой, так что внутри что-то хрустнуло.

Вернувшись в хату, он сгоряча опрокинул табуретку. Ендрек заметил это и фыркнул. Тогда Сликама сорвав с себя ремень, сгрёб мальчишку и стегал его до тех пор, пока тот не залез под лавку, обливаясь кровью.

Но мужик после этого не надел пояса. Он ходил по горнице с ремнём в руке, имея намерение, если заикнётся жена, исколотить и её. Но она молчала, хватаясь время от времени рукой за печку, словно боясь упасть.

— Ты чего качаешься? — проворчал мужик. — Ещё не выдохся вчерашний хмель?..

— Что-то худо мне, — тихо ответила жена Сликама призадумался и надел пояс.

— А что с тобой? — спросил он.

— Какие-то чёрные круги перед глазами и шумит в ушах. Ох, да, может, это в хате пищит? .. — бессвязно проговорила она, вскидывая руками.

— Не хлещи водки, вот и не будет пищать, — огрызнулся Слимак и, сплюнув, снова вышел во двор.

Его удивило, что она не вступилась за избитого сына. Гнев снова ударил ему в голову, но бить уже было некого; он схватил топор и начал колоть дрова. Колол почти до вечера, в одной рубашке, забыв про обед. Ему казалось, что тут, у его ног, лежат воры, угнавшие лошадей, и он рубил, как бешеный, разбрасывая по всему двору поленья и щепки, взлетающие из-под топора.

Наконец руки его онемели, спина заныла, промёрзла взмокшая от пота рубаха; в то же время остыл и гнев.

Он пошёл в хату, но в первой горнице никого не нашёл. Заглянул в боковушку: Слимачиха лежала на кровати.

— Ты что это? — спросил он.

— Нemoжется мне малость, — ответила женщина, словно очнувшись от сна. — Ну, да это пустое.

— Нечка прогорела?

— Прогорела, — повторила она.

С трудом поднявшись с постели, она с большим усилием снова развела огонь для ужина.

— Видишь! .. — сказал Слимак, внимательно присматриваясь к жене. — Вчера ты распарилась в корчме, потом воды напилась из еврейской посуды да ещё расстегнула дорогой кофту. Вот и простыла.

— Ничего со мной не будет, — раздражённо ответила Слимачиха.

Должно быть ей и вправду стало лучше, она разогрела обед и подала его к ужину.

Ёндрек вышел из угла, взял в руку ложку, но, вместо того чтобы есть, горько заплакал. Сликама расстроился, а мать, точно не замечая слёз сына, кое-как ополоснула посуду и легла спать.

Ночью, почти в тот же час, когда в овраге замерзал несчастный Овчак, у Слимачихи начался озноб. Муж проснулся, прикрыл её тулупом, и озноб понемногу прошёл. На другой день она встала и принялась за работу, лишь изредка жалуюсь на боль в голове и в пояснице. Она, как всегда, возилась по хозяйству, но по глазам её Сликама понял, что с ней что-то неладно, и приуныл.

К вечеру на дороге заскрипели сани и остановились у ворот. Через минуту в хату вошёл шинкарь Йосель. Выражение лица его было такое странное, что у Сликама даже кольнуло в сердце.

Поздоровавшись, оба молчали.

— Вы ничего не спрашиваете? — заговорил шинкарь.

— А что спрашивать?.. — ответил Сликама, глядя ему в глаза, и вдруг побледнел, сам не зная отчего.

— Завтра, — не спеша сказал Йосель, — завтра Ёндрека вызывают в суд за то, что он изувечил Германа.

— Ничего они ему не сделают, — сказал Сликама.

— Ну, в каталажке он всё-таки посидит.

— Пускай посидит. В другой раз не будет драться.

Снова в хате наступила тишина, на этот раз более продолжительная. Йосель качал головой, а Сликама смотрел на него, чувствуя, как в нём поднимается тревога. Наконец, собравшись с силами, он резко спросил:

— Ещё что?

— Чего тут много болтать? — ответил шин-

карь, взмахнув в воздухе кулаком: — Овчаж и ребёнок — оба замерзли насмерть.

Слимак вскочил с лавки, словно хотел броситься на Иоселя, но опустилсЯ снова и оперся о стену. Его обдало жаром, потом у него затряслись ноги. Он сам ещё не понимал, почему ему так страшно.

— Где?.. Когда?.. — глухо спросил он.

— Где?.. — переспросил Иосель. — В овраге, по ту сторону насыпи, совсем недалеко от волости. А когда?.. когда?.. Вы это отлично знаете, этою ночью, — вы же сами его вчера выгнали...

Мужик гневно поднялся с места.

— Эх, ну и брешете вы, Иосель; слушать вас тошно... Замёрз!.. Из-за меня он, что ли, в овраг пошёл?.. Разве других хат нет на свете?..

Шинкарь пожал плечами и, отступая к дверям, сказал:

— Хотите — верьте, хотите — не верьте, мне всё равно. Я сам видел, как замёрзшего Овчажа вместе с ребёнком отвозили в суд, — должно быть для вскрытия. Вы, конечно, можете мне не верить!.. Ну, будьте здоровы, хозяин...

— Эка важность!.. Ну, и замёрз: что мне за это сделают? — крикнул Слимак.

— Люди — ничего, но... господь бог... Или вы уж и в бога не веруете, Слимак?.. — спросил Иосель с порога, причём вспыхнувшее в печке пламя блеснуло, отражаясь в его глазах.

Он притворил дверь из горницы, споткнулся на что-то в сенях и вышел во двор. Слимак слышал, как его тяжёлые шаги, постепенно замирая, затихли, наконец, в воротах; услышал, как, усевшись в сани, шинкарь крикнул своей лошади «ни-о». Слышал постепенно удалявшийся скрип саней.

Он вздрогнул, оглянулся по сторонам и увидел в противоположном углу устремлённые на него глаза Ендрека.

— Чем же я-то виноват, что он замёрз? — пробормотал Сликак.

И вдруг ему вспомнилась проповедь, которую ксёндз из года в год повторял в костёле: «Был я голоден — и не накормили меня, был наг — и не одели меня, не имел крова — и не приютили меня... Идите же, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и слугам его...» — Соврал еврей, как бог свят, соврал... — сказал Сликак, чувствуя, как по спине у него пробегают мурашки.

Произнося эти слова, он готов был поклясться, что в эту минуту Овчаж с ребёнком сидит в конюшне и что оба они живы и здоровы. Он был настолько уверен в этом, что даже поднялся с лавки, чтобы позвать батрака ужинать. Но, взявшись за ручку двери, он вдруг остановился. Ему было страшно выйти во двор...

Однако страх понемногу рассеялся. Сликак вышел из хаты, заглянул в пустую конюшню, потом подкинул коровам охапку сена и в сумерки лёг спать. У жены снова начался озноб, и он, как вчера, укрыл её тулупом, приговаривая:

— Ну, и подлец этот Иосель!

У него никак не укладывалось в голове, что Овчаж с ребёнком погиб. Напротив: чем больше он думал о них, тем сильнее был уверен, что Иосель его, должно быть, запугивает с какой-нибудь подлой целью. Утром Сликак со смехом рассказал обо всём жене, удивляясь наглости шинкаря и стараясь догадаться, для чего тому понадобилась эта ложь.

Сейчас же после обеда к нему заехал старо-

ста и вручил Ендреку повестку в суд по делу о нанесении увечий Герману.

— Когда ему нужно быть? — спросил Сликак.

— Его дело разбирается завтра, — ответил староста. — Но зачем ему таскаться пешком в такую даль? Пускай садится со мной, я его подвезу.

Ендрек слегка побледнел и стал надевать полушубок.

— А много ему дадут? — озабоченно спросил отец.

— Э!.. Посидит денька три-четыре, может быть, с неделю, — сказал староста.

Сликак вздохнул, доставая из узелка рубль.

— Вот ещё что... — снова заговорил Сликак. — А вы слышали, что прохвост-Иосель выдумал, будто Овчаж замёрз вместе с ребёнком?

— Как же не слышать, ведь это правда!.. — неохотно ответил староста.

— Замёрзли... — повторил Сликак.

— Ну да, замёрзли. Конечно, всякий понимает, что это не ваша вина, — поспешил прибавить староста. — Что ж, не устерёг лошадей, вот вы со зла его и прогнали, но ведь никто ему не велел уходить с дороги в овраг. Напился он, что ли? так и погиб бедняга по собственной глупости.

Ендрек уже был готов и, прощаясь с родителями, по очереди обнял их ноги. У Сликака на вернулись на глаза слёзы. Он прижал голову сына к груди и, на всякий случай, дал ему рубль, поручив его божьему попечению.

Но его крайне удивило, как равнодушно восприняла всё это мать.

— Ягна! Ведь наш Ендрек в суд идёт, под арест, — вразумлял ее муж.

— Ну, и что же, — бормотала она, странно глядя по сторонам.

— Очень тебе неможется?

— Нет. Только вот голова побаливает, и нутро горит; что-то я обессилела.

Она пошла в боковушку и легла на кровать. Ендрек ушёл со старостой.

Слимак остался в хате один, и чем дольше он сидел, тем ниже склонялась его голова. Ему казалось, что он дремлет, что он сидит среди какого-то поля, далеко раскинувшегося в обе стороны, и что там нет ничего — ни кустов, ни травы, ни даже камней — ничего, только серая земля. А где-то в стороне (мужик не смел взглянуть туда) стоит Овчаж с ребёнком на руках и упорно смотрит ему в глаза.

Слимак вздрогнул. Нет, никакого Овчажа в поле не было, а если и был, то где-нибудь там, в стороне, в самом конце, где-то так далеко, что его и не разглядеть; виден разве только самый краешек его зипуна, а может, и этого нет...

Мысль об Овчаже становилась навязчивой. Мужик поднялся с лавки, потянулся так, что затрещали суставы, и начал мыть кухонную посуду.

— Вот до чего дошло! — вздохнул он. — Эх, да мало ли какая беда может с человеком случиться; тут-то и не надо плошать.

Это замечание придало ему мужества, и он взялся за домашние дела. Вынес свиньям картофеля и помоев, полез на сеновал и достал для коров сена, нарубил сечки, а потом несколько раз сходил на реку за водой. Так давно он не делал этого, что ему показалось, будто он помолодел, и это приободрило его. Он бы и совсем повеселел, несмотря на болезнь жены и вызов Ендрека в суд, если бы не воспоминание об Ов-

чаже. Ведь это Овчаж всего два дня тому назад таскал воду, Овчаж рубил сечку, Овчаж кормил скотину...

По мере того как сгущались сумерки, Слика становился мрачней. Особенно удручала его тишина в доме, тишина настолько глубокая, что крысы, проснувшись, забегали по чердаку и начали скрестись. Чем темней становилось, тем явственнее он видел, что ему чего-то нехватает, многого, очень многого нехватает. И чем становилось тише, тем явственнее он слышал ксендза, ударявшего кулаком по налою и взывавшего:

— «Был я голоден — и не накормили меня, был наг — и не одели меня, не имел крова — и не приютили меня... Идите же, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и слугам его...»

— Прохвосты эти швабы! Сколько от них народу погибло... — бормотал мужик, стараясь во что бы то ни стало забыть про Овчажа.

И, подойдя к окну, откуда ещё падало слабое освещение, он поднял руку и, держа растопыренные пальцы против света, чтобы лучше их видеть, стал считать.

— Стасек у меня утонул — это раз... Немцы тут руку приложили... Корову пришлось отдать на убой — тоже из-за немцев, из-за них мне нехватило сена, — вот уже два... Лошадей у меня украли — потому что я отнял у воров немецкого борова — это четыре... Бурека отравили — пять... Ендрека в суд забрали из-за Германа — шесть... Овчаж и сиротка — восемь... Восемь душ погубили!.. Да ещё из-за них Магде пришлось уйти, да жена у меня расхворалась, наверное, от тоски — вот и все десять... Господи Иисусе Христе!..

Он схватился обеими руками за волосы и

задрожал, как дитя. Никогда ещё ему не было так страшно, никогда... хотя смерть не раз заглядывала ему в глаза. Лишь в эту минуту, когда он перебрал в памяти людей и животных, которых он не досчитывался в доме, Сликама понял, — что такое могущество немцев, и вдруг испугался... Да, эти самые спокойные немцы разрушили, как ураган, всё его хозяйство, всё его счастье, плоды трудов всей его жизни! И пусть бы ещё они сами воровали или разбойничали!.. Нет, они живут, как и все, только чуть побольше пахут земли, молятся, учат детей. Даже скот у них не топчет чужих полей, былинки чужой не тронет...

Ни в чём, решительно ни в чём дурном нельзя было их упрекнуть, но одного их соседства оказалось достаточно, чтобы он разорился и чтобы опустел его дом. Как от кирпичного завода идёт дым, иссушающий поля и леса во всей округе, так и из их колонии исходила гибель, угрожая людям и животным. Что тут можно поделывать? Разве не немцы вырубали вековой лес, раздробили искони лежавшие в поле камни, выгнали помещика из усадьбы?.. А сколько дворовых людей, лишившись места, впали в нищету, спились и даже стали воровать?..

И только сейчас у Сликама впервые вырвалось отчаянное признание:

— Слишком близко к ним я живу... Тем, кто подалеже от них, они не так вредят...

И, подумав, прибавил:

— Что толку, если останется земля, раз на ней перемрут все люди?

Эта новая мысль показалась ему до того безобразной, что ему захотелось поскорей избавиться от неё. Он заглянул к жене — как будто спит! Подкинул дровец в печку и стал прислушиваться

к возне крыс, прогрызавших потолок. Его снова поразила тишина в доме, а в завывании ветра снова послышался голос ксендза: «Был я голоден — и не накормили меня, был наг...»

Вдруг во дворе раздались чьи-то шаги. Мужик поднялся и выпрямился в ожидании. «Ендрек?..» — мелькнула мысль. «Может быть, и Ендрек...» В сенях скрипнула и затворилась дверь, чья-то, видимо, чужая рука стала нащупывать вход в хату. «Иосель?.. Немец?..» — думал мужик. И вдруг в ужасе отшатнулся, голова у него пошла кругом — на пороге стояла Зоська.

В первую минуту оба молчали; наконец Зоська произнесла:

— Слава Иисусу Христу...

И, повернувшись к огню, стала растирать озябшие руки.

Овчаж, сиротка, Зоська — всё смешалось в его мозгу. Слимак смотрел на неё, как на выходца с того света.

— Ты откуда взялась? — спросил он сдавленным голосом.

— Из тюрьмы меня выслали в волость, а в волости сказали, чтобы я искала работу, что у них, дескать, нет денег для дармоедов.

Потом, увидев, в печке полные горшки, она стала облизываться, как собака.

— Хочешь есть? — спросил Слимак.

— И то...

— Так налей себе миску похлёбки. Хлеб тут.

Зоська сейчас же сделала всё, что ей велели.

Начав есть, она спросила:

— А вам не потребуется работница?

— Не знаю; пока что нет, — ответил Слимак. — Баба моя захворала.

— Скажите!.. А пусто у вас стало. Магда-то где?

— Ушла.

— Ха!.. А Ендрек?

— Забрали его нынче в суд.

— Вишь ты!.. А Стасек?

— Утонул он у нас летом, — прошептал мужик и помертвел при мысли, что Зоська спросит его об Овчаже и дочке.

Но она ела жадно, как зверь, и ни о чём больше не спрашивала.

«Знает она или не знает?..» — думал мужик.

Поев, Зоська глубоко вздохнула и вдруг весело хлопнула себя по коленке. Слимак приободрился. Неожиданно она спросила:

— Переночевать меня оставите?

Снова в нём шевельнулось беспокойство. В этом безлюдьи любой гость был бы для него благословением, но Зоська... Если она не знает об Овчаже, то какая нелёгкая принесла её сегодня в хату? А если знает, то зачем она пришла?..

В то время как он раздумывал, в хате снова настала тишина, и снова мужик услышал голос ксендза: «Был я голоден — и не накормили меня, не имел крова — и не приютили меня... Идите же, проклятые, в огонь вечный...»

— Ну, ладно, оставайся, — сказал он. — Только спи в горнице.

— Да хоть в сарае, — ответила она.

— Нет, в горнице.

Страх его уже совсем прошёл, но томительнее стало беспокойство. Ему казалось, что какая-то невидимая рука сжимает его сердце. Ощущая близость беды, он особенно мучился оттого, что не знал, какая это беда и когда поразит его удар. И снова на ум ему пришли слова:

— Что толку, если останется земля, а люди на ней перемрут?..

Он подумал:

«Неужели пришло время помирать?.. Ну, что ж: помирать, так помирать...»

Огонь догорал. Зоська вымыла миску и, как была в тряпье, так и легла на лавку. Сликак отправился в боковушку, но не захотел раздеваться; он уселся в ногах у жены и решил бодрствовать всю ночь напролёт. Почему? — он не знал. Не знал он и того, что это особое душевное состояние называется нервным расстройством.

И всё же — странное дело — Сликак чувствовал, что Зоська принесла с собой как бы частицу прощения; с минуты её прихода образы Овчажа и сиротки сразу побледнели в его воображении. Зато ещё назойливее стали думы о немцах и связанных с ними бедах.

— Стасек — раз, — бормотал мужик. — Корова — два... Лошади — четыре... Овчаж с ребёнком — вот уже шесть. Магда — семь... Ендрек — восемь... Бурек да баба — десять... Столько народу!.. И хоть бы один из них меня пальцем тронул... Нет, видно, все мы тут пропадем...

Он снова и снова считал, чувствуя, что голову ему сжимает какой-то железный обруч. Это был сон, тяжёлый сон, обычно сопутствующий глухой боли. Ему мерещилось, что он раздваивается, делаясь сразу двумя людьми. Один был он сам, — Юзек Сликак, который сидит в боковушке, у ног жены, а другой был Матекон Овчажем, но не тем, что замёрз, а совсем новым Овчажем, стоявшим за окном боковушки в палисаднике, где летом растут подсолнухи. Этот новый Овчаж был особенный, непохожий на старого: мрачный и мстительный. «Ты это что, — хмурясь, говорил гость за окном, — думаешь, что я так и прощу тебе обиду? Дело не в том, что я замёрз, можно замёрзнуть и спяна, а в том, что ты меня выгнал

на улицу, как собаку. Подумай, что бы ты сказал, если б так избили тебя — ни за что, ни про что? Если б тебя выгнали на мороз, больного, без корки хлеба? Столько лет я на тебя работал, и ты не пожалел меня... А сиротка чем провинилась, за что ты её погубил?... Нечего голову прятать, не отворачивайся, а скажи, что мне теперь тебе сделать? Говори, говори: небось, понимаешь, что такое дело не сойдёт тебе с рук, тут тебе и господь бог не поможет...»

«Что я скажу ему, несчастный я человек? — думал Слимак, обливаясь потом. — Правильно он говорит, что я прохвост. Пусть лучше он сам придумает, как мне отплатить; может быть, он тогда скорей смилуетя и не будет мучить меня после смерти...»

В эту минуту больная зашевелилась на кровати, и Слимак очнулся. Он открыл глаза, и тут же их снова закрыл. В окно боковушки падало яркое розовое пламя, на стёклах искрился иней.

«Неужто светает?» — подумал мужик и машинально поднялся с кровати.

Но по тому, как колебалось розовое сияние, он сразу понял, что это не рассвет.

— Пожар, что ли? — проворчал он, вдыхая запах дыма и чувствуя, что угорел.

Он выглянул в горницу: Зоськи на лавке не было.

— Так я и знал!.. — вскрикнул мужик и бегом бросился во двор.

Теперь он совсем пришёл в себя.

Действительно, горела его хата. Пылала часть крыши. Толстый слой снега, покрывавший кровлю, не позволял огню распространяться быстро. В эту минуту огонь можно было ещё потушить, но Слимак не думал об этом.

Он вернулся в боковушку, окликнул жену и стал её теребить...

— Вставай, Ягна, вставай!.. Хата горит!..

— Отстань от меня!.. — не приходя в себя, сердито ответила женщина.

Слимак схватил её и, спотыкаясь на порогах, вынес вместе с тулупом в сарай. Потом сгрёб её одежду и постель, вышиб дверь в чулан, вытащил сундук, где лежали деньги; наконец, выломал окно и стал выбрасывать зипуны, тулупы, табуретки и кухонную посуду. Он замучился, поранил руки, вспотел, но не терял мужества, зная, с каким он борется врагом.

Между тем занялась вся крыша, и сквозь потолочные щели в горницу проник дым и огонь. Тогда только Слимак вышел на освещённый двор, волоча за собой лавку. Перетащив её в сарай, он хотел ещё раз вернуться — за столом. Но взглянул на амбар — и обомлел. Из амбара вырывались языки пламени, лизавшие на крыше снег. Рядом стояла Зоська и, грозя кулаками, кричала во всё горло:

— Вот вам, Слимак; спасибо за дочку!.. Теперь и вы пропадёте, как она!..

Бросившись бегом к оврагам, она взобралась на холм. Стоя в зареве пожара, она принялась приплясывать, хлопая в ладоши и напевая:

— Горит!.. Горит!.. Горит!..

Слимак закружился на месте, как подстреленный зверь. Потом отяжелевшим шагом он прошёл в сарай, сел на колоду и закрыл руками лицо. Он и не думал спасти свое добро, видя во всём кару господню за смерть Овчажа и сиротки.

— Все мы тут пропадём! — бормотал он.

Оба строения уже пылали, как огненные столбы; несмотря на мороз, в сарае становилось жарко, и во дворе уже начал подтаивать снег,

когда из колонии Гаммера донеслись крики и конский топот. Это немцы спешили на помощь.

Сразу во дворе засуетились батраки, бабы и дети с вёдрами и баграми; прикатили даже ручной насос и, построившись в две шеренги, начали под командой Фрица Гаммера разбирать стены и заливать пожар. Они шли в огонь, словно в пляс, смеясь и обгоняя друг друга; кто был посмелее, полез с топором на амбар, который ещё не весь был охвачен пламенем; бабы и дети носили воду с реки.

На холме снова показалась Зоська.

— Всё равно пропадёте, хоть и взяли вас немцы под опеку!.. — кричала она, грозя кулаками.

— Кто это?.. Что это?.. Держи её!.. — загудели колонисты.

Двое из них бросились было к холму, но Зоська уже скрылась в оврагах.

Фриц Гаммер подошёл к Слимаку.

— Подожгли вас? — спросил он.

— Подожгли, — ответил мужик.

— Эта вот? — прибавил Фриц, показав рукою на холм.

— Она самая.

— А не лучше ли было продать нам землю?.. — помолчав, сказал Фриц.

Мужик понурил голову, но ничего не ответил.

Несмотря на принятые меры, амбар сгорел; часть хаты удалось всё же отстоять. Одни колонисты ещё заливали водой пожарище, другие окружили кольцом Слимака и его больную жену.

— Куда же вы теперь денетесь? — снова обратился к нему Фриц.

— Останемся в конюшне, — ответил мужик.

Немки зашептались между собой о том, чтобы взять их на ферму, но колонисты качали головой и говорили, что болезнь Слимачихи может

оказаться заразной. Фриц поспешил присоединиться к последнему мнению и велел перенести больную в конюшню.

— Мы вам пришлём, — сказал Фриц, — всё, что нужно, а там видно будет...

— Спаси вас господь, — ответил Слимак и, поклонившись, обнял его ноги.

Колонисты начали расходиться. Одну из баб Фриц оставил подле больной, велел какому-то батраку привезти соломы для погорельцев, а Герману шепнул, чтобы он немедленно ехал в Волю, к мельнику Кнапу.

— Сегодня, видно, заключим с ним сделку, — сказал он Герману. — Давно уж пора!..

— Если б не это, — ответил Герман, показав головой на пепелище, — нам бы не выдержать до весны.

Фриц выругался. Однако со Слимаком он протиснулся дружелюбно и, заметив, что жена его плоха, посоветовал вызвать фельдшера. Наклонившись над больной, он сказал:

— Она совсем без памяти...

Слимачиха, не открывая глаз, вдруг неожиданно твёрдо проговорила:

— Да... без памяти... без памяти!..

Фриц отшатнулся, сконфузился, но потом быстро оправился и шепнул:

— Бредит!.. она в жару...

Пожав руку Слимаку, он отправился вслед за остальными в колонию.

Был уже день, когда из колонии привезли солому, каравай хлеба и бутылку молока. Слимак всё ходил по двору, где стлался едкий дым пожара. Вот под навесом валяются табуретка и лавка. Сколько им лет! Он сиживал на них ещё ребёнком и часто ножиком вырезал на них какие-то метки и крестики... Да, эти самые...

А вот сундук... ключ ещё торчит в замке. Мужик отомкнул его, достал маленький мешочек с серебром, потом мешочек побольше — с бумажными деньгами — и спрятал их в углу конюшни, под сухим навозом. Покончив с этим делом, он впал в апатию и стал снова бродить по двору. Вот в куче пепла дымятся почерневшие брёвна: это его амбар, урожай целого года. Вот лежит Бурек; его уже начали клевать вороны, и из-под жёлтой шерсти вылезли ребра. А дальше его хата — без окон, без дверей, без крыши; одна лишь труба торчит среди закопчённых стен.

«Какая маленькая хата, а труба-то какая высокая!..» — подумал Слимак.

Он свернул в сторону и поднялся на холм: ему казалось, что в эту минуту о нём говорят в деревне, может быть даже спешат ему на помощь. Но из деревни никто не приходил; на безбрежной белой пелене не было ни души, лишь кое-где между деревьями светились огни в хатах.

— Уже завтрак готовят, — пробормотал он про себя.

Минутами в его усталом мозгу воскресали знакомые образы; он грезил наяву. Вот снова весна, Слимак боронует овёс. Впереди, обмахиваясь хвостами, идут его гнедые, над ним чирикают воробьи, где-то рядом Стасек смотрится в реку, а вдали баринов шурин скачет верхом на лошади, с которой не умеет сладить. Из-под моста, где жена стирает белье, доносится стук валька, в огороде горланит Ендрек, а Магда из хаты кричит ему что-то в ответ...

В эту минуту до Сликама донёсся запах гари, и всё ему вдруг опротивело: и замёрзшая река, в которую уже никогда не будет смотреться

Стасек, и холмы, покрытые снегом, и тесная пустая хата без крыши, с безобразно торчащей трубой. Всё тут ему опротивело, всё — впервые в жизни ему захотелось бежать отсюда, куда-нибудь далеко-далеко, совсем в другие края, где ничто не напоминало бы ему о прошлом: ни о Стасеке, ни об Овчаже, ни о лошадях, ни об этом проклятом хуторе.

— Чего я тут не видал!.. — приговаривал он, размахивая кулаками. — Чтò я — уйти, что ли, отсюда не волен?.. Денег немного есть, получу от немцев ещё и куплю себе землю в другом месте. Чего мне здесь строиться, — чтобы опять спалили? Хозяйствовать и опять ничего не продавать? Сидеть здесь для того, чтобы другие отбивали заработок?.. Лучше уж не быть мужчином, а жить, как немцы: покупать земельку подешевле, продавать подороже да копить копейку про чёрный день...

Он спустился с холма, снова прошёл в конюшню и, улегшись неподалеку от стонавшей в бреду жены, сразу уснул.

В полдень на пороге конюшни показался старик Гаммер; рядом стояла какая-то немка с двумя горшками горячего варева. Убедившись, что хозяин спит, Гаммер ткнул его несколько раз тростью.

— Эй, вставайте! — окликнул он мужика.

Слимак очнулся, сел и протёр удивлённые глаза. Увидев бабу, стоявшую над ним с горшками, он вдруг ощутил голод и молча взял у неё обе посудыны и ложку. Потом жадно принялся есть.

Старик Гаммер уселся на пороге, поглядел на мужика, покачал головой, затем достал из кармана фарфоровую трубку и, раскурив её, начал рассказывать:

— Ходил я сейчас в вашу деревню. Был у Гжиба, у Ожеховского, ещё у нескольких мужиков побогаче — насчёт того, чтобы они вам чем-нибудь помогли. Это ведь долг каждого христианина. . .

Он, не спеша, пустил клуб дыма, словно ожидая, что мужик будет благодарить. Но Слимак был занят едой и даже не взглянул на него.

— Я сказал, — продолжал старик, — чтобы кто-нибудь пустил вас к себе на квартиру или хоть послал лошадей за фельдшером для вашей жены. Но они — и в ус не дуют. Только покачивают головой и говорят, что это вас бог наказал за смерть батрака и ребёнка, а поэтому они не хотят вмешиваться в такие дела. У них не христианское сердце.

Слимак кончил есть, но попрежнему молчал. Гаммер опять затаился и, наконец, спросил:

— Ну, а что вы теперь будете делать на этом пустыре?

Мужик вытер рот и ответил:

— Продам.

Гаммер сунул палец в трубку, прижимая табак.

— Есть у вас покупатель?

— А я вам продам.

Гаммер задумался. Наконец, сказал:

— Пфф! Купить — я куплю, раз вы оказались в такой нужде, но я могу дать только семьдесят рублей за морг.

— Недавно ещё вы давали сто.

— Почему же вы не брали?

— Это правильно, — признал мужик. — Всякий, кто может, пользуется.

— А вы никогда не пользовались? — спросил Гаммер.

— И я пользовался.

— Кроме того, хата и амбар сгорели.

— Вы постройте себе другие получше.

Гаммер снова задумался.

— Ну, как, отдаёте? — спросил он Слимака.

— Чего ж не отдать!

— И завтра поедем к нотариусу?

— Поедем.

— А сегодня вечером договоримся у меня?

— И то можно.

— Ну, если так, — оживился Гаммер, — я вам вот что скажу. Я дам вам по семьдесят пять рублей за морг и не позволю вам пропасть. Мы отвезём вашу жену в колонию и устроим её в школе. Там тепло. Вы оба перезимуете у нас, а за работу я вам буду платить, как нашим батракам.

При слове «батрак» Слимака передёрнуло, но он промолчал.

— От ваших мужиков, — сказал в заключение Гаммер, — вы не дождётесь помощи. У них не христианское сердце. Это скоты... Будьте здоровы.

— Счастливым вам путь, — ответил мужик.

Гаммер ушёл. На закате за лежавшей без памяти Слимачихой приехали сани и увезли её в колонию. Слимак остался на пожарище. Прежде всего он достал мешочек с серебром, спрятанный им там же, где мешочек с бумажными деньгами, и положил их в карман зипуна. Потом перенёс в конюшню уцелевшую от пожара одежду и утварь и, наконец, подбросил сена коровам. Ему показалось, что безгласные твари смотрят на него с упрёком и как бы спрашивая:

— Что ж это вы делаете, хозяин, неужели ничего лучше не придумали?..

— А что же мне делать?.. — сам себе ответил мужик. — Ну, остались у меня кое-какие деньги,

даже, можно сказать, немалые деньги, да что толку? Если я сызнова построюсь и лошадей заведу, опять что-нибудь приключится: такое уж тут место несчастливое. Вот будет здесь жить немец, так и отвадит нечистого, а я не умею.

Наступил вечер, а Слимак всё ещё бродил по двору с таким чувством, как будто что-то удерживало его на месте, как будто ноги у него примерзли к земле. Он попробовал возбудить в себе гнев и стал на чём свет стоит ругать свой хутор.

— У-у... пакость... — ворчал он. — Было бы что жалеть! А то земля не родит, кругом ни души, заработков никаких, а чего солнце не выжжет, то смоем водой. Не для того же мне тут оставаться, чтобы воры на мне разжились!

Он и в самом деле обозлился: плюнул всердцах, ткнул ногой сломанные ворота и быстрыми шагами направился к мосту, не оглядываясь назад. По дороге он встретил двух немцев-батраков: весело разговаривая, они шли ночевать к нему на хутор. При виде Слимака они умолкли, но, едва поровнявшись с ним, стали пересмеиваться.

— Стану я зимовать с такими прохвостами!.. — огрызнулся Слимак. — Пусть только мой малый вернётся из-под ареста да поправится баба, я тогда на край света уйду, только бы глаза мои вас не видели...

В ясном небе загорелись звёзды; из-за леса выплыл молодой месяц. За мостом мужик свернул налево и вскоре остановился возле колонии Гаммера.

У ворот чернела какая-то тень.

— Это вы, пан учитель?.. — спросил Слимак.

— Я. Ну, что же, согласились продать землю?

Мужик молчал.

— Может, это и к лучшему... Да, пожалуй, к лучшему, — говорил учитель. — Один вы на этом клочке много не навоюете: очень уж вам не везёт, а так — по крайней мере, спасёте других.

Он оглянулся по сторонам и прибавил, понизив голос:

— Но вы у нотариуса поторгуйтесь с Гаммерами, ведь вы им оказываете услугу. Как только они с вами разделаются, Кнап отдаст свою дочь за Вильгельма, выплатит ему приданое и ещё достанет денег в долг. Иначе ко дню святого Яна Гиршгольд выгнал бы их и продал бы ферму Гжибу... Тяжёлый контракт они заключили с евреем.

— Как, Гжиб хочет купить колонию? — спросил Слимак.

— А вы думали кто? — сказал учитель. — Гжиб покупает для сына... Иосель уже с месяц тут шныряет; и, бог знает, чем бы всё это кончилось, если бы вы не решились продать свой хутор.

— Гжиб? — повторял мужик. — Да лучше мне чорта иметь соседом, чем эту холеру! Сотня немцев так не доймёт, как этот старый Иуда.

— А всё-таки вы с ними поторгуйтесь, — прибавил учитель. — Кнап уже приехал, так что они не будут особенно упираться.

На ферме скрипнула дверь. Учитель сразу переменил тему разговора.

— Ваша жена, — произнёс он вслух, — лежит в школе. Выйдите туда...

— Это кто, Слимак? — крикнул со двора Фриц Гаммер.

— Я.

— Выйдите к жене, а ночевать будете в кухне. За больной присмотрит Августова; вам нужно выспаться: завтра, чуть свет, мы едем.

Он скрылся за углом; дверь скрипнула. Очевидно, он снова вернулся в дом.

— А вы где живёте, пан учитель? — спросил мужик.

— Обычно в школе, но сегодня ночуем с дочерью в конюшне.

Слимак задумался и сказал:

— Видать, мою бабу только до завтра положили в горнице. А завтра нас отправят в конюшню... Нет, нечего нам тут засиживаться.

Они вошли в тёмные сени. Откуда-то из дальних комнат доносился громкий разговор, прерываемый взрывами грубого смеха и звоном стаканов. Учитель взял Слимака за руку и потянул к дверям налево. В большой комнате, перегороженной рядами скамеек, тускло горела лампочка; в углу на топчане лежала Слимачиха; какая-то старуха клала ей на голову мокрые тряпки. Комнату наполнял острый запах уксуса.

У Слимака сжалось сердце. Лишь теперь, ощутив этот запах, он понял, что жена его тяжело больна, очень больна.

Он наклонился над топчаном; Слимачиха, прищурив глаза, вглядывалась в него. И вдруг заговорила хриплым голосом:

— Это ты, Юзек?..

— Я и есть.

Больная, закрыв глаза, теребила рукою тулуп, которым была накрыта. Она снова заговорила, на этот раз громче.

— Что ты делаешь, Юзек?.. Что ты делаешь?..

— Как видишь, стою.

— Ага! стоишь... Я знаю, что ты делаешь... Ты не думай!.. Я всё знаю...

— Идите отсюда, хозяин, идите, — перебила

старая немка, подталкивая Мужика к дверям. — Идите, а то она волнуется, ей вредно... Идите...

И выпроводила его из комнаты.

— Юзек!.. — крикнула Слимачиха. — Юзек! поди сюда... Я тебе что-то скажу...

Мужик колебался.

— Незачем, — шепнул учитель, — она бредит и сердится. Если вы не будете у неё на глазах, она, может быть, уснёт.

Он провёл его через сени на другую половину, в кухню, куда сейчас же вошёл Фриц Гаммер и утащил его в комнаты.

За ярко освещённым столом, уставленным кружками, среди клубов дыма, сидел старик Гаммер, а рядом с ним мельник Кнап. Это был тучный человек, грузный, как куль муки, с широким красным лицом, лоснящимся от пота. Сидел он без сюртука, держа в руке кружку нива и рукавом другой руки вытирая вспотевший лоб. Из-под расстёгнутой рубашки, на которой блестели золотые запонки, виднелась полная, как у женщины, грудь, густо поросшая волосами.

Направо от стола, на подставке стоял изрядный бочонок пива, из которого Вильгельм Гаммер то и дело наполнял кружки.

— Ну, как ты называешься, отец? — весело крикнул Кнап грубым голосом, с сильным немецким акцентом.

— Слимак.

— О, правда, — это он самый!.. — загудел Кнап и захохотал. — А ты продашь нам твой земля с горой под мельницу?

— Как сказать?.. — робко ответил мужик. — Стало быть, продам...

— Ха-ха! — покатывался Кнап. — Вильгельм!.. — заревел он, точно Вильгельм был за версту отсюда, — налей кружку нива этому му-

жику... Пей за моё здоровье, а я за твоё...
Хо! Хо! Хо!... Хотя ты ко мне никогда не при-
возил своё зерно, я буду с тобой чокаться...
Ты будь здоров, и я будь здоров... А зачем
раньше не продал твой земля?

— Кто его знает? — сказал мужик, жадно
плотая пиво.

— Вильгельм!.. налей ему!.. — гремел
Кнап. — А я скажу, зачем не продал. Затем, что
ты не имеешь крепкого решения. Хо! Хо!..
Крепкое решение — это самый главный. Я ска-
зал: «Я буду иметь мельница в Вульке!» — и
я имею мельница в Вульке, хотя евреи два раза
мне его сожгли. Что, не правда, Гаммер?.. И я
ещё сказал: «Мой Конрад будет доктор!» — и
Конрад будет доктор. И я ещё сказал: «Гам-
мер, твой Вильгельм должен иметь ветряную
мельницу!» — и Вильгельм должен иметь ветря-
ную мельницу. А человек без крепкого реше-
ния — он есть, как мельница без воды... Виль-
гельм!.. налей ему пива... Что, какое хорошее
пиво, правда?.. Это мой зять Краузе делает та-
кое хорошее пиво... Хо-хо!..

— Что это?.. — воскликнул он, наклоняясь к
бочонку. — Что это, пива нет!.. Баста!.. идём
спать...

Все встали из-за стола. Фриц подтолкнул Сли-
мака к кухне и запер дверь.

Мужик одурел, сам не зная от чего: от пива
или от речей шумливого Кнапа. При свете площ-
ки он разглядел в кухне два топчана: на одном
кто-то уже спал, другой был не занят. Слимак
присел на него, и вдруг ему стало удивительно
весело, и он закачался: влево — вправо, влево —
вправо...

Он ни о чём не думал или, вернее, прислуши-
вался к разговору на немецком языке, доносив-

шемуся из смежной комнаты. Через некоторое время он услышал звонкое чмокание, бесконечные восклицанья, потом задвигались стулья, захохотал Кнап. Вдруг кухню залил яркий свет: прошли Фриц с Вильгельмом.

— Спать, спать!.. — крикнул мужику Фриц. — Завтра с утра мы едем...

Молодые Гаммеры вышли в сени, из сеней во двор, шаги их затихли где-то за амбаром, а Слиммак всё покачивал головой то влево, то вправо. Прошло ещё некоторое время, в соседней комнате гулко раздавались тяжёлые шаги, потом грубый голос Кнапа забубнил:

«Отче наш, иже еси на небесах...»

Читая молитву, мельник снимал сапоги и швырял их на пол; наконец, со словами «аминь... аминь»... он улёгся на кровать, которая сильно под ним заскрипела.

Он умолк, а через несколько минут захрапел на разные голоса, и как-то очень странно: казалось, будто его резали или душили.

Фитилёк, едва тлевший в плошке, затрещал, раза два вспыхнул и погас, распространив в кухне противный запах подгоревшего сала. В замёрзшее окно глянул месяц, и на глиняный пол упала полоса тусклого света, перерезанная на шесть долек тенью оконной рамы.

Мельник чудовищно храпел и кричал. Захмелев от пива, мужик раскачивался вправо и влево, чему-то улыбался и рассуждал:

— Ну, и продам!.. А что? Нельзя, что ли? Лучше мне в чужой стороне купить пятнадцать моргов хорошей, настоящей земли, чем биться здесь на десяти негодных по соседству с Ясеком Гжибом. Да они со стариком вовсе меня заедят... Продать, так продать, но чтоб сразу...

Он встал, словно собираясь сейчас же идти к нотариусу. Вспомнив, однако, что до нотариуса далеко, он снова опустился на сенник и тихо зашептал. Крепкое пиво, выпитое на голодный желудок, совсем его разморило.

Вдруг на фоне ярко освещённого окна показалась тень. Кто-то со двора пытался заглянуть в кухню.

Мужик машинально придвинулся к окну. Взглянул, мигом протрезвел... и выбежал из кухни. От скрипа дверей сонный батрак заворочался и выругался, но Слимак не заметил этого. Трясущимися руками он нащупал в сенях щеколду, толкнул дверь, и его обдало морозным воздухом.

Во дворе перед домом стояла женщина, заглядывавшая в окно. Слимак бросился к ней, схватил за плечи и в ужасе прошептал:

— Это ты, Ягна?... Ты?... Побойся бога, что ты делаешь? Кто тебя одел?

Действительно, это была Слимачиха.

— Сама я оделась, только с башмаками никак не могла управиться, вишь, как нескладно обулась... Ну, идём домой, — сказала она, потянув его за руку.

— Куда же домой? — ответил Слимак. — Ты, знать, совсем больная, раз не помнишь, что у нас сгорел дом и амбар... Ну, куда ты пойдёшь по такому морозу?

В саду залаяли волкодавы Гаммера; Слимачиха повисла на руке мужа, упорно повторяя:

— Идём домой... Идём домой! Не хочу помирать в чужом углу, словно побирושка... Нет! Я сама хозяйка... Не хочу брататься со швабами, иначе ксёндз не окропит мой гроб святой водой...

Она тянула мужа, и он шёл. Так они добрались

до ворот, потом выбрались за ворота и потом дальше — к замёрзшей реке, лишь бы как можно скорее дойти до жилья. За ними с бешеным лаем бежали собаки и рвали на них одежду.

Они молча шли. Наконец у реки Слимачиха остановилась от слабости и, передохнув немного, проговорила:

— Ты думаешь, я не знаю, что немцы тебя окружили и что ты хочешь им землю продать?.. Может, не правда?.. — прибавила она, дико глядя ему в глаза.

Слимак опустил голову.

— Ах ты, продажная душа!.. Отступник проклятый! — вдруг взорвалась она, грозя ему кулаком. — Землю свою продаёшь?.. Ты, пожалуй, и самого господа Иисуса Христа продашь!.. Прискучило тебе честно жить, как подобает хозяину, как жил твой отец? Бродяжничать захотел? А Ендрек что будет делать?.. Ходить за чужой сохой?.. А меня ты как похоронишь?.. Как хозяйку или как побирушку какую?..

Она потянула его к себе и ступила на лёд. Когда они дошли до середины реки, Слимачиха заговорила снова:

— Стой тут, Иуда!.. — крикнула она, схватив его за обе руки. — Что, будешь продавать землю? Я уже тебе больше не верю. Слушай, — говорила она в лихорадочном возбуждении: — ежели продашь, господь бог проклянёт и тебя и сына... Этот лёд провалится под тобой, ежели ты не откажешься от дьявольского наущения... Я после смерти покоя тебе не дам... Глаз не сомкнёшь... а уснёшь, я из гроба встану и не дам тебе спать... Слушай!.. — крикнула она в приступе безумья, — ежели ты продашь землю, не проглотить тебе святых даров: поперёк горла они у тебя станут или разольются кровью...

— Иисусе! — шепнул мужик.

— Куда ни ступишь, трава у тебя загорится под ногой... — заклинала его обезумевшая женщина. — Если на кого посмотришь, — сглазишь, и несчастье падёт на его голову...

— Иисусе! Иисусе! — стонал мужик.

Он вырвался у неё из рук и заткнул уши.

— Продашь? продашь? — спрашивала она, наклоняясь к самому его лицу.

Слимак тряхнул головой и развёл руками.

— Будь, что будет, — ответил он, — не продам.

— Даже если подохнешь в своём логове?

— Даже если подохну.

— Так помоги тебе бог!..

— Так помоги мне бог и безвинная мука его...

Слимачиха пошатнулась. Муж подхватил её, обнял и почти дотащил до конюшни, где спали оба батрака Гаммера.

Мужик посадил жену на порог, а сам застучал кулаками в двери.

— Кто там? — спросил сонный голос.

— Отоприте!.. Вставайте!.. — ответил Слимак.

Один из батраков открыл дверь.

— Это вы, Слимак? — спросил он удивлённо, кутаясь в тулуп.

— Ступайте к себе в колонию, мне тут мою бабу надо уложить.

Батрак почесал всклокоченную голову.

— Смеётесь вы, что ли?.. Да ведь земля эта теперь не ваша...

— А чья же?.. — в бешенстве заревел мужик и, схватив его за шиворот, вышвырнул во двор. — Вон пошли!.. — прибавил он, пропуская

второго батрака, который, захватив свои сапоги, добровольно покинул конюшню.

Возмущённые тем, что их выгнали, они быстро одевались и ворчали. Сликама взял жену на руки и уложил на ещё тёплую постель. Женщина тяжело дышала.

— Ну, будет теперь тяжба! — сказал старший батрак. — Так нельзя обманывать людей. Старик вам поверил и вызвал Кнапа, жене вашей обеспечен уход, вы договорились о продаже, а сами среди ночи удираете. Честный же вы купец!..

— Это его Геде подбил, — вмешался второй.

— Нет, Геде не такой подлец, — ответил старший, — он не нарушит договора. Тут евреем пахнет... Его, видно, подговорили Йосель с Гиршгольдом — оба прохвосты. Это они всех нас пустили в трубу.

Сликама в ярости захлопнул двери конюшни. Оба немца закричали:

— Ты ещё поплатишься за своё мошенничество!..

— Земли тебе нехватит!..

— Увидишь, как тебя надуют евреи!..

— С голоду подохнешь, руку будешь протягивать на паперти.

— Поцелуйте меня в... — огрызнулся Сликама.

Они повернулись и направились в колонию, грозя кулаками и ругаясь попеременно по-польски и по-немецки. Когда смолкли их гневные голоса, Сликама вышел из конюшни и стал бродить по двору, прислушиваясь, не едет ли кто по дороге.

«Ничего не поделаешь, — думал он, — надо достать какую-нибудь бабку и фельдшера...»

Время от времени он приоткрывал скрипучую

дверь и заглядывал в конюшню. Жена уже не хрипела, и ему показалось, что она спит спокойнее.

Так он прошатался до утра. На заре он бросил сена коровам, напоил их, а когда совсем рассвело, побрёл в конюшню, чтобы немного поспать.

Его поразило спокойствие жены. И, хотя глаза у него слипались и в голове шумело, он наклонился над ней и, собрав последние силы, стал осматривать. Потом дёрнул ее за руку, потрогал губы — она не шевелилась. Умерла и даже успела уже остыть.

— Ну, вот!.. — пробормотал он. — Эх... чорт бы меня побрал!..

Он затворился в конюшне, сгрёб немного соломы в угол и лёг. Через несколько минут он уже крепко спал.

Было уже за полдень, когда он проснулся от света и какого-то шума. Он открыл глаза и увидел перед собой старуху Собесскую.

— Вставай, Слимак, вставай!.. Жена твоя померла... Как есть, померла...

— Я-то что могу сделать? — ответил мужик.

И, повернувшись животом вниз, ещё плотней натянул на голову тулуп.

— Как что делать? Гроб надо купить... В приход пойти, сказать...

— Ну, и пускай говорят, кому надо...

— Кому надо-то? — кричала бабка. — В деревне толкуют, что тебя сам бог наказал за Овчажа да за сиротку... Немцы лютуют против вас — страшное дело! Толстый-то этот, мельник из Вульки, поссорился с ними и уехал... А Иосель не велел мне сюда итти, говорит, что теперь тебе следует вспомнить цыплят, которых ты прошлый год продавал дорожникам. Совсем остервенился еврей, хотела было варом ему плес-

нуть в зенки... Да поднимайся же, Слимак!.. — говорила бабка, теребя его.

— Эй!.. Отвяжись от меня, — отозвался мужик приглушенным голосом, — а то как двину ногой, так водка из тебя и брызнет...

— Ах ты, безбожник! собачий ты сын!.. Да ты и вправду от веры своей отступился, совесть потерял; вишь, валяется, когда родная жена ждёт христианского погребения... Опомнись, Слимак.

— Поцелуй меня, знаешь?.. — заревел мужик и взмахнул ногой в воздухе так, что старуху ветром обдало.

Бабка всплеснула руками и, причитая, побежала в деревню.

Слимак закрыл дверь и снова спрятался под тулуп. Сердцем его овладело непреодолимое мужицкое упорство; он был уверен, что погиб окончательно. Он не жаловался, ни о чём не жалел, но хотел только одного: заснуть и во сне умереть. Враги его проклинали, знакомые отступились, близкие сошли в могилу. У него не осталось никого и ничего; во всём мире не было руки, которая помогла бы в тяжёлый час или подала воды, если в жару он будет мучиться жаждой. Спасти его могло одно лишь божественное милосердие, но он уже в него не верил.

Когда он так лежал, лицом к земле, чтобы не видеть трупа жены, солнце опустилось на западные холмы, донёсся вечерний звон, и в хатах бабы набожно зашептали «Ангел господень». Именно в это время с горы по дороге спускалась какая-то чёрная сгорбленная тень. Она медленно шла прямо к хутору Слимака, с мешком на спине и с палкой в руках, в сиянии закатного солнца. Словно ангел господень, ниспосланный людям милосердным отцом в самый тяжёлый их час.

Это был Иойна Недопеж, самый старый и самый бедный еврей во всей округе. Он всё делал и всем торговал, но никогда ничего не имел. Жил он с многочисленным семейством в стороне от дороги, в маленькой хате. Один угол уже давно завалился, и над ним не было крыши, а в оконцах, забитых дощечками и заклеенных бумагой, лишь кое-где блестели осколки стекла.

Иойна шёл в деревню в надежде, что, может быть, Гжиб или Ожеховский пожелают отдать в починку что-нибудь из одежды или, в крайнем случае, найдётся какое-нибудь поручение у шинкаря Иоселя, который охотно пользовался его услугами, но платил скупно. Ледяной ветер развеивал его пейсы, трепал жиденскую бородку, щипал красные разбухшие веки, пытаясь забраться под ветхий заплатаанный лапсердак. Старик дул на посиневшие пальцы, перекидывал мешок с плеча на плечо и, с трудом передвигая ноги, озабоченно думал о своей семье. Дождётся ли когда-нибудь его жена, старая Либа, щуки на шабес? Что поделывает его сын Менахем, который сбежал от военной службы в Германию, уже сбрил бороду, надел короткий сюртук, но попрежнему сидит без денег? И когда вернётся Бенцион Суфит, самый ловкий из его зятьёв, отсиживающий в тюрьме за какие-то преступления против акциза? И станет ли, наконец, учёным другой его зять, Вольф Кжикер, который уже десять лет ничего не делает и только читает священные книги? Выйдет ли когда-нибудь замуж его дочь Ривка, некрасивая старая дева? А его внуки и внучки — Хаим, Файвель, Мордко, Элька, Лая и Мирля — будет ли у них когда-нибудь хоть по две целых рубашки?

— Ай-ай! — бормотал еврей. — А наши негодники отобрали у меня три рубля...

Эти три рубля отняли у Недопежа воры ещё осенью, но он до сих пор не мог забыть о своей потере. Три рубля были самой крупной суммой, которую ему случалось иметь за всю его жизнь.

В эту минуту взгляд Иойны упал на трубу погоревшей хаты Слимака, и старик тяжело вздохнул. Ай! Что б это было, если бы на его собственную хату бог тоже послал огонь, и куда бы девались его жена, дочери, зять, внуки и внучки?

Волнение его ещё усилилось, когда из стойла послышалось мычание коровы. Значит, Слимаки здесь, на хуторе. Ну, конечно, здесь; никто в деревне их не пустит к себе, уже больше года все на них сердятся. А за что сердятся? За то же, за что сердятся на него, старого Иойну, и ещё называют мошенником... Бывает это у людей: вдруг они кого-нибудь не влюбят; так уж устроен мир, и не так-то легко его исправить.

Корова опять заревела (обе они то и дело мычали с самого полудня), и Иойна свернул с дороги посмотреть, что делается у Слимаков.

«Может быть, я и подработаю», — подумал он.

Он вошёл во двор, поглядел по сторонам и, качая головой, направился к конюшне.

— Слимак!.. Дан хозяин!.. Пани хозяйка, вы здесь?.. — кричал он, стуча в стену.

Отворить дверь он побоялся, чтобы, в случае, если хозяев не окажется, его не упрекнули, что он суётся туда, куда его не звали.

— Кто там? — откликнулся Слимак.

— Это я, старый Иойна, — ответил он.

И, приоткрыв дверь, спросил с удивлением:

— Что у вас случилось?.. Что с вами, Слимак?.. Где хозяйка?..

— Померла.

— Как так померла? — попятился старик. —

Что за шутки такие? Ай-ай! А может быть, и в самом деле померла? — прибавил он, внимательно поглядев на покойницу. — Такая хорошая хозяйка! Ай, какое несчастье, сохрани бог... Тьфу! — сплюнул он. — Что вы лежите, Слимак? Надо же похороны устроить.

— Зараз двоих надо хоронить, — буркнул мужик.

— Как это так двоих?.. Вы что, больны?

— Нет.

Еврей покачал головой, сплюнул и задумался.

— Так нельзя оставаться, — сказал он, — если вы не тронетесь с места, я сам дам знать, только скажите, кому.

Слимак молчал; корова опять заревела.

— Чего это размычалась ваша скотина? — спросил с любопытством Иойна.

— Верно от того, что непоена.

— Почему же вы её не напоили?

Мужик не ответил. Еврей постоял с минуту, потом постучал пальцем по лбу, бросил на землю мешок, палку и спросил:

— Где у вас ушат, хозяин? где ведро?..

— Отстаньте от меня! — сердито проворчал мужик.

Иойна не уступал. Он разыскал в стойле ведро и бадейку, несколько раз сходил к проруби за водой, напоил коров и поставил полную кружку возле Слимака. К коровам Иойна питал особую симпатию и сам более полувека мечтал о том, чтобы когда-нибудь завести собственную корову или хотя бы козу.

Отдышавшись после непосильной работы, еврей опять спросил Слимака:

— Ну, как же будет?

Мужика его сострадание тронуло, но из апатии не вывело. Слимак поднял голову и сказал:

— Ежели повстречаете Гроховского, скажите ему от меня, чтобы он не позволял продавать землю, покуда Ендрек не подрастёт.

— А что мне сказать в деревне?.. Я туда иду.

Но мужик накрылся тулупом и замолчал.

Еврей стоял и долго раздумывал. Наконец затворил дверь, взял свой мешок, палку и пошёл, но не за мост, в деревню, а вверх по дороге. Сочувствие бедняка к чужому несчастью было настолько сильно, что в эту минуту он позабыл о собственных горестях и думал только о том, как спасти Слимака. Он, собственно, не то, чтобы думал о Слимаке: скорее он не умел отделить его от себя. Ему казалось, что это он сам, Иойна, лежит в конюшне подле умершей жены и что ему любой ценой нужно вырваться из этого ужаса.

Он спешил, насколько ему позволяли его старые ноги, прямо к Гроховскому. Было около шести вечера и почти темно, когда он добрался до его жилья. Его поразило, что в хате не было света. Он постучался, никто не отвечал. Прождав с четверть часа у порога, он обошёл хату кругом и, отчаявшись, собрался было уходить, как вдруг перед ним, словно из-под земли, появился Гроховский.

— Ты здесь зачем?.. — грозно спросил его огромный мужик, тщательно скрывая за спиной какой-то длинный предмет.

— Зачем?.. — испуганно повторил Иойна. — Я нарочно к вам прибежал от Слимака... Знаете, они погорели, Слимачиха померла, сам он лежит около неё совсем как безумный... Он говорит такое... в голове у него ходят очень нехорошие мысли, он даже коров не напоил. Боюсь, как бы он себе не сделал чего-нибудь ночью.

— Слушай, еврей, — сурово сказал мужик, — смотри, правду говори. Кто тебя подучил врать? Сам ты не вор — я знаю, но тебя воры подослали. . .

— Какие воры? — вскрикнул Иойна. — Я иду прямо от Слимака. . .

— Не ври, не ври! . . — ответил Гроховский. — Ты меня отсюда не вытащишь, хотя бы ты мне ещё больше наплёл, а они тебе, всё равно, денег не отдадут. . .

Он погрозил Иойне и скрылся за домом. Лишь теперь старик заметил, что в руках у Гроховского было ружьё. Он, видимо, поджидал воров.

При виде оружия Иойна так перепугался, что в первую минуту едва не упал, но потом быстро побежал по дороге. На небе показался месяц; при его слабом свете каждый куст, каждый столб казался старику разбойником, который сперва ограбит, а потом застрелит его из ружья. Он бы, наверно, умер от звука выстрела.

Но, несмотря на это, он не забыл Слимака и, выбравшись на большак, отправился в дальнюю деревню, где был костёл.

Здесьний ксёндз всего несколько лет управлял приходом. Это был человек средних лет, очень красивый. Он получил высшее образование и держал себя как настоящий шляхтич. Ежегодно он выписывал больше книг, чем все его соседи взятые вместе, он много читал, однако это не мешало ему разводить пчёл, охотиться, ездить в гости и исполнять обязанности священника.

Он пользовался всеобщей симпатией. Шляхта любила его за ум и за то, что он непрочь был выпить; евреи за то, что он не давал их в обиду; колонисты за то, что он угощал в приходе пасторов; мужики за то, что он отстроил ко-

стёл, огородил кладбище, говорил прекрасные проповеди, устраивал пышные богослужения и не только крестил и хоронил бедных даром, но и оказывал им помощь.

Однако отношения между крестьянами и ксендзом оставались далёкими. Мужики уважали его, но побаивались. Глядя на него, они представляли себе бога важным паном, шляхтичем, который хотя и добр, но не станет говорить с кем попало. Ксёндз это чувствовал, и его крайне удручало, что никто из мужиков ни разу не пригласил его на крестины или на свадьбу, никто не обратился к нему за советом. Желая сломить их робость, он часто заговаривал с ними, но всякий раз, заметив испуг на лице мужика и смешавшись сам, обрывал разговор.

«Нет, не могу я притвориться демократом», — думал он с огорчением.

Иногда, во время распутицы, когда ксёндз много дней подряд проводил в одиночестве, в нём пробуждались угрызения совести.

— Негодный я пастырь, — говорил он себе, — плохой служитель церкви Христовой. Не для того же я стал священником, чтобы играть в карты со шляхтой, а для того, чтобы послужить малым сим. . . Дрянной я человек, фарисей.

И он запирался на ключ, подолгу простаивая на коленях, моля бога о ниспослании ему духа апостольского. Он давал обет раздарить своих псов, выбросить из погреба бутылки, раздать свои изящные сутаны бедным и, вместо того чтобы резаться в карты с помещиками, поучать заблудших и утешать страждущих. Но в то самое время, когда благодаря посту и молитве в нём был готов пробудиться дух смирения и отречения, сатана направлял к нему в дом гостей.

— Не будет мне спасения, не будет. . . Боже,

смилуйся надо мной!.. — бормотал он в отчаянии, поспешно поднимаясь с колен, чтобы распорядиться насчёт обеда и напитков.

А четверть часа спустя он уже распевал светские песенки и выпивал, как улан.

В тот день, когда Йойна добрёл, наконец, до ксендза, тот собирался с визитом к одному из окрестных помещиков. Ксёндз знал, что там будут гости, — инженер из Варшавы с самыми свежими новостями, будет, как водится, преферанс, отличный ужин и редкие вина, заготовленные для инженера, который сватался к дочке помещика. Ксёндз провёл в одиночестве уже несколько дней и теперь с лихорадочным нетерпением ждал минуты отъезда. Ему страшно надоело смотреть на двор, где разжиревший работник колот дрова, на сад, занесённый снегом, на голые деревья, в которых кричали грачи; он истосковался по людям и с великим трудом дожидался вечера. Он считал уже не часы, а минуты.

Его заместитель жил в другом доме и ложился спать вместе с заходом солнца, надевая на ночь суконный на вате колпак. Вот и всё, что находил в нём забавного ксёндз, который не любил своего помощника. Чтобы как-нибудь скоротать время до отъезда, он потребовал самовар, раскурил трубку и замечтался:

«Будет сегодня пани Теофилёва с мужем или не будет?.. Ну, сам он человек на редкость глупый, но она... Боже милосердный, о чём это я думаю!..»

Но, несмотря на греховность своих мыслей, ксёндз всё время ощущал устремлённый на него взгляд зелёных тоскующих глаз пани Теофилёвой.

Что за адская мука — таить от самого себя свои мысли!

Он затаился поглубже и вздрогнул, едва не уронив трубку.

Ему почудилось, что его сутана коснулась шёлкового платья.

— Господи, смилуйся надо мной! — прошептал он, вставая из-за стола.

Но стоило ему сесть, и он снова видел зелёные глаза, ощущал жгучее прикосновение шёлкового платья.

— Ах, скорей бы уж ехать... Мороз отрезвит меня... Впрочем, я весь вечер буду играть в преферанс...

Он убеждал себя, но сам не вполне этому верил. Он знал, что дамы задержат его в гостиной и что перед ним появятся, как всегда, её удивительные глаза, это меланхолическое лицо.

Вдруг постучались в дверь. То был Иойна, поклонившийся ему до земли.

— Хорошо, что ты пришёл! — воскликнул ксёндз. — Я хотел было послать за тобой. У меня набралась целая куча платья, которое нужно привести в порядок.

— Слава богу! — ответил еврей. — Я уже целую неделю сижу без работы. И кроме того пани экономка сказала, что на кухне испортились часы...

— Ты умеешь чинить часы?..

— А как же? У меня даже инструменты при себе.

— Отлично!.. Портной и часовщик.

— Я ещё и зонтики исправляю; если нужно, я шорник, я умею и посуду лудить.

— Ну, если так, оставайся у меня на целую зиму. А когда ты придёшь работать?

— Я сейчас же засяду.

— На ночь? — спросил ксёндз.

— Я всегда ночами работаю. Я теперь сплю немного.

— Как хочешь. Так ступай во флигель и скажи, чтобы тебе дали поужинать. Чаю тебе сейчас принесут.

— Прошу вас, извините меня, — поклонился старик, — если можно, пусть сахар будет отдельно.

— Ты пьёшь без сахару?

— Наоборот, я очень даже люблю сладкое, но чай я пью так, а сахар прячу для внуков.

— Пей с сахаром! Для внуков получишь отдельно, — засмеялся ксёндз, удивляясь предприимчивости еврея. — Валент, подай мою шубу, — вдруг заторопился ксёндз, услышав, что поданы сани.

Еврей снова поклонился.

— Ещё раз извиняюсь, — сказал он, — но я к вам пришёл от Слимака...

— От Слимака? .. — повторил ксёндз. — Ах, да! У него ведь случился пожар.

— То есть, даже не от него... он не посмел бы к вам посылать. У него сегодня жена померла, и у него в голове что-то сделалось; они оба лежат в конюшне, и даже некому воды подать, даже коров целый день не поили.

Ксёндз ахнул.

— Как? Никто из деревни их не навестил? ..

— Я опять попрошу извинения, — поклонился еврей, — в деревне болтают, что на него гнев божий обрушился. И по этому случаю он должен погибнуть, если никто его не спасёт.

При этих словах он так взглянул на ксёндза, словно хотел сказать, что ксёндз должен снасти Слимака.

Ксёндз стукнул чубуком об пол, так что трубка разбилась.

— Так я, с вашего позволения, пойду во флигель, — прибавил еврей.

Он взял мешок, палку и вышел.

У крыльца позвякивали бубенчики, напоминая ксёндзу, что пора ехать к соседу. Валент стоял в комнате с шубой в руках.

«Там меня ждут, — думал ксёндз. — Приехал инженер. Может быть, я понадоблюсь при обручении... (Может быть, ты целую неделю не увидишь пани Теофилёвой, — тише, чем самая мысль, шепнул ему внутренний голос.) Ну, а этот мужик может потерпеть до завтра; ведь я всё равно не воскрешу покойницы...»

Ах, как мучителен выбор между блестящим раутом и ночным посещением погорельца, который рядом с трупом живёт в конюшне.

— Давай шубу! — сказал ксёндз. — Нет, погоди... — и он прошёл к себе в спальню.

«Сейчас половина восьмого, — соображал он. — Если я поеду к Слимаку, будет уже поздно ехать в гости».

И в пустой комнате он снова увидел зелёные глаза и печальное личико.

— Шубу!.. Постой... Валент, погляди, что, лошади поданы?

— Стоят у крыльца, — ответил слуга.

— А ночь светлая?

— Светлая.

— Так!.. Сходи к экономке и вели ей накормить старика. И пусть поставит ему лампу поярче, если он захочет работать ночью.

Валент вышел.

— Не могу я быть рабом всех погорельцев и баб, которые у нас помирают. Подождут

до завтра. Да и несостоящий он, должно быть, человек, если никто из деревни не поспешил ему на помощь.

Он машинально взглянул на распятие — и вздрогнул. Ему показалось, что у спасителя зелёные глаза.

— Святые раны господни, — прошептал он. — Что со мной делается? И это я — гражданин, священник, колеблюсь между развлечением и помощью несчастному... Священник!.. Гражданин!.. Как низко я пал!..

Он схватился обеими руками за голову и зашагал по комнате. Вошёл Валент.

Ксёндз повернул к нему побледневшее лицо.

— Возьми корзину, — сказал он изменившимся голосом, — положи туда мясо от обеда, хлеба, бутылку вина и отнеси в сани.

Слуга удивился, но выполнил приказание.

«А что, если он умирает? — думал ксёндз. — Захватить, может быть, святые дары?.. Не могу!.. — шепнул он, снова увидев перед собой эти удивительные глаза. — Я проклят, навеки проклят... Боже, смилуйся»...

XI

Через полчаса раскормленные лошади ксёндза остановились перед хутором Слимака. Ксёндз с зажжённым фонариком в одной руке и с корзиной в другой направился к конюшне.

Толкнув дверь ногой, он едва не наткнулся на труп Слимачихи. Взглянул направо: на соломе сидел мужик, закрывая глаза от огня.

— Кто тут? — спросил Слимак.

— Я, ксёндз.

Мужик вскочил, накинул на плечи тулуп. Он не мог понять, что случилось. Пошатываясь,

он добрался до порога и, став напротив ксендза, смотрел на него, раскрыв от изумления рот.

— Что вам угодно? — тихо спросил он.

— Я принёс тебе мир и благословение господне. Тут холодно: надень тулуп и подкрепись, — сказал ксёндз.

Он поставил корзину на высокий порог и вынул из неё хлеб, мясо и бутылку вина.

Слимак подвинулся к ксендзу, заглянул ему в лицо, потрогал руками шубу и, внезапно зарывшись, повалился ему в ноги:

— Как же мне тяжело!.. как тяжело!.. Ох, как тяжело!..

— *Benedicat te omnipotens Deus,*¹ — благословил его ксёндз.

И вдруг, вместо того чтобы перекрестить, обнял его за плечи и опустился с ним рядом на порог. Так они долго сидели — изящный ксёндз и несчастный, плачущий мужик в его объятиях.

— Ну, успокойся, брат, успокойся... всё будет хорошо... Господь не оставляет своих детей...

Он поцеловал его и утёр ему слёзы. Слимак с воплем снова повалился в ноги ксендзу.

— Хоть бы мне сейчас помереть... — всхлипывал он. — Я готов сейчас же отправиться в ад за свои грехи, раз мне выпало такое счастье, что сам ксёндз сжалился надо мной... А стою ли я того? Да проживи я хоть сто лет, дойди я до самой святой земли на коленях, так и то мне не заслужить...

Он отполз на коленях немного назад и упал ниц к ногам ксендза, словно перед святыми дарами. Прошло много времени, пока ксендзу уда-

¹ Да благословит тебя всемогущий бог (латинск.).

лось его успокоить; наконец он заставил мужика подняться и надеть тулуп.

— Выпей, — сказал ксёндз, протягивая ему стакан вина.

— Я не смею, — смущённо ответил мужик.

— Ну, я пью за твоё здоровье, — провозгласил ксёндз и пригубил стакан.

Слимак принял вино дрожащими руками и, опустившись на колени, выпил.

— Ну что, вкусно? — спросил ксёндз.

— Ух, добро! Арак против него дрянь... — ответил мужик совсем другим тоном и поцеловал руку ксёндзу. — Видать, тут кореньев много положено, — прибавил он.

Потом ксёндз уговорил его съесть кусок мяса с хлебом и выпить ещё вина. Еда заметно подкрепила Слимака.

— А теперь расскажи мне, брат, что с тобой случилось, — начал ксёндз. — Помнится, ты был прежде зажиточный хозяин.

— Долго рассказывать, благодетель. Один сын у меня потонул, другого посадили под арест, жена померла, лошадей у меня украли, а потом спалили меня... Все мои беды начались с тех пор, как пан продал деревню, как начали строить дорогу и как пришли немцы. Вот из-за этих первых дорожников и обозлилась на меня деревня, ещё когда они тыкали колышки в поле. Это Йосель их бунтовал из-за того, что землемеры у меня покупали цыплят и всякую всячину. Он и по нынешний день бунтует...

— А вы продолжаете ходить к нему за советом, — заметил ксёндз.

— А куда же пойти, благодетель, скажите, сделайте милость? Мужик — человек тёмный, а еврей во всём знает толк и иной раз хорошо посоветует.

Ксёндз пошевелился. Мужик, возбуждённый вином, продолжал:

— Как пан уехал, кончились мои заработки в усадьбе; я два морга земли арендовал у пана, пришлось и их отдать немцам.

— Ага! — прервал ксёндз. — Это не тебе ли помещик хотел продать за сто двадцать рублей луг, который стоил не меньше ста шестидесяти?

— Правильно, мне.

— Почему же ты не купил? Не поверил? Вам всё кажется, что господа думают только о том, как бы вас обидеть...

— Кто их знает, благодетель, что они думают? Между собой лопочут не по-нашему, а станут с тобой говорить — всё им смешки. Я и сейчас помню, как тогда насчёт луга начал пан со своей пани да с шурыком надо мной мудрить; я до того напугался, что и за сто рублей этого луга не взял. Да ещё толковали в ту пору, что будут землю раздавать.

— И ты поверил?

— Да как тут сообразить, когда со всех сторон все только мутят, а истинной правды ни от кого не узнаешь? Всех лучше в этих делах разбираются евреи, но они один раз скажут так, другой — этак, а мужик тому верит, к чему у него душа лежит.

— Гм! А на железной дороге у тебя был какой-нибудь заработок?

— Гроша ломаного не видел, меня сразу немцы оставили.

— И ты не мог притти ко мне? — негодовал ксёндз. — Ведь главный инженер всё время жил у меня.

— Простите, благодетель, откуда же мне было знать? Ну, да и не посмел бы я к вам итти.

— Гм, гм! А что, немцы тоже тебе досаждали?

— Ой-ой! — вздохнул мужик. — Как приехали, так и начали из меня душу тянуть: продай им землю! Так лезли ко мне и до того пристали, что, когда господь наказал меня огнём, я не устоял и перебрался с женой к ним...

— И продал?..

— Господь бог уберёт и моя покойница. Встала со смертного ложа, увела меня от них и так заклала, что я лучше помру, а продавать не стану. Ну, и взгреют же они меня за это... — уныло прибавил Слимак, понуриив голову.

— Ничего они тебе не сделают.

— Ну, не они, так старый Гжиб. В случае, Гаммеры отсюда уйдут, Гжиб возьмёт ферму. А он ещё похуже немца.

«Нечего сказать, примерный пастырь! — подумал про себя ксёндз. — Мои овцы грызутся между собой, как волки, их донимают немцы, евреи дают советы, а я разъезжаю по гостям!..»

— Побудь здесь, брат мой, а я поеду в деревню.

Он поднялся с порога. Слимак ещё раз обнял его ноги и проводил до саней.

— Поезжай за мост, — сказал ксёндз вознице.

— За мост?.. А туда не поедем? — удивился кучер, повернув к нему свое пухлое лицо, имевшее такой вид, как будто его пчёлы искусили.

— Поезжай, куда велят! — нетерпеливо ответил ксёндз.

Сани тронулись. Слимак остался один; опершись о забор, он прислушивался к замиравшему вдали звону бубенчиков и думал: «Откуда же это благодетель про нас узнал? Видать, от ксёндза,

как и от господа бога, ничего не укроется... Чудеса! Здешние не могли ему сказать: ни немцы, ни Собесская... Может, Иойна? Добрый он еврей, жалостливый, коров моих напоил, но какая ему охота бежать среди ночи в этакую даль! Да он и шёл-то в деревню. Неслыханное дело: сам благодетель приехал к мужику, накормил, напоил, да ещё обласкал. Господи, боже мой, ажно мне совестно, как это я его облапил... Я даже к органисту не смел подступиться...»

Он стоял, задумавшись, и шептал:

— Видать, всё круто переменилось на свете, ежели такое важное лицо не постыдилось сидеть с мужиком запанибрата, да ещё на пороге конюшни. Или землю опять стали раздавать?.. Или, может, совсем упразднили шляхту?.. А добрый у нас ксёндз, душевный. Точь-в-точь как святой епископ, что своими руками поднял Лазаря и раны ему перевязал. Верно, и наш тоже будет святой; да, пожалуй, он и сейчас святой, раз он ясновидящий и знает, что за полмили делается. Теперь сунься ко мне кто-нибудь с советами, не поздоровится ему... Эх, если б ещё благодетель отпустил мне грех за беднягу Овчажа и за сиротку, тогда бы я ничего не боялся.

Он вздохнул и долго смотрел на небо, усыпанное звёздами.

— Любопытно бы знать, — пробормотал он, — как там на небе: жгут ли всю ночь лампы, или оно само так светится?

Вдалеке, на мосту, снова зазвенели бубенчики, зафыркали лошади, и вскоре у хутора остановились сани ксёндза. Мужик выбежал на дорогу.

— Это ты, Слимак?

— Я, благодетель.

— Завтра у тебя будет старый Гжиб, он хочет тебе помочь. Помиритесь и больше не ссорьтесь. А к вечеру надо похоронить покойницу. Я уже послал за гробом в местечко.

— Спаситель вы мой!.. — простонал мужик.

— Ну, Павел, гони, что́ есть мочи, — сказал ксёндз кучеру.

Он достал часы с репетицией и прислушался: было три четверти десятого.

— Да, поздновато, но ничего, успею!.. — проговорил ксёндз.

Он снова видел перед собой зелёные глаза — то на снегу, то среди звёзд, то на спине разжиревшего кучера.

— Господи, господи, смилуйся надо мной... — шептал ксёндз, борясь с искушением дьявола.

Слимак стоял посреди дороги до тех пор, пока сани не растаяли во тьме. А когда вокруг всё затихло, он вдруг почувствовал крайнюю усталость и непреодолимое желание уснуть. Он медленно поплёлся в конюшню, но — не вошёл туда. Теперь он боялся спать подле умершей жены и лёг в коровнике.

Сны у него были тяжёлыс, как всегда¹ после сильных потрясений. То ему казалось, что он куда-то падает, погружается в ледяную воду, блуждает по незнакомой местности, где царит вечный полумрак и никогда не бывает дня, то вдруг чудилось, будто жена убежала из конюшни и хочет пробраться к нему в коровник; вот уже тихонько приоткрылась дверь, отодвинулась доска... Он проснулся усталый и печальный; на минуту он склонился было к мысли, что ночное посещение ксёндза ему только приснилось. В

Тревоге он заглянул в конюшню, но успокоился при виде хлеба, мяса и начатой бутылки вина, которые ему оставил вечером ксёндз. Блеск зажигающейся зари осветил покойницу и зажёт два тусклых луча в её полуоткрытых глазах.

«Нет, никуда она не ухóдила ночью», — подумал мужик и вздохнул.

Вдруг какие-то сани остановились у ворот. Вскоре два мужика с большой корзиной вошли во двор. Слимак с изумлением увидел, что это — старик Гжиб с батраком.

— Ну, Куба, теперь поезжай в город за гробом, да живо! — сказал Гжиб батраку, когда они поставили корзину возле коровника.

Батрак уехал, а Гжиб повернулся к Слимаку, седая голова его тряслась, желтоватые глаза беспокойно бегали.

— Моя вина, — сказал он, ударяя себя в грудь. — Моя вина!.. Ну, что... сердитесь ещё?..

— Пошли вам бог всего самого лучшего за то, что вы не забыли меня в моей беде, — проговорил Слимак и низко ему поклонился.

Старику понравилось его смирение. Он схватил Слимака за руку и прибавил:

— Я вам говорю: моя вина, потому что так мне велел благодетель. Оттого я, старик, к вам первый пришёл со словами: моя вина! Но и вы, кум (не в укор вам будь сказано), здорово мне досаждали.

— Простите меня за всё, что я сделал худого, — молвил Слимак, склоняясь к руке Гжиба, — но, по правде сказать, не помню что-то, чем же я вас обидел?

— Да я и не обижаюсь. А всё ж таки с дорожниками вы торговали без меня...

— Вот и наторговал... — вздохнул Слимак, показывая на пожарище.

— Да, тяжёлое испытание послал вам отец небесный, поэтому я и говорю: моя вина! Но и вы тоже могли тогда у костёла, когда покойница ваша (вечная ей память!) накупила себе фуляров, могли и вы хоть полчетверти на радостях поставить, а вы сразу возгордились и нивесть чего наговорили мне, старику...

— Ой, правда, зря я лаялся.

— Ну, и с немцами вы тоже зря братались, — подхватил Гжиб. — А Ендрек даже пил с ними (помните, когда они место под дом выбирали?), а вы с ними заодно молились...

— Я только шапку снял. Ведь бог-то один — что у них, что у нас.

Гжиб отмахнулся от него.

— Это так только говорится, что один, — ответил он. — А я думаю, что у них бог другой, раз с ним надо по-немецки лопотать... Ну, да что там! — вдруг переменял он тему. — Что было, то прошло и не воротится. А благодетель сказал мне вчера, что вы много заслужили перед богом, потому что землю не отдали немцам. И сказал правильно. Вчера уже приходил ко мне Гаммер: хочет на святого Яна продать свою ферму.

— Да, да. Вот подлые швабы! — погрозил старик кулаком, — какой-нибудь год тому назад говорили, что всех нас отсюда помаленьку выкурят, гусей моих на лугу перестреляли, скотину захватили, а теперь — на-ка!.. Свернули себе шею, бестии, на десяти моргах; одного мужика не одолели, а ведь как нос задрали!.. За это одно, Слимак, стойте вы милости божьей и людской дружбы. Ну, что покойница?

— Лежит в конюшне.

— Пусть покоится с богом, покуда мы в святом месте её не схороним. А не раз она против меня вас настраивала; ну, да я ни на кого не обижаюсь... А тут, — заговорил Гжиб о другом, — я вам привёз из деревни, от всех нас, малость харчей. Вот крупа, — показал он один мешок, — вот горох, мука, кусок сала...

С дороги, на этот раз из-под горы, донёсся топот копыт и скрип саней, которые опять остановились возле хутора.

— Неужто благодетель?.. — спросил Гжиб, насторожившись.

— Нет, это мужик, — ответил Сливак. — Кто-то грузно шагает, вроде нашего старосты.

Действительно, показался Гроховский. При виде Гжиба он крикнул:

— А!.. И вы тут? Я к вам ехал... Что у тебя, Юзек? — обернулся он к Слимаку.

— Жена померла, только и всего.

— Ведь говорил мне вчера Иойна, да я ему не поверил. Скажите-ка, а?.. Где же она?.. Ага, тут...

Взглянув на покойницу, староста снял шапку и опустил на колени, прямо в снег. Гжиб сделал то же самое. Несколько минут слышался шопот молитвы и тихие всхлипыванья Слимака. Потом мужики поднялись, поохали, похвалили покойницу за её добродетели; под конец староста обратился к Гжибу:

— Птенца вашего привёз, — сказал он, — маленько подстрелен, но ничего, жив.

— Как? — спросил Гжиб.

— Да чего там... Ясека вашего привёз. Нынче ночью он у меня лошадей воровал, вот и заполучил несколько дробинок.

— Ах он мерзавец!.. Где же он?..

— Сидит в саях на дороге.

Гжиб тяжёлой рысцой побежал за ворота. Оттуда послышались удары, крики; вскоре старик показался снова, волоча за волосы Ясека, который, несмотря на свой рост и красоту, ревел, как малый ребёнок.

Его вышитая куртка была изорвана, высокие сапоги испачканы в навозе; левая рука — обмотана окровавленной тряпкой, лицо залеплено пластырем.

— Воровал лошадей у старосты?.. — спрашивал разгневанный отец.

— Почему не воровать? Воровал.

— Тут ему не повезло, — вмешался Гроховский. — Зато у Слнмака повезло. Он-то ведь и украл у него лошадей.

— Ты украл?.. — заорал Гжиб, бросаясь на сына с кулаками.

— Я, я, только не сердитесь, тятенька, — плакал Ясек.

— Господи боже мой, что же это на свете делается! — вопил Гжиб.

— А что делается? — презрительно ответил Гроховский. — Парень здоровый, нашёл себе дружков подстать, и они всех по очереди обворовывали, пока я его вчера не подстрелил.

— Что же теперь будет? — кричал старик, снова принимаясь колотить Ясека.

— Больше не буду, тятенька... Уж теперь-то я женюсь на Ожеховской и буду хозяйствовать... .

— Вот-вот, в самый раз! Теперь-то впору в тюрьму итти, а не свадьбу играть, — ответил Гроховский.

Старый Гжиб призадумался.

— Вы что жё, жаловаться на него будете? — спросил он старосту.

— Лучше бы не жаловаться, а то из-за такого дела по всей округе завируха пойдёт. Но ежели вы мне убытки не возместите, придётся жаловаться.

Гжиб снова задумался.

— Ну, а сколько это будет стоить?

— Со ста пятидесяти рублей гроша не скину, — ответил староста, разводя руками.

— Господи боже мой! — возмутился Ясек. — Выстрелил в меня из одностволки, а денег требует, словно за пушку.

— Раз так, — сказал Гжиб, — пусть сидит в тюрьме, я за этого мерзавца сто пятьдесят рублей платить не стану.

— Мне сто пятьдесят за секрет, — продолжал Гроховский, — а Слимаку восемьдесят за украденных лошадей.

Гжиб снова бросился тузить парня.

— Ах разбойник!.. Говори, кто тебя подучил?..

— Известно кто — Иосель... Отвяжитесь от меня, — причитал Ясек, — право, совестно перед чужими людьми. Что вы всё колотите меня?

— А ты зачем Иоселя слушал?

— Да я ему должен сто рублей!

— Господи Иисусе! — простонал Гжиб, хватаясь за голову.

— Ну к чему вам волосы на себе рвать, — заметил Гроховский. — Всего-то триста тридцать рублей — мне, Слимаку да Иоселю. Не великие это для вас деньги.

— Нет, не буду столько платить! — заявил Гжиб.

— Да я сам заплачу, как только женюсь на Ожеховской, — сказал Ясек.

— Холеру ты заплатишь!.. Дождись сначала денег!.. — стонал старик.

— Ну, если так, — рассердился староста, — Ясек отправится в суд. Ты не в шутку у нас воровал, и я с тобой шуток не стану шутить. Собирайся!

И он сгрёб огромного парня подмышку.

— Тятенька, смилуйтесь, — ведь один я у вас!.. — взмолился Ясек.

Старый Гжиб поочерёдно взглядывал то на сына, то на Гроховского, то на Слимака.

— Что вы жадничаете, тятя!.. Ни за грош загубите всю мою жизнь! — просил Ясек.

— Вишь, как он теперь-то запел, — подтрунивал староста. — А помнишь, как ты возле канцелярии курил сигару да посмеивался, что меня обворуют... Я тут же сказал, что не обворуют, и всё сделалось по-моему, а ты вот ревёшь, как баба! Ты лучше сейчас посмейся... Ну, пойдём. Увидишь, старик ещё нас догонит дорогой.

— Сейчас, сейчас!.. — засуетился Гжиб, видя, что староста тащит парня к саням.

Гроховский остановился. Гжиб кивнул Слимаку, и они отошли в сарай.

— Хочу я вам, кум, кое-что посоветовать, — начал Гжиб, понижая голос. — Ежели вы хотите, чтобы мы с вами зажили как следует, по-соседски, по-хорошему, знаете что нужно сделать?

— А что? Откуда ж я могу знать?

— Женитесь на моей сестре.

— На Гавендиной? — спросил Слимак.

— Ну да. Вы вдовец, она вдова, у вас де-

сять моргов, у неё пятнадцать и детей нет. Я возьму себе её землю, — она ведь рядом с моей, — а вам дам пятнадцать моргов из гаммеровой, — вот и будет у вас двадцать пять моргов в одном куске.

Слимак задумался.

— Сдаётся мне, — заметил он, — будто её земля, — стало быть, вашей сестры, — получше гаммеровой.

— Ну, так я вам прибавлю побольше лугов. По рукам? — настаивал Гжиб.

— Кто его знает? — ответил Слимак, почёсывая затылок.

— Ну, по рукам, — подхватил Гжиб. — А вы за мою доброту заплатите сто пятьдесят рублей Гроховскому да сто Иоселю.

Слимак заколебался.

— Я ещё своей бабы не схоронил, как же это вдруг на другой жениться? — замялся было мужик.

Старик вышел из себя.

— Не дури! — крикнул он. — Ты что? Ведь без бабы в хозяйстве не обойдёшься? Всё равно ты женишься через каких-нибудь полгода, не больше! Умерла твоя покойница — и кончено! А ежели она могла бы теперь голос подать, то сказала бы: «Женись, Юзек, и не вороти нос от такого благодетеля, как Гжиб!»

— Что это вы повздорили? — спросил, подходя, Гроховский.

— Я говорю, чтобы он женился на моей сестре, на Гавендиной, а он спорит, — ответил Гжиб.

— Ну а как же! Вы хотите, чтобы я из своего кармана заплатил Гроховскому и Иоселю, — оправдывался Слимак.

— А пятнадцать моргов земли, четыре коровы, пара лошадей и прочая домашность — это пустяк? — петушился Гжиб.

— Дело стоящее, — вмешался Гроховский. — Да только как ему управиться на двух полях?

— Я с ними поменяюсь, — подхватил Гжиб. — Сестрину землю возьму себе, а им выделю пятнадцать моргов здесь, возле его же хутора.

— Да ведь это гаммерова земля! — вставил Гроховский.

— Какая там гаммерова! — крикнул Гжиб. — Они нынче же мне её продадут, а денька через три, не позже, мы съездим к нотариусу, и я всю ферму куплю у Гаммера. Вот для этого прохвоста! — прибавил он, кивнув головой в сторону Ясека.

— Так они что же, удирают отсюда? — спросил Гроховский.

— Хе-хе... Они бы тут до скончания века сидели; всё дело в том, что Слимак им не продал своей земли. Он им все расчёты спутал. Обанкротились...

Гроховский размышлял.

— Ну, ничего не поделаешь, Юзек, — женись, — вдруг обратился он к Слимаку. — Будет у тебя двадцать пять моргов земли.

— Воля божья! — вздохнул Слимак.

Когда к вечеру из города привезли гроб, на проводы Слимачихи собралось столько народу, что таких похорон и старожилы не могли вспомнить.

Договор свой мужики выполнили в точности. Гжиб в течение недели приобрёл у Гаммера ферму, и ещё до Великого поста отпраздновали обе

свадьбы — Ясека Гжиба с Ожеховской и Слимака с Гавендиной.

Как раз к началу весны в деревню приехал землемер и произвёл обмен земель между Гжибом и Слимаком. В тот самый час, когда в землю забивали первый колышек, из колонии выехали фургоны, увозившие имущество Гаммеров.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

БОЛЕСЛАВ ПРУС И ЕГО ПОВЕСТЬ «ФОРПОСТ»

В 1872 году, в № 22 варшавского журнала «Домашний опекун», появилась анонимная статья под названием «Наши грехи». Автор предъявлял польскому обществу ряд серьезных обвинений. Он порицал пренебрежительное отношение к производительному труду, праздность, жизнь не по средствам. Он писал о том, что помещики сорят деньгами за границей, предоставляя арендаторам и управляющим анархически хозяйничать в их поместьях. Он клеймил шляхетские предрассудки в отношении промышленности и торговли, вследствие чего источники богатства родины переходят к немцам. Он упрекал польскую журналистику в том, что она замалчивает и покрывает такие ошибки вместо того, чтобы вскрывать и осуждать их.

Но не только список грехов заключала статья, она указывала и пути искоренения грехов, намечала новую программу жизни и действий.

«И вот сегодня, — читаем мы в ней, — наученные опытом, мы должны заменить старую систему новой, ограничив свои планы и труды узким кругом будничных дел. Смирившись перед самими собой, покорившись необходимости, займемся уплатой общественных долгов, урезы-

ванием наших потребностей, поднятием сельского хозяйства и промышленности, укреплением родственных и социальных уз, увеличением количества браков, уменьшением смертности среди детей, помощью обездоленным, распространением здравых начал просвещения и нравственности».

Автор статьи предсказывал, что при выполнении этих задач «не одно крупное поместье придется разделить на мелкие; не один фрак сменить на рабочую блузу, герб — на вывеску, перо — на молоток и аршин, придется во многом себе отказать, о многом позабыть, а главное — учиться и учиться». Он горячо призывал принести эти жертвы, ибо они обеспечат народу путь к прогрессу, к национальной самобытности, «к сохранению самого дорогого сокровища — чести», которую он противопоставлял традиционному «гонору» шляхты, ставшему причиной экономического и культурного застоя.

Автором статьи был Александр Гловацкий, впоследствии ставший широко известным под литературным псевдонимом Болеслава Пруса. Ему было тогда всего двадцать пять лет, но он имел уже значительный жизненный опыт, и первое литературное слово его звучало уверенно и твердо.

Александр Гловацкий родился в 1847 году в Люблине, в семье служащего. Среднее образование получил сперва в люблинском реальном училище, а затем в уездной школе в Седлеце. Шестнадцатилетним юношей он принял участие в восстании 1863 года, был арестован и посажен в тюрьму. После выхода из заключения он поступил в лицей, который окончил в 1866 году. Еще в ученические годы он обнаружил литературные способности, но еще больше, чем литературой, увлекался математикой. Когда он приехал в Варшаву и поступил в Главную Школу (как

тогда назывался Варшавский университет), он отдал предпочтение математическому факультету.

Всего два года учился Александр Гловацкий в Главной Школе. Поиски средств к существованию заставили его заниматься разнообразными профессиями — одно время он работал в фотографии, был гувернером, репетитором и т. д. В то время друзья, знавшие о его художественных интересах, стали уговаривать его заняться литературным трудом. Он внял их советам; его свели с Генрихом Пежинским, редактором журнала «Домашний опекун»; анонимная статья «Наши грехи» явилась его первым дебютом.

Редко первое произведение писателя занимает в его творчестве и в литературе такое место, какое эта статья заняла в творчестве Болеслава Пруса и в польской литературе. На её страницах автор более чётко и конкретно, чем другие современные писатели, сформулировал чаяния и стремления значительной части польского общества; это не только его собственное общественно-политическое и литературное кредо, это — манифест и программа нового литературного течения, которое он впоследствии возглавил.

После восстания 1863 года в Польше создавалась новая политическая и экономическая обстановка. Крушение восстания явилось одновременно крушением польского романтизма, призывавшего к самопожертвованию и героизму во имя возвышенных идеалов. Завету Мицкевича «измерять силы по цели, а не цели по силам» был противопоставлен призыв к достижению «гармонии между силами и целями». Новые цели состояли в поднятии экономического благосостояния страны, в развитии промышленности и сельского хозяйства, в улучшении материального положения обездоленных масс трудящихся города

и деревни. Пропагандистам этих конкретных, реальных целей были чужды обанкротившиеся романтические иллюзии. Новые задачи требовали трезвого, практического отношения к жизни; они звали к «органическому труду», к культурной работе, способной обеспечить экономическое возрождение страны и «внутреннюю» самостоятельность народа.

Новые экономические условия и общественные отношения не могли не найти своего отражения в развитии польской литературы. Один из последних романтиков, Корнель Уейский, восклицал после восстания 1863 года в своей «Последней строфе»:

«Народ, не плачь над трупом сына, хотя бы ты прахом стал и глиной. Придет пора, и завтра, как вчера, на порох — прах и на свинец мы сменим глину, и вновь пожары вспыхнут на руинах».

В этих словах тщетно было бы видеть боевой клич: они звучали как слабое утешение в горе и отчаянии пережитого поражения. Новые цели диктовали новые слова: литература должна была заговорить с народом простым и трезвым языком будничной прозы. Она ответила на требования времени направлением, получившим название «позитивизма», основную программу которого сформулировал Болеслав Прус в статье «Наши грехи».

«Позитивизм» объединил значительную группу польских писателей, среди которых, наряду с Болеславом Прусом, можно назвать таких крупных представителей польской литературы, как Генрих Сенкевич, Элиза Ожешко, Александр Свентоховский. Однако идеологом «позитивизма» и его признанным главой был и остаётся Болеслав Прус. Это объясняется прежде всего тем, что он не только изложил программу нового литератур-

ного течения, но был наиболее активным и последовательным проводником её в своём творчестве.

Как и большинство писателей его лагеря, Болеслав Прус начал свою литературную деятельность с газетных статей и фельетонов. Прус придавал этому жанру большое значение, не бросал его и тогда, когда заслужил признание и популярность своими беллетристическими произведениями. В течение двадцати с лишним лет помещал он в варшавских газетах «Еженедельные хроники», пользовавшиеся большим успехом у читателей. В своих «хрониках» Прус писал о жизненных буднях, о «малых делах», о нуждах народа, проникая взором художника и гражданина в убогую крестьянскую хату и в сырую каморку рабочего. Весьма характерно, что после нескольких лет литературной деятельности Прус поступил рабочим на варшавский завод «Лильпопа и Рау», где прослужил несколько месяцев в кузнице, желая ближе познакомиться с заводским бытом и испытать на себе самое тяжёлое положение польского рабочего.

«Журналистика, — писал Прус в одной из позднейших «хроник» (1882 г.), — это история нашего времени; журналист не может быть ни судьёй, ни проповедником, ни палачом; он, прежде всего, должен быть хорошим наблюдателем, который вместо того, чтобы наблюдать и бичевать единицы, наблюдает целые классы и общественные течения. Нам гораздо важнее знать, чем питается наш крестьянин или рабочий, а не сообщение о том, в каком наряде выступала артистка А. в «Одетте» или «Ниниши». Нас больше интересует предприниматель, открывающий для своих рабочих кассу взаимопомощи или школу, чем первый тенор Парижской оперы, будь он даже уроженцем Польши».

Однако, отрицая за собой право быть судьёй и проповедником, Прус в своих «хрониках» неизменно отстаивал идеи, пропагандировал задачи и цели, намеченные им в его первой программной статье. Он настойчиво добивался расширения просветительной работы среди широких народных масс, чтобы, оплодотворить их творческие способности. «Кто может сказать, — писал он, — сколько Ньютонов, Стефенсонов и Микель-Анжело кроется под сермягами и отрепьями?» Он горячо заступался за обездоленного крестьянина, утверждая, что «средний крестьянин, несмотря на всю свою нужду, здоровее среднего интеллигента и нравственнее мещанина; у него больше здравого смысла, чем у того и другого взятых вместе». Он призывал к развитию промышленности, требуя в то же время улучшения условий труда и жизни рабочих. Прус на деле не только не уклонялся от роли «проповедника», но проявлял живую активность, борясь за свои идеи и проекты. Выступив в статье «От имени класса трудящихся» с призывом собирать средства на организацию ссудных касс для ремесленников, он сам сделал первый взнос, пожертвовав свой гонорар за статью; подобный метод агитации возымел своё действие: в течение немногих месяцев было собрано несколько десятков тысяч рублей.

Не следует, однако, полагать, что Болеслав Прус был последовательным поборником классовых интересов пролетариата и крестьянства против шляхты и промышленников. Ревностный приверженец идей «позитивизма», он был выразителем и положительных и отрицательных черт этого течения.

Болеслав Прус несомненно был демократ и гуманист, но в своём сердце он носил не только любовь к обездоленным. в защиту которых вы-

ступал, но и любовь к тем, кто фактически был виновником их бед и несчастий. Осуждая эгоизм шляхты, он в то же время призывал её приглядеться к угнетаемому ею крестьянству, полюбить его и видел в этом выход из того бедственного положения, в котором находилось польское крестьянство. Ратуя за науку, настаивая на необходимости учиться, приобретать знания, совершенствовать промышленное и сельскохозяйственное производство на научных основах, Прус верил, что это не только приведёт к росту благосостояния страны, но явится для рабочего и крестьянина панацеей от всех их горестей и страданий. Прус признавал ненормальность неравноправного положения женщины, но его протест ограничивался преимущественно требованием для неё права на образование. (В этом отношении, как и в еврейском вопросе, современницы Пруса — Элиза Ожешко и Мария Конопницкая — были гораздо прогрессивнее его.)

Несомненны, однако, и положительные стороны «позитивизма». Уже самое привлечение внимания к тяжёлому положению трудящихся имело своё значение. Борьба за науку была ударом по царившему мракобесию, борьба за распространение просвещения среди широких масс вела к демократизации культуры. В литературу «позитивизм» ввёл нового героя, которому раньше в ней не отводилось места: промышленника, торговца, рабочего, крестьянина. Самое же главное заключалось в том, что «позитивизм» был первым шагом польской литературы по пути реализма.

Болеслав Прус со всей полнотой воплотил в своем творчестве положительные черты «позитивизма». «Еженедельные хроники» занимают почётное место в богатом литературном наследии писателя. И не только потому, что они, в извест-

ной мере, являются фрагментами его будущих произведений. В них мы уже находим отличительные свойства художественного таланта Пруса: его зоркую и глубокую наблюдательность и, главное, тот своеобразный юмор, который дал повод многим критикам назвать Пруса «нольским Диккенсом».

Художественный талант Болеслава Пруса получил широкое признание после опубликования им цикла рассказов и небольших новелл. Разнообразные по тематике, они объединены сочувствием благородного сердца, скорбящего о тяжелой доле забитого и придавленного жизнью человека. Автор отыскивает светлые стороны в каждой измученной горем душе и искренне верит в победу правды над злом. Не случайно среди героев первых беллетристических произведений Болеслава Пруса часто встречаются дети. Его привлекает их душевная чистота, их прямое непосредственное восприятие окружающей жизни. Его особенно остро волнуют страдания, которые им причиняют злые люди; рассказ об этих страданиях звучит громким протестом против общественной несправедливости. О «растоптанных душах» (выражение Пруса) читаем мы в повести «Анелька», в рассказах «Аптек», «Грехи детства», «Сиротская доля», «Шарманка» и др.

Прус противопоставляет Анельку ее родителям — промотавшемуся шляхтичу, всяческими путями изыскивающему средства, чтобы продлить свои жизненные наслаждения, и его жене, ограниченной женщине, доверчивой, наивной, думающей лишь о своем здоровье и не обращающей никакого внимания на дочь. В тринадцатилетней Анельке Прус раскрывает прекрасное сердце, исполненное любви к людям. Как трогательно дарит она свою ласку дочке крестья-

нипа Гайды, враждующего с её отцом! Вслед за дочерью и сам Гайда проникается любовью к Анельке: во время пожара господского дома он, забыв обиды, нанесённые ему её отцом, не задумываясь, бросается в огонь спасать девочку. Среди зла, наполняющего мир, такие благородные души обречены на гибель, — говорит Прус финалом своей повести, рисуя смерть Анельки.

Глубоко запоминаются образы мальчика Казы из рассказа «Грехи детства» и его друга горбуна Юзи. Они оба страдают от окружающей их людской грубости и злобы, оба жаждут света и счастья, но не находят его. Волнует судьба маленького Яся (рассказ «Сиротская доля»), испытавшего на себе лживость и жестокость барской филантропии; мальчик, отданный в ученье к несправедливому мастеру-портному, переживает длинную цепь жизненных невзгод, подобно своему маленькому английскому собрату Оливеру Твисту.

Наиболее яркий из «детских» рассказов Болеслава Пруса — «Антек». Мрак невежества, царивший в глухой польской деревне, писатель изобразил с потрясающей силой в одной небольшой сцене: мать, по совету знахарки, сажает больную дочку в жарко натопленную печь. Девочка билась, кричала, просила, чтобы её выпустили, но женщины, заложив печь доской, читали молитвы за спасение больной; когда девочку освободили, она была уже мёртвой. Среди этой кромешной тьмы рос одарённый, талантливый мальчик Антек. Его посылали пасти скот, но он не следил за скотиной, а глядел за Вислу, где на горизонте вертелись крылья мельницы. Он пробрался туда на пароме, расспросил об этой диковинке, разгадал её устройство и смастерил себе маленькую мельницу. На него смотрели как на чудака и брашили его за «сумасбродства».

«Всё равно, от него толку нет», — сказала мать и отвела его в школу. Но в школе его ничему не научили, а потом выгнали вон, потому что у матери не было сорока грóшей, чтобы уплатить за учение. Его отдали к кузнецу, который его тоже ничему не учил и даже рассердился, когда обнаружил, что Антек сам выучился ковать. Мальчику пришлось покинуть и кузнеца. Нечего ему было делать в родной деревне. Его послали в город: может быть, там он к чему-нибудь приспособится! И он побрёл с тощей котомкой за плечами. Прус не дал Антеку погибнуть, подобно многим его сверстникам из других рассказов, но он показал трагедию обречённости этих «маленьких Ньютонов в серой свитке», которым не суждено было стать Ньютонами.

Болеслав Прус в ряде ранних рассказов и небольших повестей нарисовал также тяжёлую долю тех Антеков и Ясей, которым удалось выжить и стать взрослыми только для того, чтобы, сделавшись отцами новых Антеков и Ясей, убедиться в полной невозможности найти для себя и для детей выход из вековой нищеты, невежества и бесправья. И сегодня ещё волнует судьба рабочего-каменщика Якуба (рассказ «Жилец с чердака»), замученного тяжкой нуждой и повесившегося в своей конуре. Нас потрясает большая душевная драма крестьянского сироты Михалко (см. одноимённый рассказ), мечтавшего о великом счастье любви и пережившего самое горестное разочарование. Работа Пруса на заводе «Лильпопа и Рау» дала ему возможность правдиво изобразить безрадостный рабочий быт («Возвращающаяся волна»). В повести «Дворец и лачуга» мастерски разработанные контрасты роскоши и нищеты помогают читателю понять вину и ответственность богатых за горе и страдания бедняков.

Повести Болеслава Пруса вместе с ранними рассказами Генриха Сенкевича — «Эскизы углем», «Фонарщик», «Янко-музыкант» и другие — вошли в польскую литературу как первые реалистические картины из жизни городской и деревенской бедноты. Не только польская, но и зарубежная критика ставила юношеские очерки Сенкевича выше стяжавших ему мировую славу романов. Георг Брандес, например, отметив, что в этих рассказах Сенкевич «достиг своего апогея», выразил сожаление, что впоследствии писатель «занялся сочинением обширных исторических романов в духе Дюма Старшего и Кингсли». Однако сам Сенкевич совершенно иначе относился к этим рассказам. В своем маленьком шедевре «Эскизы углем», после нарисованной им волнующей трагедии крестьянки Марии, Сенкевич говорит, что если бы подобную трагедию пережила панна Ядвига, это могло бы послужить темой для романа, но «когда страдает простой народ, то он только страдает, и больше ничего». Сенкевич быстро расстался — по его собственному выражению — «... с героями-лилипутами и жалобными мелодиями на тонко звенящей квинте». По-иному смотрел на «героев-лилипутов» Болеслав Прус. Перейдя от рассказов и мелких повестей к большим художественным полотнам, он не устыдился своего литературного прошлого, не раскаялся в своих выступлениях на общественно-литературной арене и продолжал обращать взор художника и гражданина к «униженным и оскорбленным». Первое крупное произведение Пруса — «Форпост», — посвященное незавидной доле польского крестьянина, явилось подлинно художественным достижением и по праву заняло одно из первых мест в его творчестве.

У Марии Конопницкой, современницы Боле-
слава Пруса, есть прекрасное стихотворение
(«Непродажное») о том, как отвечал польский
крестьянин немцам, пытавшимся согнать его с
родных полей, соблазнявшим его¹ высокой ценой
за несколько моргов земли, на которых он тру-
дился, в поте лица добывая скудное пропитание
для себя и своей семьи:

Дашь ты мне червонцы
За хату, за ниву —
А кто мне заплатит
За месяц над ивой?

А кто мне заплатит
За ясное солнце,
Что с каждой зарею
Входит к нам в оконце?..

За песок у речки,
Где ребячий щебет,
За звонкое пенье
Жаворонка в небе?..

За погост, где алый
Разросся шиповник,
Где отцы и деды
Спят в гробах дубовых?

Там и я улягусь,
Коль выпадет жребий,
Лишь господь прикажет:
«Живи, хлоп, на небе!»

А то будут ночью
Плакать мои дети,
Отцовской могилы
Не найдут на свете.

— Нет, не дам ни пяди!
Спрячь-ка, немец, деньги,
Кто вам землю продал —
Отчизне изменник!¹

¹ Перевод А. Коваленского.

Приведённые выше строки могли бы послужить выразительным эпитафием к «Форпосту» Болеслава Пруса: То, что оба писателя — Конопницкая и Прус — откликнулись, каждый по-своему, на одну и ту же тему, отнюдь не случайно: самое совпадение показывает, какую остроту приобрёл тогда затронутый ими вопрос, какую опасность для польского народа представляла колонизаторская политика немцев на захваченных ими ископных польских землях.

Само собой разумеется, Болеслав Прус в своей повести развил тему гораздо шире и глубже, чем могла это сделать Мария Конопницкая в небольшом стихотворении. Бытописатель нужды и горя польского крестьянства, Прус правдиво и убедительно показал, с каким упорством и планомерностью осуществляли немцы свои колонизаторские планы на польской земле. Если старик Гаммер ещё считал возможным и нужным по-человечески разговаривать с польским крестьянином, то его сын Фриц знает только язык приказаний, ругательств и угроз. Беспощадность и жестокость сочетаются в нём с наглой самоуверенностью, которая возрастала по мере того, как он преуспевал в осуществлении своих планов и замыслов. Алчность и эгоизм отличают, в большинстве случаев, и тех, кто, вслед за Фрицем Гаммером, вместе с ним и под его началом, приходил на польские поля, вытесняя польского крестьянина. Именно поэтому с первых же дней появления немецких колонистов выросла непроходимая стена между ними и польскими крестьянами. Вот почему всё время усиливалась их ненависть к вековому врагу — немцу, принёсшему им столько несчастий и бедствий.

Болеслав Прус далек от шовинизма в изображении немецких колонистов. Он рисует их не

одной краской и не только чёрной краской. И тем не менее из хода событий повести ясно обнаруживается, что налаженный «трудовая дисциплина» немцев, хвалёный немецкий «порядок» и немецкая «организованность» есть не что иное, как внешнее выражение духа хищничества, бесчеловечной эксплуатации и кичливой заносчивости, которую немцы на каждом шагу проявляли в отношении «польских скотов».

Прус наглядно показывает, что немцы были врагами польского крестьянства, злым роком, веками тяготевшим над ним, виновниками гибели многих тысяч польских жизней.

Прус был далёк от того, чтобы «покрывать» своих соотечественников из лагеря шляхты, помогавших немцам проводить в жизнь колонизаторские планы.

Юмор Болеслава Пруса, обычно незлобивый и даже добродушный, поднимается почти до сарказма, когда он в «Форпосте» рисует пана-помещика и его семью. Уже при первом знакомстве с ними читатель отчетливо представляет себе помещика, которому нет дела ни до хозяйства, ни до крестьян, среди которых он живёт, ни до родины, судьбы которой он считает себя вправе решать. Колоритна фигура «пани»: не чуждая барской филантропии, она готова учить крестьянских девочек плести кружева, а мальчиков — читать, но более тесного общения с народом она допустить не может. «Пани» с ужасом вспоминает о своей попытке «сближения» с народом: явившись однажды в хату, где лежал больной ребёнок, она провела там час и пропиталась такими запахами, что ей пришлось почти новое платье отдать горничной. Подобным «апостольством» она больше заниматься не намерена! Несколько шаржирован, но всё же очень типичен

выведенный Прусом брат пани — «демократ», который в разговоре с крестьянами величает их «гражданами», пристаёт к деревенским бабам и стоит на хлебах у своих богатых родственников.

Болеслав Прус показал, что шляхтичи, подобные тем, кого он изобразил в повести, были врагами польского народа и друзьями немцев, были пособниками в осуществлении колонизации польских земель. Чувство патриотизма чуждо этим людям, эгоизм — основной закон их жизни и поведения. «Ясная пани» думает только о том, чтобы поскорее и навсегда покинуть скучное поместье и зажечь весёлой жизнью в шумной Варшаве. «Ясный пан» предпочитает праздную жизнь за границей заботам о хозяйстве, о земле. Когда нужно сделать выбор: продать ли поместье немецким колонизаторам или крестьянам, желающим купить его вскладчину, для помещика весь вопрос сводится к одному — кто даст больше за землю?

Но Болеслав Прус видел также и ту силу, которая противостояла алчным и хищным стремлениям немецких колонизаторов. Силой был тот самый хлоп, который в стихотворении Марии Конопницкой говорит, что каждый, кто продаёт свою землю немцам, — «отчизне изменник». В «Форпосте» он воплощён в волнующем образе крестьянина Слимака. Прус отнюдь не стремился создать идеальный тип польского крестьянина. Наоборот, он собрал в своём герое все отрицательные черты, которые были воспитаны в польском крестьянине многовековым угнетением и рабством. Юзеф Слимак тёмн и невежественен, как многие крестьяне его склада и поколения. Выросший в темноте и бесправье, он создал себе особую философию жизни, которую хотел бы передать в наследство своему сыну.

Слимак не только примиряется с общественным неравенством, «установленным господом богом», он считает закон неравенства неизменным и полагает, что всякая попытка нарушить заведённый порядок грозит горестями и бедствиями.

Но, вопреки своей философии, Слимак не всегда способен примириться с собственной долей: уж слишком тяжела его жизнь! Трудно добыть пропитание для себя и семьи с восьми моргов земли, расположенных на горе, зыбкий грунт которой всё время осыпается на панские луга. Приходится батрачить у помещика и заниматься извозом, чтобы кое-как свести концы с концами. И у Слимака возникают мечты: хорошо бы было не гнуть спину на барской усадьбе, а купить себе ещё одну корову, заарендовать луг, чтобы иметь достаточно кормов для скотины! Однако Слимак таит глубоко в себе эти мечты и ничего не делает для их осуществления. Больше того, когда одна из них становится возможной и ему нужно только дать согласие на покупку предложенной ему коровы, его охватывает страх: так боится он всего нового, что может войти в его устоявшуюся тёмную и бедную жизнь!

Не только косным и некультурным, отсталым и забитым рисует Болеслав Прус Слимака. Иной раз он изображает его жестокость и бессердечье: мы видим, что Слимак нещадно порет ни в чем не повинного сына Ендрека, что он выгоняет из дому в мороз своего работника Овчажа. Правда, когда полоумная Зоська подкидывает Слимакам ребёнка, крестьянин возражает жене, желающей отделаться от найдёныша: «Не выбросить же ребёнка за ворота». Следует отметить, что с подростком Ендрексом он разговаривает как с взрослым, к Овчажу обычно относится не как хозяин, а как собрат по тяжёлой жизненной доле. Прус

даёт нам почувствовать, что душою Слимака владеет не столько злоба, сколько озлобление, не жестокость, а ожесточенность, порождённая его беспросветной и рабской жизнью.

Конечно, Прус мог найти среди польского крестьянства героя, наделённого более высокими человеческими качествами. Но выведя такого человека, как Слимак, писатель, надо полагать, хотел со всей силой подчеркнуть: как ни подавлены в Слимаке лучшие человеческие чувства вековой темнотой и угнетением, как ни принижено его человеческое достоинство, а всё-таки ничто не может вырвать из его крестьянского сердца одно из сильнейших чувств — любовь к земле. У Слимака эта любовь перерастает в какой-то фанатизм, над которым невластны все силы земли и неба. Любовь к земле превращает тёмного крестьянина в подлинного патриота, в верного стража на ответственном форпосте его родины.

В повести Слимак противопоставлен помещику. Пан с легким сердцем, между двумя танцами, подписывает бумагу о продаже своего поместья, а Слимак переживает это как большую трагедию и, в первую очередь, как трагедию самого помещика.

Он, Слимак, отнёсся бы к такому вопросу иначе. Уже во время первого разговора с немцами, желавшими купить у него землю, он решительно заявил, что не продаст: «Это же моя земля. Тут жили мои деды и прадеды... Сами сообразите, мыслимое ли это дело — просить человека, чтобы он дал себе отрубить руку или перерезать глотку?»

Слимак оказался непоколебимым и стойким. Немцы думали насильно принудить его к продаже. Отняв у него луг, который он арендовал у помещика, они оставили без кормов его скот,

так что ему пришлось продать корову, которую он с трудом приобрёл. Они лишили его возможности заниматься извозом на постройке железной дороги, заявив напрямик, что разрешение он получит в том случае, если продаст свою землю. Они донимали его мелкими и крупными неприятностями, надеясь, что таким путём им удастся его сломить.

Однако после претворения в жизнь всех этих угроз, обратившись к Слимаку с тем же предложением, они получили не менее решительный отпор.

Новые угрозы и новые несчастья посыпались на голову бедного Слимака. Всё перевернулось в его маленьком убогом доме. Поистине страшен итог бедствий, пережитых им из-за немцев! Из-за них утонул его сын, маленький Стасек, прекрасный ребёнок, с чуткой и восприимчивой душой, постигавшей красоту музыки и величие природы. Из-за них он должен был продать на убой с такими трудами и муками приобретённую корову. Из-за них конокрады угнали у него лошадей и заодно отравили верного сторожевого пса — Бурека. В связи с этим преступлением погиб и работник Овчаж, замёрзший с ребёнком на руках во время поисков украденных «гнедых». Из-за немецкого батрака Германа тринадцатилетний Ендрек был отдан под суд. А, кроме того, обезумевшая от горя Зоська отомстила Слимаку за смерть своей девочки тем, что сожгла его хутор. Под конец смертельно заболела его верная, преданная жена — Ягна. Как библейский многострадальный Иов, стоит Слимак, подсчитывая раны, нанесённые немцами, разрушившими всё его счастье, все плоды его тяжких трудов.

Окружив своего героя ореолом жалости и страданья, Б. Прус, не колеблясь, свергает его с

того пьедестала, на который он сам его возвёл. В последнюю минуту Слимак слабеет. Когда больную Ягну перенесли после пожара в сарай и у несчастного погорельца не осталось даже еды, чтобы накормить жену, к Слимаку приходят немцы. Прикрывшись маской христианского милосердия, они приносят больной пищу, предлагают приютить её у себя. В эту роковую минуту они вырывают у Слимака согласие на продажу земли. Кажется, нет ничего, что могло бы устоять перед хищной волей немецких колонизаторов! И вдруг на первый план выступает женщина, которая и раньше не раз приходила на помощь Слимаку, — его жена, всю душевную силу которой читатель ощущает именно в этой части повести.

Слимак уже покинул свой сарай. Жена его проводит ночь у немцев. Он ждёт утра, чтобы отправиться в город к нотариусу оформить продажу земли. Немцы напоили его крепким пивом, он лежит у них на кухне, готовый погрузиться в сон. Но вот в окне появляется неясная фигура. Слимак выходит — перед ним стоит Ягна. Она пришла больная, едва одетая, чтобы удержать его от малодушного шага. Страстью и гневом, как слова библейского пророка, звучат ее страшные заклатья:

— Если продашь, господь бог проклянет и тебя и сына... Я после смерти покоя тебе не дам... Глаз не сомкнёшь... а уснёшь, я из гроба встану и не дам тебе спать... Куда ни ступишь, трава у тебя загорится под ногами...

Ягна умерла. Слимак не продал немцам земли. Нас мало интересует дальнейшая судьба Слимака. Ибо мы чувствуем и знаем, что Слимак не один, что грозные заклатья Ягны обращены не к одному Слимаку, что они будут услышаны и

должны быть услышаны всем обездоленным польским крестьянством. Болеслав Прус убедительно показал, что в польском народе живы силы, способные постоять за родную, любимую землю, что польский крестьянин найдёт в себе стойкость и твердость, чтобы дать отпор наглым притязаниям колонизаторов и захватчиков. В этом основная идея повести Болеслава Пруса, в этом сила её художественной правды, благодаря которой «Форпост» в большей мере, чем другие его произведения и произведения многих его современников, выдержал испытание времени.

Большой художественный успех, которого Болеслав Прус достиг в «Форпосте», объясняется не только тем, что в судьбу основного героя он сумел вложить большую патриотическую тему, — он обусловлен ещё и той графической чёткостью, с которой автор обрисовал всех остальных персонажей. Скупость красок, которыми писатель воспользовался для образа жены Слимака, не мешала читателю ощутить все движения её души, тёмной и забитой, упорно стремящейся к маленькому житейскому счастью и не могущей его найти. Её упорство в борьбе за счастье для себя и своих детей тесно связано с неискоренимой любовью к земле. Черта — общая и для неё и для её мужа.

С присущей ему теплотой и нежностью к детям обрисовал Прус сыновей Слимака: Ендрека и Стасека, особенно последнего. В его кротком поэтическом облике сквозят черты, говорящие о том, что перед нами «Микель Анжело под крестьянской свиткой».

Глубоко запоминается образ батрака Матека Овчажа, простого деревенского парня, с честным и чистым сердцем, с большой любовью к человеку. Всё величие этой прекрасной души раскрывается перед читателем в те минуты, когда

Матек в метель и мороз отправляется по следам воров, укравших лошадей Слимака.

Немцы — оба Гаммера (отец и сын), учительница и её отец, а также староста Гроховский, крестьянин Гжиб — все они выписаны с подлинно художественной выразительностью. И ещё один образ глубоко врежется в память: Иойна Недопеж — «самый старый и самый бедный еврей во всей округе». Чуждый всякой заботы о самом себе, он нёс в своем сердце большую любовь к человеку. Он не мог не свернуть с дороги, когда увидел дымящееся пожарище Слимака. Он один из всей деревни пришёл на помощь бедному крестьянину в ужасную и трагическую минуту его жизни. «С мешком на спине и с палкой в руках, в сиянии закатного солнца, он шёл, словно ангел господень, ниспосланный людям милосердным отцом». Окружив нежной заботой и лаской одинокого, покинутого Слимака, напоив его самого и его скот, выбившись из сил от непосильной для него работы, он ушёл и совсем позабыл о своих собственных горестях и делах, он думал о спасении Слимака, даже не размышляя о Слимаке, — он просто не мог отделить его от самого себя. Едва волоча свои старые ноги, он побрёл сперва к старосте Гроховскому сообщить о постигшем Слимака горе, потом отправился с той же печальной вестью к ксендзу и только тогда уже засел на всю ночь за работу, чтобы добыть несколько грошей на пропитание себе и семье...

Ещё одно художественное достоинство отличает «Форпост». Болеслав Прус обычно редко обращает внимание на пейзаж. В этой же повести он сумел искусно и своеобразно оживить природу, слить её с помыслами и чувствами героев. Стоит вспомнить описание пахоты в начале

повести, когда Слика, поспешая за «гнедыми», ведёт «безмолвный» разговор с солнцем, с землёй, с ветром, с воробьями. Или описание бури в лесу, куда Овчаж приезжает за дровами. Или картину зимней ночи, последней зимней ночи, которую пережил тот же Овчаж, убаюкивая ребёнка полоумной Зоськи.

Повесть «Форпост» заслуженно выдвинула Болеслава Пруса на одно из первых мест в польской литературе второй половины прошлого века. Его позднейшее творчество отмечено целым рядом крупных и характерных произведений.

«Позитивизм» подсказал Прусу «Форпост»; впоследствии он натолкнул его на темы романов «Кукла» и «Эмансипантки». Следует, впрочем, подчеркнуть, что в «Форпосте» нашла художественное выражение та часть программы «позитивистов», которая сближала её с народом, которая в гораздо большей степени, чем остальные её пункты, делала представителей этого течения носителями прогрессивных стремлений современного польского общества. В романах «Кукла» и «Эмансипантки» Прус задался целью выразить всю систему своих (к сожалению, весьма ограниченных) общественно-философских воззрений. Романы эти, в своё время нашедшие широкий отклик, не представляют сейчас для нас такого интереса, как «Форпост» или некоторые мелкие рассказы.

«Кукла» и «Эмансипантки» — большие художественные полотна. Перед читателем проходит вереница людей, развёрнуты многочисленные эпизоды и сцены. Прус проявляет и здесь свою замечательную наблюдательность, меткость характеристик, тонкий, оригинальный юмор. Тем не менее узость и предвзятость его философских концепций неизбежно привели к серьёзным художественным недостаткам обоих произведений. Положитель-

ный герой «Куклы» (Вокульский) — носитель идеи «органического труда», один из тех шляхтичей, которые не видели ничего позорного в профессии промышленника и торговца. Как известно, Прус очень высоко расценивал это качество, и все же он не мог не почувствовать, что одной этой черты недостаточно, чтобы изобразить Вокульского «идеальным типом» современности. Отсюда обращение реалиста Пруса к романтизму в изображении страстной и неразделённой любви Вокульского к «кукле» Изабелле, отсюда (в финальном самоубийстве героя) и тот мелодрамматизм, который, по счастью, начисто отсутствует в «Форпосте».

В «Эмансипантках» выразителем воззрений автора является Денбицкий. Если Вокульский — натура энергичная и активная, то Денбицкий всего только резонёр, весьма пространно излагающий сомнительные истины и с серьёзным видом доказывающий, что женщина «только тогда становится импонирующей силой, когда она выступает в роли матери». Отрицательное отношение Пруса к эмансипации женщин обусловило облик основных героинь обоих романов: Магды («Эмансипантки»), в которой автор хотел бы видеть «гения чувств», и Изабеллы («Кукла»), воплощающей якобы «женское зло». На основе своей ограниченной социальной философии Прус, конечно, не мог создать целостной реалистически убедительной картины нравов современного ему поколения.

Значительно большими художественными достоинствами обладает роман «Фараон». Используя современную ему египтологию — кстати сказать, довольно бедную по сравнению с нынешней, — но отнюдь не стремясь к точной исторической правде и давая широкий простор худо-

жественной фантазии, Прус создал яркое произведение, повествующее о борьбе фараона Рамзеса XIII с тиранией жреческой касты. «Фараон» Пруса появился год спустя после шумевшего романа Сенкевича «Камо грядеши». Это послужило поводом к утверждениям, что Прус, подобно Сенкевичу, предпочёл уйти от мрачной современности к живописным краскам исторического прошлого. Критик Игнатий Матушевский (современник Пруса) писал, что автору «Фараона» с самого начала его творческой деятельности было, повидимому, тесно в рамках современной жизни, что, «устав от непрерывного анализа горестных и изменчивых мелочей реальной жизни, писатель охотно обращался к странам полуреальным, полуфантастическим, где всё представляется законченным, типичным и — по крайней мере на первый взгляд — понятным и ясным». «Из этого материала, — говорил Игнатий Матушевский, — легче создать полное и синтетическое целое, нежели из явлений, которые подавляют нас своей близостью и тревожат своим неустройством».

Подобный взгляд был бы правилен в отношении Сенкевича, которого увлекла внешняя яркость изображения языческого Рима. Вряд ли это верно в отношении Пруса. Юрий Котарбинский рассказывает, что во время пребывания в Варшаве Георга Врандеса Прус присоединился к мнению датского критика, полагавшего, что исторический роман не имеет права на существование. Можно думать, что Прус не изменил этой оценки в годы, когда писался «Фараон». Создавая свой роман, он интересовался не столько судьбами древнего Египта, сколько судьбами современной Польши. Советский египтолог В. И. Авдиев, разбирая «Фараон» Пруса, нашёл в нём немало анахронизмов и расхождений с истори-

ей. В то же время он утверждает: «Рисуя борьбу алчного и ненасытного жречества с царской властью, Прус проводит в своем романе яркую антиклерикальную тенденцию, которая делает его роман вполне актуальным и придаёт некоторым страницам даже своего рода политическую заострённость, особенно понятную в клерикальной Польше». Феликс Кон, знаток истории и литературы Польши, ещё определённое выразил ту же мысль: «Если автор нарушает историческую правду в отношении Египта, то в отношении Польши он соблюдает её полностью».

Болеслав Прус вступил на художественное поприще идеологом «позитивизма» и остался в польской литературе главою этого направления. Но «позитивизм» отжил свой век ещё во времена Пруса. Рост капитализма в Польше, классовые расслоения, вызванные ростом капитализма, обнаружили несостоятельность программы «позитивистов» и потребовали от них искания «новых путей». Прус, как отмечено выше, никогда не был последовательным политическим борцом. Со свойственной ему иронией он сам писал о себе, что принадлежит к «прогрессивно-клерикально-либерально-аристократически-демократическому направлению». Прус избрал путь направо. Его последний роман «Дети», написанный в период русской революции 1905 года, является пасквилем на революционное движение.

Однако не это определяет роль Болеслава Пруса в развитии польской литературы. Он занимает в ней почётное место как создатель цикла реалистических рассказов из жизни польской городской и деревенской бедноты, как автор произведений «Форпост» и «Фараон», сохранивших и в наши дни свою художественную силу.

М. Живов.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|------------|
| Форпост | 3 |
| М. Живов. Болеслав Прус и его повесть «Форпост» (Послесловие) | 307 |

Б. Прус «Фортост»

О П Е Ч А Т К И

| <i>Стр.</i> | <i>Строка</i> | <i>Напечатано</i> | <i>Следует</i> |
|-------------|---------------|---|---|
| 210 | 14—15 св. | А мужик — он осёл, или вот как камень у дороги. | А мужик — он тут осёл , вот как камень у дороги. |